

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

*Издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН*

2

МАРТ-АПРЕЛЬ

" НАУКА "
МОСКВА – 2007

СОДЕРЖАНИЕ

С.Г. Шафиров (Уфа). Категории и концепты в лингвистике	3
А.С. Николаев (Санкт-Петербург). Бессуффиксный претерит <i>ro ír</i> и другие древнеирландские претериты с долгим <i>-i-</i> в корне	18
М.М. Маковский (Москва). Мифопоэтические этюды	35
Ф.И. Рожанский (Москва). Редупликация и названия животных в африканских языках	57
Ян Цзе (Сямынь, Китай). Забайкальско-маньчжурский препиджин. Опыт социолингвистического исследования	67
С.С. Сай (Санкт-Петербург). Прагматически обусловленные возвратные конструкции «опущенного объекта» в русском языке	75
К.И. Казенин (Москва). О некоторых ограничениях на эллипсис в русском языке	92
А.В. Сахарова (Москва). Содержательные параметры употребления кратких причастий в древнерусской летописи для некоторых стативных глаголов	108
В.В. Понарядов (Сыктывкар). Диалектная дифференциация в древнетюркском языке енисейских рунических надписей	127

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Ю.А. Ландер (Москва). <i>N. Evans</i> . Biniŋ Gun-wok: A pan-dialectal grammar of Mayali, Jinwinjku and Kune. V. 1–2	133
Н.Р. Добрушина (Москва). <i>B. Hansen, P. Karlík</i> (eds.). Modality in Slavonic languages. New perspectives	137
И.А. Грунтов (Москва). <i>J. Janhunen</i> (ed.). The Mongolic languages	143
Б. Вимер (Констанц). <i>T.A. Майсак</i> . Типология грамматикализации конструкций с глаголами движения и глаголами позиции	145

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки

С.Г. Татевосов (Москва). Третья международная конференция по формальному описанию алтайских языков	152
Д.А. Паперно (Москва). Юбилейная конференция, посвященная 50-летию семинара «Некоторые применения математических методов в языкознании»	154
С.Ю. Дмитренко (Санкт-Петербург). Проблемы типологии и общей лингвистики: Конференция, посвященная 100-летию со дня рождения А.А. Холодовича	156

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

*Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко,
В.А. Виноградов* (зам. главного редактора), *Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков,
В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский,
Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик* (зам. главного редактора), *М.М. Маковский, А.М. Молдован,
Т.М. Николаева* (главный редактор), *В.А. Плунгян* (отв. секретарь), *Е.В. Рахилина*

Зав. отделами: *М.М. Маковский, Г.В. Строкова, М.М. Коробова*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка им. В.В. Виноградова
Редакция журнала «Вопросы языкознания»
Тел. (495) 637-25-16

© 2007 г. С.Г. ШАФИКОВ

КАТЕГОРИИ И КОНЦЕПТЫ В ЛИНГВИСТИКЕ

Изучая особенности категории и концепта, автор указывает, что и категории, и концепты суть ментальные структуры, своеобразные кванты знания, которыми оперирует человек в процессе мышления. Усложнение ментальных структур осуществляется по направлению от концептов к категориям. Категории объединяют однородные множества (концепты), а концепты объединяют гетерогенные множества (категории). Чем выше по шкале «конкретное» ↔ «абстрактное» мы движемся, тем явственнее происходит процесс перехода концептов в категории. Все концепты вербализуются в языке, в то время как категории могут не иметь закрепленной в языке формы выражения.

1. МЕТАЯЗЫК СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Вероятно, самым важным для языкознания сегодняшнего дня является упорядочение метаязыка. Множественность смыслов, порождая досадную неопределенность, объясняется отсутствием прочной теоретической базы основного направления современного языкознания, в частности, когнитивной лингвистики [Ungerer, Schmid 1996]. Несмотря на огромное число эмпирических исследований, выполненных в этом направлении, базовые категории остаются все еще размытыми. «Тот факт, – пишет С.В. Иванова, – что метаязык когнитивной лингвистики не устоялся, находит свое выражение в различных интерпретациях одних и тех же терминов, постоянном создании новых, которые соперничают с уже имеющимися в том, что касается области применения и определений, в выявлении различных взаимосвязей между имеющимися терминами» [Иванова 2004: 126]. Уже традиционными становятся вопросы разграничения концепта и категории, концепта и значения, концепта и понятия, концепта и концептуальной сферы и т.д., уже приходится задумываться над тем, является ли понятие любви, цвета, оценки концептом или категорией.

Целью настоящей статьи является попытка, с одной стороны, более четко разграничить самые употребительные понятия когнитивной лингвистики, а с другой, снять некоторые искусственные различия между понятиями «концепт» и «категория», которые иногда интуитивно смешиваются, а иногда драматически друг другу противопоставляются.

2. КАТЕГОРИЗАЦИЯ

Самое важное, с чем человек сталкивается в жизни, – это категоризация, то есть подведение всего, что его окружает, под некие общие разряды. В этом смысле категоризация есть обобщение (типизация) составных частей мира. Типизация или, иначе говоря, подведение под тип («рубрику опыта») происходит постоянно, безостановочно и независимо от сознания человека. Обобщается то, что человек видит (дерево, птица, дом и т.д.), что делает (например, человек катается на лодке, на велосипеде, карусели), о чем размышляет, отвлекаясь от обыденности жизни (например о грамматических явлениях, типа предложения, числа, падежа, таксиса и т.д.), что оценивает через призму своих чувств.

В своей современной трактовке (в отличие от трактовки категорий Аристотелем) проблема категоризации восходит, вероятно, к мысли Б. Ли Уорфа о выделении (*isola-*

ting) разрядов, которые включают не самоочевидные сущности, а сущности, испытавшие влияние языка [Уорф 1961: 174]. После Уорфа обнаруженные в языках расхождения в именовании некоторых смыслов или смысловых пар (типа «день», «дерево», «мать», «рука»/«кисть руки», «голова»/«ум», «любовь»/«болезнь», «страх» и др.), а также логических отношений (типа «целое»/«часть» или «общее»/«частное», «общее»/«различное» и т.д.) стали называться различиями в способе категоризации. В настоящее время термин «категоризовать» (categorize) употребляется чаще всего в значении «членить, подводить под родовое имя, обобщать» [Михеев, Фрумкина 1991: 46], о чем можно судить по таким контекстам, как *членение на категории, структура категории, наивная категоризация, категория любви, цвета* и т.д.

Главными для человека являются повседневные категории, за которыми стоят повседневные понятия, например категории СОБАКА, СИНИЙ, СЛОВО, ЛЮБОВЬ и т.д., в отличие от научных категорий, которые являются либо слишком общими, либо слишком специальными для человеческого сознания (ср. категории СОБАКА vs. МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ, СИНИЙ vs. УЛЬТРАМАРИНОВЫЙ, СЛОВО vs. ЛЕКСЕМА, ЛЮБОВЬ vs. ЭМОЦИЯ vs. ЛИБИДО и т.д.). Категоризация есть ключ к пониманию человеческого мышления, то есть, в итоге к пониманию того, что представляет собой человек.

Любая повседневная категория характеризуется наличием, с одной стороны, объектов категории, а с другой стороны, признаков, по которым данные объекты считаются принадлежностью категории. Например, категория ПТИЦА включает такие объекты, как воробей, аист, курица, орел, колибри и т.д., которые в той или иной степени характеризуются типическими признаками (наличие клюва и перьев, способность летать и петь и т.д.). При этом одна и та же категория может включать разные типы объектов в зависимости от уровня категоризации. Обыденное сознание оперирует базовым (средним) уровнем, который не требует специальных знаний об объектах и легко усваивается, в частности, детьми. Например, перечисленные выше объекты категории ПТИЦА относятся к базовому уровню в отличие от более высокого (суперординатного) уровня (например, хищные, куриные, журавлеобразные, веслоногие, голенастые, попугаи, длиннокрылые птицы и т.д.) или более низкого (субординатного) уровня абстракции (например, журавлеобразные птицы подразделяются на следующие виды: журавли, трехперстки, агами, пастушки, солнечные цапли, лапчатонogi, дрофы, авдотки и т.д.) [СЭС 1980].

Объекты категории не всегда располагаются по отношению друг к другу в иерархическом порядке, поскольку членение одного и того же множества может осуществляться по разным основаниям, особенно если речь идет о социальных категориях.

3. РАЗМЫТЫЕ ПОНЯТИЯ

Размытость категорий относится не только к повседневным категориям типа ПТИЦА или ПРОДАЖНАЯ ЖЕНЩИНА, но и к научным категориям типа КОНЦЕПТ и КАТЕГОРИЯ. В работах по когнитивной семантике, особенно зарубежных, эти понятия рассматриваются, как правило, вне зависимости друг от друга. Фокус внимания исследователя когнитивистского толка обычно сосредоточен либо на категориях разных типов (ср. градуированные, перцептивные, социальные, естественные, артефактные категории, категории базового уровня и т.д.), либо на концептах, которые также различаются по типам (чувственные образы, гештальты, понятия, фреймы, схемы, скрипты и т.д.) [Бабушкин 1998: 12–15].

Сравнивая между собой категории и концепты, следует иметь в виду, что сравнивать можно лишь сопоставимые понятия. Сопоставимыми можно считать такие виды ментальных единиц, как наивная (повседневная) категория и концепт, который является результатом не логических ментальных операций, а наивной концептуализации: концепт-понятие, концепт-представление, концепт-ассоциация. При этом главным видом всех концептов признается концепт-понятие.

Прочие виды концептов, исключаемые из сравнения концептов и категорий, можно свести к двум основным типам. Первым типом является понимание концепта как двусторонней единицы языка, например, А. Вежбицкая понимает концепты как «ключевые слова». Вторым типом является понимание концепта как односторонней единицы (значения): ср. следующие интерпретации: «алгебраическое выражение значения» (Д.С. Лихачев), «созначение национального колорита» (В.В. Колесов), «инвариант значения лексемь» (Е.В. Рахилина), «смысл» (Ю.С. Степанов) [Самигуллина 2006: 50–56].

Однако можно ли вообще сравнивать между собой и тем самым противопоставлять категории и концепты, даже если понимать под концептами внеязыковые ментальные структуры, то есть понятия как наиболее общие представления о сущностях объективного мира?

1. Сомнительно противопоставление категории концептам по схеме, в соответствии с которой объекты реального мира представляют категории, а понятия об этих объектах представляют концепты. Во-первых, в антропоцентрической модели мира не существует объектов мира, о которых нельзя было бы помыслить; во-вторых, человек распределяет по рубрикам не сами вещи, свойства и отношения, а свои представления, мысли, понятия обо всех известных ему формах материи. Поэтому и категории, и концепты суть ментальные образования (структуры мышления).

2. Сомнительно противопоставление концептов и категорий по способности/неспособности вступать в иерархические отношения с однородными явлениями. Утверждение о том, что концепты различаются друг от друга, а категории объединяют их различным образом в определенные культурно-обусловленные множества, верно лишь отчасти, точнее, не абсолютно. Можно говорить и об иерархии концептов (концепты, микроконцепты, суперконцепты) и об иерархии категорий (категории, суперкатегории и субкатегории).

3. Сомнительно представление, основанное на том, что категории образуют стабильные множества (пределом стабильности можно считать универсальные структуры) в отличие от концептов, которые варьируются от культуры к культуре и от языка к языку. Например, множества СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ, КАРТОФЕЛЬ, ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ можно признать категориями, которые существуют наравне с таксономическими множествами по биологическим признакам, образующими иерархии, например: «сложноцветные растения → двудольные растения → покрытосеменные растения → цветковые растения → высшие растения». Тот факт, что категория КАРТОФЕЛЬ в названной категоризации относится не к овощам, а образует отдельную рубрику, объясняется культурой, а не наукой.

4. Сомнительно узуальное употребление соответствующих терминов, основанное на том, что концепты стоят к языку ближе, чем категории, поскольку репрезентантами концептов являются языковые значения, а репрезентантами категорий являются сущности объективного мира. Сущности объективного мира, отраженные в голове человека, ищут свое выражение в языке и находят его именно в виде значений. В большей близости концептов к языковым формам, в отличие от категорий, которые могут и не иметь форм, закрепленных в языке однозначным образом, еще нет драматического противопоставления между концептами и категориями. Достаточно сравнить определение значения Е.С. Кубряковой («значение есть концепт, схваченный знаком») [Кубрякова 1997: 31] с определениями концепта Е.В. Рахилиной («способ обобщения человеческого опыта») [Рахилина 2000: 7] или С.Г. Воркачевым («способ и результат квантификации и категоризации знания») [Воркачев 2003: 6], чтобы увидеть отсутствие существенного различия между концептом и категорией. В когнитивных исследованиях одна и та же ментальная структура может называться и категорией, и концептом.

5. Сомнительно отграничение категорий от концептов по таким важнейшим характеристикам, как прототип и базовый уровень. Понятие базового уровня иногда относится к категоризации, а иногда к концептуализации. Под прототипом как наиболее легко выделяемым репрезентантом ментальной структуры может пониматься либо 1) наиболее типичный объект данного сегмента внеязыкового мира (например, «воробей есть про-

тотип категории ПТИЦА для северных широт»), либо 2) наиболее распространенное значение («модель»): ср. модель «биологическая мать» в известном кластере Дж. Лакоффа наряду с такими моделями, как «жена отца», «суррогатная мать», «женщина, которая занимается воспитанием ребенка», либо 3) основное слово с простой структурой (например в цветообозначениях).

6. Сомнительно, что различие между концептами и категориями лежит в различном понимании содержания, то есть вряд ли справедливо утверждение о том, что концепт определяется интенционалом, а категория экстенционалом (или двуединством интенционала и экстенционала [Saugstad 1990: 97]). Всякое понятие (а понятие есть главный вид концепта) указывает на референтный разряд, а всякий референтный разряд строится из сравнения понятий, поэтому эти виды знания часто смешиваются. Например, Э. Рош, которой мир современного языкознания в значительной степени обязан своей «когнитивизацией», делает невольную подмену: рассматривая цветообозначения, она исследует экстенционал (лучшие образцы цветов, представленные в табличках Манселла), а рассматривая так называемые семантические категории (ПТИЦА, ФРУКТ), исследует интенционал.

Таким образом, корреляция между понятиями «категория» и «концепт» представляется весьма запутанной, что приводит к синонимизации, следовательно, к взаимной замене соответствующих терминов по отношению к одним и тем же ментальным структурам.

4. ТЕОРЕТИЧЕСКИ ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ

Множественность смыслов понятий «концепт» и «категория» можно свести к следующим логически возможным интерпретациям их взаимоотношений.

а) Концепт и категория суть явления разного порядка. Концепт относится к сфере мышления, обозначая квант знания, существующий в виде оперативной единицы памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга [КСКТ 1996: 90]. Категория также относится к сфере мышления, однако представляет собой не единицу, а разряд, рубрику опыта, множество объектов (представителей, лучших образцов, примеров). Объекты категории объединяются вместе либо 1) в силу соответствия в с е х объектов определенному набору характеризующих признаков (классические категории), либо 2) в силу близости объектов к п р о т о т и п и ч е с к о м у (центральному) объекту («лучшему представителю» категории), 3) либо в силу «семейных сходств» Л. Витгенштейна.

в) Концепт и категория представляют собой тождественные понятия. Как уже указывалось выше, отсутствие строгого разграничения этих понятий приводит к своеобразным прототипическим эффектам: есть что-то, что «больше похоже» на категорию, а что-то «стоит ближе» к концептам. Поэтому прототипы иногда относятся к видам концептов [Бабушкин 1998, Болдырев 2000, Попова-Стернин 2002], иногда – к категориям [Lakoff 1990]; базовый уровень обычно считается уровнем категоризации, но иногда говорится о концептах базового уровня [Lakoff 1990: 270]; иногда иерархия явлений, связанных между собой родо-видовыми отношениями, относится к концептам, иногда к категориям.

с) Концепт и категория представляют собой пересекающиеся понятия. Различие между концептом и категорией не является абсолютным, поскольку и то, и другое суть ментальные явления (структуры). Различие определяется, во-первых, наличием или отсутствием экстенционала (экстенционалом обладает только категория, но не концепт), во-вторых, типом интенционала.

Интенционалы концепта и соответствующей категории различаются целостностью ментального представления. И н т е н с и о н а л к о н ц е п т а является целостной ментальной структурой (образом), например, интенционал концепта «птица» можно представить себе в виде живого существа, описанного словарной дефиницией: «покрытое перьями и пухом позвоночное животное с крыльями, двумя конечностями и клювом»

[Ожегов 2000]. Признаки значения наименования, которое вербализует данный концепт, образуют ограниченный набор сем, представляя только семы, «достаточные и необходимые» для отграничения птиц от не-птиц. Интенционал категории является набором признаков, который включает как наиболее существенные (концептуальные) признаки, так и менее существенные признаки, варьируемые по степени приближения к норме (прототипу). Например, интенционал категории ПТИЦА включает признаки: «наличие крыльев», «наличие перьев», «наличие двух ног», «наличие клюва», «умение летать», «умение петь», «форма глаз» (округлая форма), «отсутствие зубов», «происхождение» (потомок древних ящеров) и т.д.

Различие в содержании интенционала концепта и категории позволяет говорить о двух типах толкования описываемого объекта, то есть о его концептуальном или категориальном определении. Например, концептуальное определение любви из толкового словаря («глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство» [Ожегов 2000]) можно сравнить со следующими категориальными определениями: «чувство любви может быть умеренным, сильным или граничащим с безумием»; «чувство любви может быть разделенным или неразделенным»; «чувство любви может характеризоваться доверием или ревностью» и т.д.

Концептуальное определение соответствует внутриязыковому содержанию языковой единицы в отличие от категориального определения, которое относится к внешнему содержанию языка. Различие между концептуальным, внутриязыковым толкованием и категориальным, внешнеязыковым толкованием соответствует различию между двумя типами значений, которые А.А. Потебня называет «ближайшим» и «дальнейшим» значениями. Например, определяя тип мужчины, который называется холостяком, можно ограничиться минимумом признаков, составляющих суть холостяка, то есть ограничиться концептом холостяка: «неженатый и не состоявший ранее в браке взрослый мужчина», или можно дать развернутое толкование. Развернутое толкование содержит указание на то, что этот мужчина находится в возрасте обычно старше 30 лет и что свое положение выбирает, как правило, сознательно, что существует целая типология холостяков, от женоненавистника до эротомана, что в среднем продолжительность жизни холостяка короче, чем у женатого мужчины и т.д. Кроме того, это определение можно дополнить оценочными характеристиками, связанными с представлением типичного взрослого человека о том, что холостяком быть хуже, чем женатым, что общество в целом хуже относится к холостяку, чем к женатому мужчине [Шафиков 2004: 292–293].

Иерархия концептов отражается в языке в виде иерархии языковых значений. Иерархия значений, в свою очередь, есть результат и условие иерархии их непосредственных семантических составляющих, сем. Идея иерархии сем, введенная в научный оборот Р.З. Мурясовым для объяснения словообразовательных моделей [Мурясов 1968: 29], обладает значительным объяснительным потенциалом, который позволяет рассматривать не только деривационные, но и многие другие семантические отношения языковых единиц, организованные по принципу иерархии. Например, такие семантические категории, как ПРЕДМЕТНОСТЬ, ОДУШЕВЛЕННОСТЬ, ПОЛ, АНТРОПОСФЕРА и т.д., актуализируются в значениях существительных как семы разных степеней обобщенности: сема I степени обобщенности («предметность») иерархически связана с семами II степени обобщенности («одушевленность» и «неодушевленность»), далее – с семами III степени обобщенности («мужской пол», «женский пол») и т.д. [Мурясов 1972: 91].

Истина, как всегда, лежит посередине, между крайними позициями. Поэтому, возвращаясь к логически возможным подходам к определению взаимоотношения между категориями и концептами в начале этого раздела, можно констатировать, что третий подход, связанный с интерпретацией этих понятий как пересекающихся типов ментальных структур, характеризуется наибольшей истинностной силой.

5. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИРРАДИАЦИИ СИНОНИМИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ

Категоризация и концептуализация суть стороны одного процесса, связанного с деятельностью мышления; следовательно, результаты этого единого процесса, то есть ка-

тегии и концепты, не могут быть принципиально разнородными явлениями. Определенная ментальная сфера может определяться и как категория, и как концепт. Однако, поскольку соответствующие понятия существуют, следует попытаться придать им более строгие смыслы (см. ниже).

Очевидным представляется следующее.

а) Концептуализация первична, категоризация вторична, хотя речь идет о сложном диалектическом процессе. Концептуализация направлена на выделение минимальных единиц опыта, а категоризация – на объединение этих единиц в более крупные группы. Категоризация опирается на уже сложившиеся концепты [Васильев 2004: 14]. В процессе категоризации складываются концепты, которые являются основой формирования категорий [Зайнуллина 2003: 72]. Суждение о принадлежности чего-либо к одной или разным категориям есть итог сопоставления двух концептуальных структур, и такое суждение обычно имеет форму высказывания «X есть пример категории Y» [КСКТ 1996: 46]. Например, «желтый», «зеленый», «красный», «черный», «белый» и т.д. суть объекты категории ЦВЕТ. Логически рассуждая, следует полагать, таким образом, что концептуализация предшествует категоризации, а не наоборот, то есть категории существуют, потому что существуют концепты, а не концепты существуют, потому что существуют категории.

б) Логически рассуждая, можно также полагать, что объекты мысли называются концептами или категориями в зависимости от определенной точки зрения. Если эти объекты рассматриваются как конечные составляющие («конечные продукты мысли»), их следует считать концептами, которые представляют данную категорию и, в свою очередь, представлены языковыми выражениями. Например, желтый цвет как конечный объект (концепт) категории ЦВЕТ ассоциируется в русском языке с такими выражениями, как *желтый дом, желтая лихорадка, желтая пресса, желтый билет, желтый профсоюз, восстание «желтых повязок», Желтая река, желтая акация*, а также: *желторотый (желторотый воробей), желтолицый, желтокожий, желтуха, желтизна, желтеть* и т.д. Если же сравнение ментальных объектов приводит к дальнейшему дроблению (иерархии), то речь идет о категориях. Например, варианты желтого цвета, такие как бледно-желтый, лимонно-желтый, золотистый, шафрановый, кукурузно-желтый, пшеничный, песочный, составляют категорию ЖЕЛТЫЙ, которая, в свою очередь, является субординатной по отношению к категории ЦВЕТ, то есть рассматривается как субкатегория.

в) Концепты связаны, а категории не связаны с модальностью, то есть с субъективным отношением человека к объекту обозначения. Зоны функционирования оценки можно выделить вслед за Ш. Балли 1) в пределах эмоциональных реакций (удовольствие/неудовольствие), 2) в пределах моральных категорий (добро/зло), 3) в пределах эстетических норм (прекрасное/безобразное) [Балли 1961: 223]. Способность человека думать об одном сквозь призму другого лежит в основе метафорической по сути концептуальной системы, которая представлена языковыми значениями [Лакофф, Джонсон 1990: 387]. «Теория совмещения ментальных пространств» объясняет, как из области ИСТОЧНИК (source) в область МИШЕНЬ (target) переходит представление знания, вербально закрепляя информацию и при этом создавая образную оценку. При этом зоны функционирования оценки могут быть даже взаимно противоречивыми. Например, в содержании французской фразы *prendre feu* «влюбиться» реализуется метафорическая модель «любовь» (ИСТОЧНИК) → «огонь» (МИШЕНЬ); оценка является отрицательной, поскольку огонь сжигает, следовательно, любовь есть зло; оценка является положительной, поскольку огонь греет, следовательно, любовь есть удовольствие. Можно утверждать, что концепт есть единство рационального и образного; при этом образное обычно предполагает оценку. Например, оценочным компонентом с положительной модальностью обладают слова, обозначающие объект любви в английском языке: *love* «любовь», *precious* «драгоценный», *sweet* «сладкий», *sweetie* «сладенький», *sweetie-pie* «сладкий пирожок», *honey* «мед», *treasure* «сокровище», *baby* «детка».

d) Взаимодействие категорий приводит к новым смысловым единицам (концептам). Эти новые концепты отличаются от кодируемых в языке первоначальных ментальных репрезентаций, связанных с чувственными образами и образующими наивную концептуальную модель мира или ментальный лексикон. Новые концепты суть ассоциации, построенные на единицах ментального лексикона, которые тождественны категориям. Например, *Эйнштейн* и *любовь* относятся к разным категориям: [УЧЕНЫЙ] и [ЧУВСТВО], однако во фразе *в любви я Эйнштейн* создается новый концепт: «человек, который превзошел науку любви, специалист по теории и практике любви». Концепт еще более усложнится, если противопоставить эту фразу фразе *в любви я Ньютон*, поскольку это вызывает совершенно противоположный ряд ассоциаций по сравнению с первой фразой. «Эйнштейн в любви» понимает парадоксы, например, такие как в содержании поговорки *любовь зла – полюбишь и козла* (то есть любовное чувство не всегда находит для своего выражения достойный объект). «Ньютон в любви» более рационалистичен; закон Ньютона, выраженный в формуле $F = ma$ (где F – сила, m – масса, a – ускорение), в метафорическом преломлении по отношению к любви можно интерпретировать следующим образом: чем больше m , то есть внешнего проявления, размаха, весомых материальных аргументов, то есть массы, тем больше F , то есть силы любви. Таким образом, наблюдение над чувством любви сквозь призму научной парадигмы позволяет выявить новые концепты, отражающие онтологию этого великого феномена.

Таким образом, утверждение о том, что концептуализация есть процесс, обратный категоризации, верно только отчасти, в том смысле, что речь идет о выделении отдельных смыслов, связанных с означиванием выделяемых сегментов реального мира (концептуализация) и об объединении этих смыслов в общие рубрики (категоризация). Однако категоризация есть не только объединение, но и всякая типизация, и в этом смысле категоризация неотличима от концептуализации как процесса и результата выделения типовых смыслов. Накопление знания связано с усложнением концептов, которые начинают, с одной стороны, дробиться, а, с другой стороны, концентрироваться вокруг наиболее общих смыслов. Таким образом, усложнение знания ведет к усложнению концептов и превращению их в категории.

6. КАТЕГОРИИ И КОНЦЕПТЫ

Из вышеизложенного следует, что объектами категорий выступают как сами сущности объективного мира, так и определенные концепты, представляющие эти сущности, например, концепты-понятия «любовник», «возлюбленный», «испытывать любовное чувство к лицу противоположного пола» и т.д. составляют объекты категории ЛЮБОВЬ.

И категория, и концепт имеют типизирующую функцию. Однако концепт объединяет разнородные категории, а категория объединяет однородные концепты. Например, концепт «проститутка» объединяет такие категории, как ПРОДАЖНОСТЬ, БЕССТЫДСТВО, ПОШЛОСТЬ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ (как правило), ЛОЖЬ и т.д., которые не пересекаются внутри одного разряда. Эти категории отражают обособившиеся разнородные признаки, характеризующие объекты категории ПРОДАЖНАЯ ЖЕНЩИНА. Каждая из перечисленных категорий включает однородные объекты, например, категория ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ включает в себя такие объекты, как плата, приз, премия, гонорар, грант, подарок и т.д.

Отчуждение признаков, образующих эти концепты-понятия, служит средством концептуализации категории. Например, некоторые атрибуты категории ПТИЦА служат концептуализации свойств птицы: «способность щебетать» → «секретный источник информации» (*little bird: a little bird told me*), «размер птицы» → «малая величина» (*to eat like a bird, a bird in the hand*) «птичий мозг» → «отсутствие интеллекта» (*bird-brained*), «птица в клетке» → «узник» (*jailbird, to do bird* «сидеть в тюрьме»), «редкая птица» → «странный человек» (*rare bird: he is a strange old bird*). Аналогичным образом, негативные в глазах общественного мнения атрибуты типа продажной женщины выражаются в

расширении концепта на другие категории. Например, существительное *bitch* в английском языке может употребляться как оскорбительное выражение, которое характеризует неприятную для говорящего женщину (категория ЖЕНЩИНА): «the silly bitch went and told the police» или может обозначать что-то трудное и малоприятное (категория ПРОБЛЕМА): *I love that silk dress, but it's a bitch to wash*, или, употребляясь в качестве глагола, означает «сплетничать, перемывать кости, говорить гадости» (категория СПЛЕТНИ): *we were all bitching about the boss when she walked in*, или «постоянно жаловаться, брюзжать» (категория ЖАЛОБА): *stop bitching!* [Longman 1995].

И категория, и концепт объективируются наименованием. «Если вербализация концепта не свершилась, значит, процесс познания не завершен» [Иванова 2004: 76]. Иное дело – категория, которая в отличие от концепта не обязательно имеет наименование. Наименования как формальные структуры не могут охватить все, что можно помыслить и представить себе в виде некоей рубрики, такой как «все, что принадлежит императору» (угодья, рабы, дворцы и т.д.), «летающие животные» (птицы и рукокрылые млекопитающие), «все, что вызывает страх» (змея, темнота, звук сирены, высота), «все, что я люблю» (застолье, беседы, книги и т.д.). Можно также допустить существование категории с объектами типа дети, драгоценности, телевизоры, картины, рукописи, фотоальбомы на том основании, что все это подлежит первоочередному выносу из горящего дома [Михеев, Фрумкина 1991: 58]. Если же в основе категории лежит общий концепт, такая категория (лексическая категория) получает наименование по представляющему ее концепту.

Использование наименования категории для объекта другого рода не является достаточным основанием для включения этого объекта в категорию. Например, категория МЕДВЕДЬ включает в себя такие объекты, как бурый медведь, полярный медведь, панда, коала, но не такой объект, как плюшевый медведь, который относится к функциональной категории ИГРУШКА. Аналогичным образом, виды любви, такие как страстная любовь, первая любовь, любовь с первого взгляда, супружеская любовь относятся к одноименной категории. Виды любви отличаются от видов симпатии (уважение, дружба, восхищение, почитание и т.д.), а также от смежных категорий, связанных с проявлением чувства: любовь к вину (привычка), любовь к мясу (удовольствие), любовь к игре (страсть). Проявление чувства в этих случаях не удовлетворяет основным признакам данной категории, выраженной в дефиниции «сильное сердечное влечение» [Ожегов 2000].

Существование категории не зависит от степени типизации объектов, которые ее представляют. Поэтому объектами категории могут быть типы объектов мира или сами индивидуальные объекты. Например, объектами категории ПРОДАЖНАЯ ЖЕНЩИНА являются как виды проституток (бордельная проститутка, вокзальная проститутка, трассовичка, девочка по вызову и т.д.), так и индивидуальные проститутки (например, в античной проституции: Архедика, Родопис, Таис и т.д.), а представителями категории РУКА являются индивидуальные руки людей, обобщенные в виде единого кванта знания.

7. КОНЦЕПТЫ И ПОНЯТИЯ

Концепт представлен в языке значением или сложной взаимосвязью значений, которая называется семантическим полем. Как определенное содержательное объединение языка, семантическое поле варьируется по степени психологической реальности. Далеко не всякая концептуальная сфера соответствует семантическому полю, поскольку для этого концептуальная сфера должна типизироваться общим концептом. Степень психологической реальности семантического поля уменьшается по мере удаления от среднего уровня категоризации, почти исчезая на верхних уровнях абстракции, например, в таких категориях, как ЧЕЛОВЕК, ЖИВОТНОЕ, ЖИВОЕ и т.д.: «Крупное содержательное объединение, соответствующее такой концептуальной рубрике идеографического словаря, как ЧЕЛОВЕК, вряд ли психологически может считаться семантическим по-

лем в отличие от его структурных частей, каждое из которых интуитивно осознается как обозримое и ясное целое, например, поле наименований лица, частей тела, чувств, глаголов говорения, мышления и т.д.» [Шафиков 1999: 38; ср. 2000; 2004].

Концепты выражают ориентированные на человека, наивные, а не научно-философские представления о мире, поскольку *primum vivere, deinde philosophari* (философия следует за жизнью, а не наоборот). Чем абстрактнее концепт, тем менее умопостигаемым он становится для общего коллектива носителей языка и тем более превращается он в интеллектуальную категорию для людей умственного труда. Концепты, которые состоят только из категориальных компонентов типа оценки, модальности, пропозиции и т.д., не имеют образного содержания, являясь, по существу, как и представляющие их значения, категориями [Васильев 2004: 15].

Разумеется, повседневные понятия также варьируются по степени абстрактности, например, понятия правды, любви, цвета, руки, чашки и т.д. Однако за каждым из этих понятий стоят легко распознаваемые всеми образцы соответствующих категорий, в отличие, например, от таких языковых категорий, как ПАДЕЖ, ТАКСИС, НАКЛОНЕНИЕ и т.д. Поэтому вряд ли правомерно говорить о концептах падежа, таксиса, склонения. Также вряд ли можно говорить о научно-технических понятиях из разных областей знания в качестве концептов общего пользования, например, о понятиях «параллакс» (видимое изменение положения тела вследствие перемещения глаза наблюдателя), «дискриминант» (формула для решения алгебраических квадратных уравнений), «спин» (момент количества движения кванта) [СЭС 1980] и т.д. Эти понятия концептуальны только для специалистов и поэтому не входят в концептуальную модель мира «среднего человека», ориентированного на средний уровень категоризации.

Таким образом, различие между концептами, с одной стороны, и понятиями, с другой стороны, состоит не только в том, что концепт, кроме понятия, может включать в себя также представление, ассоциацию, образ (в том числе художественный образ). Различие заключается также в том, что понятийный концепт относится к повседневной реальности в отличие от понятия (логической структуры) как совокупности существенных признаков означаемого.

Психологическая обоснованность существования концепта зависит от степени повседневного антропоцентризма. В наибольшей мере это проявляется в отношении к вещам, которые окружают человека определенной культуры в повседневной жизни. Например, если сравнить современных домашних животных с динозаврами, то представление о таких животных, как собаки и кошки, разумеется, будет «более человеческим», чем представление о динозаврах, поскольку с первыми человек сталкивается постоянно, а вторые известны только в качестве реконструкции ископаемых останков. Описывая соответствующие концепты, А. Вежбицкая говорит, что собаки послушны воле человека, а кошки гуляют сами по себе, что собаку одной рукой обычно не поднимешь, но, встав на задние лапы, собака может оказаться вровень с человеком, что кошки не только пушисты, но их приятно гладить и т.д. [Wierzbicka 1985: 168]. Ничего подобного нельзя сказать о динозаврах в силу их большей (по сравнению с собаками и кошками) психофизиологической удаленности от человека и несовместимости с человеком в одном пространственно-временном мире.

8. «ЛЮБОВЬ» И КАТЕГОРИЗАЦИЯ

Ментальную структуру, представляющую любовное чувство человека, можно рассматривать и как категорию, и как концепт. Как категория эта структура, прежде всего, включает в себя такие объекты, как романтическая любовь, любовь к родителям, любовь к музыке, любовь к родине и т.д. Кроме того, как суперкатегория эта структура состоит из подчиненных категорий (субкатегорий), таких как РОМАНТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ, СУБЪЕКТ РОМАНТИЧЕСКОЙ ЛЮБВИ, ОБЪЕКТ РОМАНТИЧЕСКОЙ ЛЮБВИ, РОМАНТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ и т.д.

Рассмотрение субкатегории романтической любви требует выявления всех возможных объектов и примеров, характеризующих объекты этой категории, например, любовь мужчины к женщине или женщины к мужчине, влюбленность, плотская любовь, платоническая любовь, страстная (безумная) любовь, первая любовь, взаимная любовь, безответная любовь, однополая любовь и т.д. Все эти объекты, представляющие общую категорию, в свою очередь, представлены примерами из реальной или идеальной (литературной) жизни, например, любовь Сольвейг, взаимная любовь Ромео и Джульетты, Лейлы и Медждун, Дафниса и Хлои, Марсея Сердана и Эдит Пиаф, Фредерика Шопена и Жорж Санд, любовь Данте к Беатриче, Тургенева к Полине Виардо, Петрарки к Лауре и т.д.

Очевидно, прототипическим объектом можно считать страстную любовь, которая отражается вербально в виде многочисленных языковых выражений, например, в английском языке: *adore, be besotted, be daft about, be devoted to, be gone on, be potty about, be soppy on, be taken with, be wild about, be crazy about, be dotty about, be infatuated with, be head over heels in love with, be hipped, be mad about, be nuts over/about/on, be spellbound, be struck on, dote on, have a passion for, think the world of*; во французском языке: *adorer, aimer à la folie, aimer qn comme (plus que) ses yeux, aimer qn comme les yeux de la tête (pop.), aimer qn comme ses (petits) boyaux (pop.), avoir une véritable adoration pour qn, être passionné de (pour) qn, tenir à qn par de fortes attaches*. Можно также выделить периферийные случаи, которые располагаются на границе категории, например, инцест (любовь римского папы Александра VI к его дочери Лукреции Борджиа, любовь императора Калигулы к его сестре Друзилле и т.д.), любовь между гомосексуалистами (например, любовь Оскара Уайльда к лорду Дугласу, любовь Верлена к Рембо), любовь педофила (например, любовь Гумберта к Лолите из одноименного романа Владимира Набокова) и т.д. Эти примеры свидетельствуют о том, что ЛЮБОВЬ можно рассматривать как радиальную категорию, в которой есть прототип и другие объекты, расположенные с разной степенью удаленности от прототипа. Например, любовь зрелого мужчины к девочке-подростку (Гумберт и Лолита) выглядит более нормальной, чем любовь мужчины к своей сестре (Калигула и Друзилла), поскольку родственная кровь является более сильным ингибитором, чем возраст; еще менее обычной в общественном сознании выглядит гомосексуальная любовь; наконец, можно найти самые крайние случаи, например любовь между женщиной и дельфином, который умер, выбросившись на берег от тоски после отъезда любимой домой.

9. «ЛЮБОВЬ» И КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ

Для отграничения концепта необходимо найти точки пересечения ядерного концепта со смежными концептами. Например, ядерный концепт «любовь», понимаемый как сильное сердечное чувство субъекта к объекту, находится в отношениях включения и пересечения с концептами «желание», «вожделение», «интерес», «уважение», «восхищение», «дружба», «очарование», «впечатление» и т.д.

Описание концепта связано с толкованием значения его имени и ближайших обозначений [Карасик 2004: 109–110]. Поэтому, как уже указывалось выше, связь концепта с пересекающимися концептами прослеживается в дефинициях, например, концепт «любовь» толкуется в дефинициях глаголов, выражающих соответствующие понятия: *care for someone* 1) «to love someone, especially in a way that is based on *friendship* rather than sex» (например, *she made him feel special and cared for*) («дружба»); *care for someone* 2) «to like or want something or someone» (например, *I don't much care for chocolate*) («желание»); *desire* «to want someone as a sexual partner» («вожделение»); *enchant* «to interest and attract someone very strongly» (например, *we were all enchanted by the island*) («интерес»); *impress* «if someone or something impresses you, you admire them» (например, *her carvings attracted many admirers but her paintings failed to impress*) («впечатление»); *worship* «to love and admire someone or something very much» (например, *his junior officers worshipped him*) («восхищение»); *charm* «to deliberately make someone like you so that he does what you want him to

do» (например, *he was able to charm my mother into helping him financially*) («колдовство»); *esteem* «to admire and respect someone» («уважение»). Кроме того, внутренняя форма многих мотивированных номинаций ассоциируется с рядом других концептов, в частности «сумасшествие» (*be crazy about someone*), «удар» (*be smitten*), «острота» (восприятия) (*to be keen on something*) и т.д.

Рассмотрение концепта «романтическая любовь» требует изучения языковых значений, выраженных в словах, фразеологических единицах и суждениях паремического характера, которые представляют данный концепт.

В самом простом случае базовый концепт, обозначаемый наименованием романтической любви (например, *love* в английском языке, *aimer, amour, sympathie, amitié* во французском языке), коррелирует с другим концептом, создавая сложное концептуальное целое, то есть когнитивную модель (термин Лакоффа), построенную на сравнении, утверждении или отрицании какого-либо свойства любви. При этом *одна и та же когнитивная модель может передаваться в разных языках через разные образы*. Более того, в рамках одной и той же когнитивной модели в одном языке можно найти суждения, которые вступают друг с другом в противоречие. Например: 1) в английском языке разлука рассматривается как катализатор любовного чувства (*absence makes the heart grow fonder*), а во французском языке как «враг любви» (*l'absence est l'ennemi de l'amour*); 2) то, что любовь сторонится общественного ока, выражается в английском языке суждением о том, что скрыть любовь невозможно (*love and a cough cannot be hid*), а во французском языке утверждается антитеза «холодный монах – горячая любовь» (*froids moines, chauds amours*), то есть утверждается способность даже страстной любви укрыться под маской холодной личины, что, разумеется, вполне возможно; 3) корреляция **любовь ~ бедность** в английском языке имеет положительный смысл, то есть утверждается, что любовь вполне уживается с бедностью, в то время как во французском языке эта корреляция имеет отрицательный смысл, то есть любовь и бедность вместе не уживаются (англ. *love in a cottage*; франц. *l'amour et la pauvreté font ensemble mauvais ménage*); 4) корреляция **любовь ~ ценность** в английском языке имеет положительную (оптимистическую) маркированность, поскольку утверждается, что любовь вознаграждается любовью же (*love is the reward of love; love is the true price of love*); во французском языке пословица, связанная с данной семантической корреляцией, утверждает, что за любовь приходится платить страданием. Наоборот, в корреляции **любовь ~ болезнь** более оптимистичной представляется коммуникативный эквивалент во французском языке, который утверждает, что любовь лечится (*les lunettes et les cheveux gris sont des remèdes d'amour*), в отличие от пессимистически ориентированного английского эквивалента (*no herb will cure love*); правда, оптимизм французского утверждения приправлен изрядной долей иронии, ведь для того, чтобы излечиться от любви предлагается постареть!

Метонимические и метафорические образы, представляющие концепт «любовь» через соотнесение абстрактного с конкретным, раскрывают общие свойства романтической любви, которые выражаются в значениях мотивированных языковых выражений. Лишь в редких случаях внутренняя форма языкового выражения прямо указывает на концепт; чаще всего концепт выражается опосредованно через метафорический образ. Можно выделить два фундаментальных образа любви: 1) **ЛЮБОВЬ ЕСТЬ НЕКТО** («нечто живое»), 2) **ЛЮБОВЬ ЕСТЬ НЕЧТО** («нечто неживое»). Эти фундаментальные образы представлены в конкретных образах.

ЛЮБОВЬ ЕСТЬ НЕКТО («нечто живое»)

любовь ~ живое существо: «слепое существо, которое не видит недостатков» (англ. *love is blind*); «мать, которая рождает потомство» (англ. *love is the mother of love / love begets love*); «существо, которое, подобно человеку, обитает в жилищах» (англ. *love lives in cottages as well as in courts*); «существо, с которым, в отличие от человека, нельзя шутить» (франц. *on ne badine pas avec l'amour*); «существо, для которого разлука является смертельным врагом» (франц. *l'absence est l'ennemi de l'amour*)

любовь ~ сердце как часть живого существа: «сердце есть человек, способный, как всякий человек, любить и забывать» (англ. *the heart that once truly loves never forgets*);

«поллюбить значит потерять/лишиться сердца» (англ. *lose one's heart to*, франц. *avoir le coeur pris*); «заставить полюбить значит очаровать чье-то сердце» (франц. *charmer le coeur*); «любить значит носить чувство в сердце» (франц. *porter dans son coeur*)

ЛЮБОВЬ ЕСТЬ НЕЧТО («нечто неживое»); при этом «нечто» может пониматься как нечто конкретное или нечто абстрактное

ЛЮБОВЬ ЕСТЬ НЕЧТО КОНКРЕТНОЕ

любовь ~ огонь: «зажечься» (то есть «влюбиться») (франц. *prendre feu*); «старая любовь – это головешка, которую можно всегда раздуть» (франц. *vielles amours et vieux tisons s'allument en toutes saisons*)

любовь ~ предмет, который можно отдать (франц. *qui donne ce qu'il aime ne prend ce qu'il désire*)

любовь ~ путь (англ. *the course of true love never did run smooth*)

любовь ~ предмет, который поддается измерению (англ. *faults are thick where love is thin*)

любовь ~ война (англ. *all is fair in love and war*)

любовь ~ металл: «старая любовь не боится ржавчины» (франц. *vieille amitié ne craint pas rouille*)

ЛЮБОВЬ ЕСТЬ НЕЧТО АБСТРАКТНОЕ

любовь ~ ценность: «любовь оплачивается любовью» (то есть ценность любви в самой любви) (англ. *love is the reward of love; love is the true price of love*); «любовь так же ценна, как кишки» (франц. *aimer qn comme ses (petits) boyaux*); «любовь так же ценна, как глаза» (франц. *aimer qn comme (plus que) ses yeux; aimer qn comme les yeux de la tête*)

любовь ~ могучая сила: «любовь смеется над замками (препятствиями)» (англ. *love laughs at locksmiths*); «любовь проползет там, где не сможет пройти» (англ. *love will creep where it may not go*); «любовь заставляет танцевать даже осла» (франц. *l'amour apprend aux ânes à danser*); «любовь преодолевает препятствия» (франц. *l'amour rapproche les distances*); «старая любовь – это головешка, которую можно всегда раздуть» (франц. *vielles amours et vieux tisons s'allument en toutes saisons*); «любви все возрасты покорны» (франц. *l'amour est de tous les âges*); «любовь нельзя подчинить» (англ. *love cannot be compelled*; франц. *sympathie ne se commande pas*); «ссора между влюбленными только еще больше разжигает любовь» (англ. *the falling out of lovers is the renewing of love*; франц. *querelles d'amants, renouvellements d'amours*)

любовь ~ что-то, что обязывает: «любишь меня, люби мою собаку» (англ. *love me, love my dog*; франц. *qui m'aime, aime mon chien*); «кто меня любит, следует за мной» (франц. *qui m'aime me suit*)

любовь ~ слабость, болезнь, ранение: «быть больным любовью» (англ. *be lovesick*), «любовная болезнь» (англ. *lovesickness*), «испытывать слабость к кому-то» (франц. *avoir un faible pour qn*); «быть сраженным» (англ. *be smitten; be struck on*); «быть раненным в крыло» (франц. *en avoir dans l'aile*); «нанести удар (укол)» (франц. *faire un touche*); «нет лекарства от любви» (англ. *no herb will cure love*); «единственное, что излечивает любовь, это очки и седина пожилого человека» (франц. *les lunettes et les cheveux gris sont des remèdes d'amour*); концепт «любовь» передается также через образ падения, поскольку побеждающая сила любви лишает человека привычной устойчивости; будучи поверженным ниц трудно сопротивляться: англ. *be head over heels in love with; fall for; fall in love with*; франц. *tomber amoureux*

любовь ~ что-то, что не забывается: (англ. *the heart that once truly loves never forgets*; франц. *on tient à ses vieilles admirations; vieilles amours et vieux tisons s'allument en toutes saisons*); «старая любовь не ржавеет» (франц. *vieille amitié ne craint pas rouille*); «кто любит, тот не забывает» (франц. *qui bien aime tard oublie*)

любовь ~ что-то, что стремится к укромности: «любовь, как и кашель, нельзя скрыть» (англ. *love and a cough cannot be hid*); «страстная любовь под маской бесстрастного монаха» (франц. *froids moines, chaudes amours*)

любовь ~ везенье: «везет в картах – не везет в любви» (англ. *lucky at/in cards, unlucky in love*); (франц. *heureux au jeu, malheureux en amour*)

любовь ~ бедность: «любовь в хижине» («с милым рай в шалаше»: англ. *love in a cottage*); «любовь живет и в хижинах, и во дворцах» (англ. *love lives in cottages as well as in courts*); «любовь и бедность плохо сочетаются» (франц. *l'amour et la pauvreté font ensemble mauvais ménage*)

любовь ~ разлука: «разлука укрепляет любовное чувство» (англ. *absence makes the heart grow fonder*); «разлука вредит любви» (франц. *l'absence est l'ennemi de l'amour*)

любовь ~ красота: «не бывает некрасивой любви» (франц. *il n'y a point de laides amours / il n'y a point de belles prisons ni de laides amours*)

любовь ~ нечто, что заполняет или захватывает: (англ. *be taken with; catch/take one's fancy*)

любовь ~ сумасшествие или глупость: (англ. *be daft about; be besotted; be crazy about; be dotty about; be mad about/on; be nuts about/on/lover; be potty about; be sappy on*; франц. *être fou de; être toqué de qn*)

любовь ~ нечто мягкое или нежное: (англ. *be soft on; be sweet on; honey, sweetheart, sweetie, sweetie-pie*)

любовь ~ безвыходное положение: (англ. *be stuck on*)

любовь ~ колдовство или очарование волшебной силой: (англ. *be spellbound*).

Любовь есть чувство, а чувства, как и ментальные состояния, плохо поддаются толкованию, поэтому свойства любви передаются через подобие, через соотнесение с чем-то более понятным и простым. Таким образом, в основе концептуализации всех эмоций, в том числе любви, лежит «единый принцип уподобления того, что недоступно прямому наблюдению (реакции души), тому, что может наблюдаться непосредственно (реакции тела)» [Апресян 1995: 461]. Объяснение любви через образы («металл, который не боится ржавчины», «огонь, который охватывает человека», «болезнь, от которой нет лекарства», «сумасшествие», могучая сила, которая увлекает или поражает человека и смеется над всеми попытками запретить или воспрепятствовать и т.д.) гораздо лучше объясняет феномен данной эмоции, чем любое научное толкование, например такое: «любовь есть специфическое чувство высокоорганизованной материи».

10. «ЛЮБОВЬ»-ФРЕЙМ И «ЛЮБОВЬ»-СХЕМА

Существование концепта принципиально не нуждается в другом концепте (хотя концептуальный анализ, как правило, обнаруживает смежные или иерархически взаимосвязанные концепты), в то время как категория существует только благодаря наличию членов, которых должно быть не менее двух. «Невозможно воспринимать только чистые особенности, и невозможно понять класс, который состоит только из одного члена. Чтобы говорить о признаке, необходимо, по крайней мере, иметь два члена одного класса» [Saugstad 1990: 91].

Совершенно иначе обстоит дело с фреймом. Фрейм как вид концепта представляет собой когнитивную структуру, которая объединяет значения в стереотипической ситуации [Минский 1988: 289]. Фрейм состоит из *слотов*, особых концептов, количество которых соответствует количеству элементов, выделяемых в данном виде знания. Например, фрейм физического объекта состоит из слотов, соответствующих разнообразным аспектам опыта человека с объектами определенного типа [Кобозева 2000: 65]. Слотами фрейма «романтическая любовь» можно считать: любовное влечение (в английском языке: *love*; во французском языке: *amour*), любовная связь (в английском языке: *amour, dalliance, holiday romance, intrigue, liaison, love affair, love-hate, love-hate relationship, office romance, romance*; во французском языке: *affaire de coeur, amourette, liaison, passade*), субъект влечения (в английском языке: *admire, lover, passion, romeo, swain, worshipper*; во французском языке: *admirateur, admiratrice, adoreur, adoratrice, amant, amoureux, bien-aimé, bien-aimée, maîtresse, soupirant*), взаимность (в английском языке: *reciprocity*; во французском языке: *réciprocité*), ревность (в английском языке: *jealousy*; во французском языке: *jalousie*), верность (в английском языке: *fidelity*; во французском языке: *fidélité*), измена (в английском языке: *treason*; во французском языке: *trahison*), соперник (сопер-

ница) (в английском языке: *rival*; во французском языке: *rival*), разлука (в английском языке: *separation*; во французском языке: *séparation*) и т.д.

Схема как вид концепта есть логическая единица когнитивного процесса. Инвариантной схемой концепта «любовь» является схема **S, O (влечение)**, в которой можно выделить разные варианты, такие как «схема направления» или «схема развития».

СХЕМА НАПРАВЛЕНИЯ: 1) $S \rightarrow O$ (влечение) (действие исходит от S), например: *любить, влюбиться в кого-то, быть без ума от кого-то, обожать кого-то*; 2) $S \leftrightarrow O$ (влечение) (действие исходит одновременно от S и O), например: *любить друг друга*; 3) $S \leftarrow O$ (действие исходит от O), например: *очаровывать, привлекать, околдовать, влюбить в себя*.

Возможны также другие схемы в отличие от схемы направления, например, схема развития. **СХЕМА РАЗВИТИЯ:** *влюбленность* → развитие чувства → завершение чувства (нежность, дружба, остывание любовного чувства, равнодушие и т.д.).

Фрейм как определенная ситуация может рисоваться человеку в виде некоторой последовательности действий, которая затем реализуется в качестве сценария. Однако реальная ситуация в виде сценария может не совпадать с фреймом, который отличается от индивида к индивиду. Например, знание действий, характеризующих только отечественный аэропорт, создает *ограниченный фрейм*, который может вызвать у кого-то затруднения при совершении действий на международных рейсах. В международном аэропорту иначе осуществляется посадка, высадка из самолета, получение багажа, выезд из аэропорта назначения и т.д. Кроме того, индивидуальная неповторимость концептуальной модели мира, в которую кроме концептов-понятий, встроены концепты-оценки, вызывает большие различия в эквивалентных фреймах. Например, фрейм «публичный дом» может отличаться у продавца и покупателя любовных услуг. Герой рассказа А.П. Чехова «Припадок», посещая публичный дом, испытывает сильнейшую фрустрацию, которая кончается нервным срывом, вследствие несовпадения своего фрейма порядочного человека и фреймов обитателей низкопробного борделя. Клиенту услуг навязывается сценарий, который противоречит его фрейму. То, что должно с точки зрения покупателя продажной любви выглядеть сокровенным, здесь происходит как обычное физиологическое отправление.

ВЫВОДЫ

1. И категории, и концепты суть ментальные структуры, единицы памяти и языка мышления, то есть своеобразные кванты знания, которыми оперирует человек в процессе мышления; таким образом, мышление структурируется ментальными образованиями, которые можно называть категориями и концептами в зависимости от угла зрения.

2. Усложнение ментальных структур осуществляется по направлению от концептов к категориям.

3. Первичные концепты (концепты-понятия) образуются выделением смыслов, отражающих внеязыковую действительность и совокупно представленных в наивной концептуальной модели мира, в то время как производные концепты (ассоциации) создаются пересечением категорий.

4. Категории объединяют гомогенные множества (концепты), а концепты объединяют гетерогенные множества (категории); иначе говоря, концепты объединяют категории, а категории объединяют концепты.

5. Категории не имеют образной составляющей, следовательно, лишены модальности, в то время как любой концепт выражает субъективное отношение к объекту обозначения.

6. Чем выше мы движемся по шкале «конкретное» ↔ «абстрактное», тем явственнее происходит процесс перехода концептов в категории.

7. Все концепты вербализуются в языке, в то время как категории могут не иметь закрепленной в языке формы выражения, однако вербализация категории является типичной для любого языка.

8. Концепты в отличие от понятий относятся к наивной категоризации; напротив, понятия представляют собой все виды совокупностей существенных признаков, в том числе концептов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян 1995 – Ю.Д. *Апресян*, В.Ю. *Апресян*. Метафора в семантическом представлении эмоций // Ю.Д. *Апресян*. Избранные труды, 2. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.
- Бабушкин 1998 – А.П. *Бабушкин*. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка, их личностная и национальная специфика: Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. Воронеж, 1998.
- Балли 1961 – Ш. *Балли*. Французская стилистика. М., 1961.
- Болдырев 2000 – Н.Н. *Болдырев*. Когнитивная семантика. Курс лекций по английской филологии. Тамбов, 2000.
- Васильев 2004 – Л.М. *Васильев*. О понятиях и терминах когнитивной лингвистики // Исследования по семантике. Уфа, 2004.
- Воркачев 2003 – С.Г. *Воркачев*. Концепт как «зонтиковый термин» // Язык, сознание, коммуникация. М., 2003.
- Зайнуллина 2003 – Л.М. *Зайнуллина*. Лингвокогнитивное исследование адъективной лексики (на материале английского, русского, башкирского, французского и немецкого языков). Уфа, 2003.
- Иванова 2004 – С.В. *Иванова*. Лингвокультурология и лингвокогнитология: Сопряжение парадигм. Уфа, 2004.
- Карасик 2004 – В.И. *Карасик*. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М., 2004.
- Кобозева 2000 – И.М. *Кобозева*. Лингвистическая семантика. М., 2000.
- КСКТ 1996 – Е.С. *Кубрякова*, В.З. *Демьянков*, Ю.Г. *Панкрац*, Л.Г. *Лузина*. Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996.
- Кубрякова 1997 – Е.С. *Кубрякова*. Части речи с когнитивной точки зрения. М., 1997.
- Лакофф, Джонсон 1990 – Дж. *Лакофф*, М. *Джонсон*. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. М., 1990.
- Минский 1988 – М. *Минский*. Остроумие и логика коллективного бессознательного // Новое в зарубежной лингвистике. 23. М., 1988.
- Михеев, Фрумкина 1991 – А.В. *Михеев*, Р.М. *Фрумкина*. Категоризация и концептуальные классы // Семантика и категоризация. М., 1991.
- Мурясов 1968 – Р.З. *Мурясов*. Выражение лица средствами словообразования в современном немецком языке // Уч. зап. МГПИИЯ им. М. Горького. М., 1968.
- Мурясов 1972 – Р.З. *Мурясов*. Структура словообразовательных полей лица и инструмента в современном немецком языке // ВЯ. М., 1972. № 4.
- Ожегов 2000 – С.И. *Ожегов*, Н.Ю. *Шведова*. Толковый словарь русского языка. М., 2000.
- Попова, Стернин 2002 – З.Д. *Попова*, И.А. *Стернин*. Язык и национальная картина мира. Воронеж, 2002.
- Рахилина 2000 – Е.В. *Рахилина*. О тенденциях в развитии когнитивной семантики // ИАН СЛЯ. 2000. № 3.
- Самигуллина 2006 – А.С. *Самигуллина*. Семантика концептов: К проблеме интерпретации субъективных смыслов. Уфа, 2006.
- СЭС 1980 – Советский энциклопедический словарь. М., 1980.
- Уорф 1961 – Б.Л. *Уорф*. Наука и языкознание // Новое в лингвистике. 1. М., 1961.
- Шафиков 1999 – С.Г. *Шафиков*. Теория семантического поля и компонентной семантики его единиц. Уфа, 1999.
- Шафиков 2000 – С.Г. *Шафиков*. Прагматические категории и типология // Germanica. Slavica. Turcica. К 60-летию проф. Р.З. Мурясова. Уфа, 2000.
- Шафиков 2004 – С.Г. *Шафиков*. Типология лексических систем и лексико-семантических универсалий. Уфа, 2004.
- Lakoff 1990 – G. *Lakoff*. Women, fire and dangerous things. Chicago; London, 1990.
- Longman 1995 – Longman dictionary of contemporary English. London, 1995.
- Saugstad 1990 – P. *Saugstad*. Language: a theory of its structure and use. Oslo, 1990.
- Ungerer, Schmid 1996 – F. *Ungerer*, H.-J. *Schmid*. An introduction to cognitive linguistics. London; New York, 1996.
- Wierzbicka 1985 – A. *Wierzbicka*. Lexicography and conceptual analysis. Ann Arbor, 1985.

© 2007 г. А.С. НИКОЛАЕВ

**БЕССУФФИКСНЫЙ ПРЕТЕРИТ *ro'ír* И ДРУГИЕ ДРЕВНЕИРЛАНДСКИЕ
ПРЕТЕРИТЫ С ДОЛГИМ *-í-* В КОРНЕ***

В статье рассматривается др.-ирл. бессуффиксный претерит (*ro'ír*) от глагола *ernaid, ern* 'вручает'. Эту форму невозможно объяснить из и.-е. редуцированного перфекта от и.-е. корня **perh₃-*; в статье аргументируется необходимость реконструкции формы **pēr_h-t* («нартегов» имперфект) и, соответственно, пракельт. **fīr ūt*, что позволяет пролить свет на происхождение класса претеритов на *-í-* в древнеирландском, а также, возможно, на проблему презенсов с носовым инфиксом с полной ступенью аблаута в корне. В приложении предлагается новая этимология для галл. *ieuru/ειουρο*.

Хорошо засвидетельствованный древнеирландский глагол *ernaid, ern* 'он дает, дарит, вручает' образует претерит (*ro'ír*)¹, диахроническая морфология которого остается не вполне ясной. Цель настоящей заметки – рассмотреть происхождение этой формы, что также позволит поставить ряд более общих вопросов относительно истории глагольной системы древнеирландского языка.

Помимо упомянутых выше бессуффиксного претерита *ro'ír* и презенса с носовым инфиксом *ernaid* (класс В IV), этот глагол образует в древнеирландском следующие основы²: конъюнктив на *-a- 'era* (например, *r-a'era*³ Wb 25a31), будущее время с удвоением *'ebra* (например, *ebarth-i* Ml 46b12) и претерит пассивного залога *rath* (например, *ro'rath* LL 36878)⁴. Приведем два примера на использование *ro-ír* из глосс, с тем, чтобы проиллюстрировать значение этого глагола:

Wb. 17^b13 gl. *quam mensus est nobis Deus .i. ro-ír dún*

'(которым) он (scil. Господь) нас одарил'

Wb. 20^d11 gl. *in laudem gloriae gratiae suae, in qua gratificauit nos in dilecto*

Filio sui .i. ron-ír et ron-lín di-rath in spirto

'Он одарил нас и наполнил нас милостью Святого Духа'

* Благодарю Дж. Джэзнова, С.В. Иванова, М. Петерса, А.В. Шацкова и С. Шумахера за ценные замечания.

¹ Графические варианты: *ro'ír* (например, Trip.² 300), *ro'hír* (например, Blathm. 66.771) и *ro'ir* (Amra Con Roí 9). Неаугментированные формы не зафиксированы, поэтому в дальнейшем мы даем форму перфекта с приставкой.

² Полный список форм и примеров приводится в [DIL 1983: 172–173], а также в стандартных трудах [Pedersen 1911: 513; Schumacher 2004: 508–510].

³ Рукопись дает <ra'era>.

⁴ По своему происхождению пассивный претерит идентичен широко распространенному существительному *rath*, огам. Gen. Sg. RATI 'дар', откуда 'удача, процветание' и 'благодать'; ср. также галльские имена собственные *Duratus, Suratus*. Из других существительных, примыкающих к рассматриваемому глагольному корню, отметим слабо засвидетельствованное др.-ирл. *ir* 'дар' [DIL 1983, I: 296–297]; ввиду того, что оно засвидетельствовано фрагментарно, определить флективный класс этого имени трудно, но вероятной кажется реконструкция основы на *-i-* с изменением корневого *e* в *i* (**feri-* > *ir*). Наконец, галл. *ratin* (L-3), по предположению С. Шумахера, может продолжать основу на **-ti-* от того же корня и означать 'дар' [Schumacher 2004: 739].

Этимология этого глагола не представляет большой проблемы, хотя она служила предметом некоторой дискуссии в первой половине прошлого века: Р. Турнейзен предложил возводить как *'ern*, так и *'rin* 'продавать' из основы **rina-* от и.-е. корня **perh₂-* 'продавать' (LIV² 474: др.-греч. ἐπέρασσα, πέρνημι), считая, что парадигма разделилась на две части в прагойдельском [Thurneysen 1927]. Однако К. Маккоун показал, что предполагаемая реконструкция **p_ṛ-ne/n-h₂-* не может дать ни *'ern*, ни *'rin*⁵, и предложил в качестве этимона корень **perh₃-* 'давать; производить': лат. *parere*, др.-греч. πέπρωται [McCone 1986: 226]; этот корень также образует презенс с инфиксом (вед. *pṛṇāti*)⁶. Эта этимология принимается в настоящей заметке; отметим ее семантическую привлекательность: др.-греч. πέπρωται означает 'было предопределено, суждено, назначено судьбой' и используется в приложении к высшим силам⁷; сходные употребления известны и для вед. *pṛṇāti*, ирл. аог. *pūrdhi* 'подай!' (при обращении к божеству⁸), и эта семантика куда лучше соответствует древнеирландскому глаголу, употребляющемуся для описания процесса передачи даров от высшего суще-

⁵ **R* в позиции перед несмычным согласным дает *-ar-*, ср.: *m_ṛ-uo-* 'мертвый' (суффикс **-uo-* по аналогии к **g^wih₃-uo-* 'живой') > др.-ирл. *marb*, **g^wl-ne-h₁-* > др.-ирл. *(a-t) baill* 'умирает', **p_ṛk-skelo-* > **p_ṛ-skelo-* (с диссимилятивным выпадением первого из двух **k*, общим для италийских и кельтских языков) > **farskelo-* > др.-ирл. *arcu* 'я спрашиваю' [McCone 1985].

В своей книге 1991 года К. Маккоун предложил собственное объяснение и для *'rin* 'продает': он возвел этот глагол к корню **h₂reih_{2/3}-*, тому же, что и в др.-греч. ἀριθμός, νήριτος [McCone 1991: 39–40]; краткий гласный в др.-греч. формах можно объяснить через презенс **arielo-* < **h₂rih_{2/3}elo-* (ср. мик. *a₂-ri-e*, *a₂-ri-sa*), см. [Peters 1988–1990: 353v].

⁶ Существование древнеиндийского корня *pṛā-* 'давать', отличного от *pṛā-* 'наполнять', было показано Ф.Б.Я. Кёйпером [Kuiper 1938]. Попытки отнести к этому же корню формы со значением 'перевозить/носить', например, вед. *pīpartī*, герм. **fara-*, **farja-*, лат. *portō* [Hardarson 1993: 219] едва ли можно признать удачными.

Бриттское соответствие др.-ирл. материалу отсутствует, но указанием на общекельтскую древность этого глагола, а конкретнее, на древность презентной основы с инфиксом **ferna-*, может служить кельтибер. *erna* в 3-й строчке надписи из Лузаги, если перед нами в самом деле именная форма со значением 'дар(ы)', образованная от основы презенса, как предполагает В. Майд [Meid 1995: 158, 162]; см. также [Wodtko 2000: 119–120]. К типологической возможности такого образования ср. др.-греч. κρημνός (гом.) и κρήνημι, нов.-атт. κλίνη и κλίνω, στέρνον и лат. *sternō*, др.-инд. *stīrṇah* и *stīrṇānti*, лит. *kanczà* и *kenczù* (последняя пара отмечена [Schulze 1911]).

⁷ Ср.: Σ 329 ἄμφω γὰρ πέπρωται ὁμοίην γαῖαν ἐρεῦσαι; Γ 309 ὀπποτέρωι θανάτοιο τέλος πέπρωμένον ἐστίν; А. Pr. 512 οὐ ταῦτα ταύτη Μοῖρά πω τελεσφόρος κρᾶναι πέπρωται и 519 τί γὰρ πέπρωται Ζηνὶ πλὴν ἀεὶ κρατεῖν.

⁸ Преимущественно в *dānastuti*, «похвалах дару», завершающих гимн, ср. RV I, 36, 12a (к Агни), I, 42, 9a (к Пушану), VIII, 95, 4a (к Индре: *rāyās pūrdhi*), VIII, 78, 10d (к Индре: *pūrdhi yāvasya kāśīnā*). Особенно любопытны два следующих контекста: V, 6, 9cd *utō na út pūrdhi yā ukthēṣu śavasas pata iṣam stotībhya ā bhara* и т.д. «и нам ты воздай за гимны, о господин силы! Принеси восхвалителям жертвенную усладу! [...] пусть он даст нам обилие прекрасных героев, а также то самое богатство из быстрых коней» и VII, 24, 6a, где поэт просит Индру о богатстве со словами *vār yasya pūrdhi* (речь идет буквально о следующем: «О Индра, эта песня просит тебя о благах... Так дай нам, Индра, от лучшего богатства!») (Елизаренкова переводит «наполни нас», «наполни с верхом»; Гельднер переводит «gib uns, Indra, vom Besten mit vollen Händen»: эти переводы не учитывают того, что перед нами может быть глагол, отличный от *pṛ-* 'наполнять'). Перед нами глагол, отражающий архаичные социальные отношения, и едва ли против древности этой семантики *pṛ-* может говорить использование этого глагола в ведийских *dānastuti* (об аутентичности последних см. [Oldenberg 1885: 83–90]). Отметим, что др.-ирл. существительное *rath*, видимо, не случайно в христианскую эпоху получило значение 'благодать Божья'.

ства низшему, от патрона – клиенту⁹, нежели «торговая» семантика корня **perh₂-* со вторым ларингалом¹⁰.

Класс претеритов на *-í-* в древнеирландском

Помимо *roír*, этот класс бессуффиксальных претеритов включает в себя следующие глаголы [GOI 1946: 430]:

midithir ‘судит’ : 1 Sg. *mídar* Wb. 9^b5, 3 Sg. *míd(a)ir*, 3 Pl. *mídatar* Trip. p. lix, 14

fichid ‘сражается’ : 3 Sg. *fích*, 1 Pl. *fichimmar*

inladfét ‘рассказывает’ : *in fíd* LL 292^b6–7

t-infet ‘вдохновляет’ : *do r-infid* Hib. Min. p. 6, 173, *do r-infith* Trip. 2, 7,

а также, возможно, **fíd* от глагола *do fet* ‘ведет’ (*du-da ruíd* Ml. 63^b12; *du fidedar* Thes. ii. 242, 13 издатели исправляют как **du-d fidedar*).

Обычно появление этого типа претеритов объясняется через процесс лениции [GOI 1946: 435; Watkins 1962: 108]: начальное *f-* в глаголах *fích*, *fíd* и *infid* восходит к **u-*; в редуцированных формах типа **ui-úC-* второе *-u-* в интервокальном положении было ленировано и затем выпало (ср. *druí*, Gen. Sg. *druad* ‘друид’ < **dru-úid-*, *dia* ‘Бог’ < **deúas* < **deúios* или основы будущего времени с удвоением, например, *rofiastar* ‘будет знать’ < **ui-úes-*).

В самом деле, для некоторых глаголов, образующих претерит на *-í-*, такое решение представляется возможным: так, например, для претерита *fíd* ‘вел’ может быть реконструирована праформа **-fiəð* < 1 Sg. **úúúida*, что подкрепляется архаичными написаниями <*fiad*> или <*fied*> (с изменением по подъему */i/* > */ə/* перед */a/* в следующем слог): [Schumacher 2004: 668]. В случае *fichid* с претеритом *fích* бриттские формы указывают на **-úūk* (ср.-валл. 3 Sg. *amuc* ‘бился’ < **amb(i)-úūk*), что может быть результатом монофтонгизации **uoik-*; таким образом, в кельтском продолжены обе основы: **úuoik-* (валл. *(am)uc*) и **úúúik-* (др.-ирл. *fích*; для лат. *uicī* равным образом возможно реконструировать любую из основ).

Однако попытка применить этот анализ ко всему классу претеритов на *-í-* сталкивается с двумя затруднениями:

1) в глаголе *do r-infid* *f-* восходит к сочетанию **sú-*, что видно из ср.-валл. *chwythu* (**suisdelo-*); поэтому реконструкция праформы с редупликацией **suisúisd-* проблематична, так как в интервокальном положении ленированное **-sú-* не должно было выпасть,

⁹ Помимо примеров из глосс, можно вспомнить архаическую поэму *Amra Con Roi* (первая половина VIII века [Henry 1995: 179–194]), во второй части которой (строки 9–47), описывается, как Курой (*Cú Roi mac Dáiri*) одарил своего поэта Ферхертне (*Ferchertne*): «*Cú Roi róir dam deich mbruigi¹⁰ mac Dáiri deich ndáirbé, deich srianu óir¹¹, deich n-echu airmítiu, deich n-étgudu imuame...*» ‘Курой одарил меня десятью угожьями, десятью рабынями, десятью золотыми уздечками, десятью отличными жеребцами, десятью одеждами с бахромой’ и т. д.

Сходное замечание относительно семантики делает и Г. Айзек [Isaac 1997: 162]. И все же, строго говоря, полностью исключить возможность семантического развития **perh₂-* ‘продавать’ → ‘давать, жаловать’ нельзя.

¹⁰ В завершение обзора этимологии данного корня нелишним будет небольшой комментарий относительно формальной реконструкции пассивного претерита *rath* в рамках ларингальной теории. Краткий гласный в рефлексе праформы **pr₁h₃-to-* заставляет думать о таких примерах, как др.-ирл. *raith* ‘папоротник’, галл. *ratis* < **(s)pr₁H-ti-* или *flaith* ‘владыка’ < **u₁H-ti-*, на основании которых ряд кельтологов постулирует закономерное развитие группы **-CR₁H₃T-* в *-CR₁ĀT-* [Schrijver 1995: 168–191; Schumacher 2004: 136–137]. Согласно другой школе, закономерным рефлексом является *-CR₁ĀT-* с долгим гласным [McCone 1991: 106–107; 1996: 52], что позволяет объяснить такие случаи, как др.-ирл. *bráth*, ср.-валл. *brawt* ‘суждение’ < **brātu-* < **g^wr₁H-tu-* или др.-ирл. *tráth* ‘период времени’ < **tr₁h₂-tu-*. Проблема остается открытой; с точки зрения диахронической морфологии *rath* < **pr₁h₃-to-* идентично *gnáth* ‘обычный, привычный’ < **g_nh₃-to-*. Если признавать первичность рефлекса *-CR₁ĀT-*, можно трактовать краткий гласный в *rath* как результат аналогии с другими глагольными основами от того же корня или как «сверхнулевую ступень» (*super-zero-grade*): типологически можно сравнить краткий гласный в др.-греч. *φύτόν* < **b^huH-to-*.

ср. прет. *sephainn*¹¹ от глагола *sennid* ‘поет, играет (музыку), звучит’ (из и.-е. **suen-*, вед. *ásvanī*), а также 3 Sg. ipv. *toibned* Ml. 44^a 13, восходящее к **tophenneth* с синкопой¹²: если бы интервокальное **-sū-* выпало, мы бы ожидали *†toinned*¹³. Таким образом, получить претерит от *t-in̄fet* из редуцированной основы не удается.

2) *míd(a)ir*: предполагать общегойдельскую основу **mimid-* от корня *mid-* возможно, однако ленированное *-m̄-* в интервокальном положении даст [v̄] и, в отличие от ленированного *-i-*, сохранится (на письме как <m>); таким образом, прямолинейно возводить основу *míd-* к корню с редупликацией невозможно¹⁴. Заметим, впрочем, что будущее время от этого глагола образовано по аналогии с глаголами с начальным *f-*: вместо ожидаемой формы *†mimess/miv̄ess/мы видим/miūess/в 3 Sg. con̄miastar, rel. miastar*, таким образом, можно предположить (вместе с Турнейзенем [GOI 1946: 435]), что и претерит сформирован по аналогии.

Тем не менее любопытно отметить, что для и.-е. корня **med-* мы имеем свидетельства о наличии форм с продленной ступенью аблаута в корне: др.-греч. *μῆδομαι*¹⁵. Оче-

¹¹ Написания: <sephainn> LL 33186, <sephain> SR 2159, <sefainn> CIH III 1120.28.

¹² Форма *toibned* от глагола *do 'seinn*, Pl. *du-m̄zenat*, Impf. *du'seinned* ‘преследует, охотится’ [DIL 1983: D 372–373] может быть сопоставлена с глаголом *sennid, 'seinn* ‘звучит и т. д.’ через семантическое развитие ‘звучит’ > ‘лает’ > ‘гонит (о собаках)’ [Pedersen 1909–1913: 625]. Однако нельзя исключить, что *do 'seinn* находит прямое соответствие в 3 Pl. *sennait* LU 10364 (Tochm.Em.) ‘достигают’ [DIL 1983: 150–151 s.v. *seinnid*]: последний глагол продолжает и.-е. корень **senh₂-*, рефлекс которого в других и.-е. языках не имеют следов /w/ (хетт. *šanaḫzi*, вед. *sanóti*). Вместе с тем, очевидно, что в кельтских языках рефлекс корня **senh₂-* и **suenh₂-* сделались омонимами (ср. [McCone 1998: 467]: «root **swenh₂-* [...] had arguably assimilated reflexes of a **senh₂-* ‘seek’»); в недавнем докладе В.У. Фортсон возвел также ср.-валл. *cychwynni* ‘начинать’ к основе **suenne-*, происходящей из **sanna-* (корень **senh₂-*) путем аналогических изменений и тематизации [Fortson 2006].

¹³ Впрочем, возможно считать, что редупликация **su.su* была упрощена (путем диссимиляции?) в **su..u*.

¹⁴ Н.А. Николаева [Николаева 2003: 89] предлагает обобщение основы множественного числа **memd-* с последующим упрощением редукации и компенсаторным удлинением на общекельтском уровне: **memd-* > **mēd-* > **míd-*. Это решение в высшей мере интересно, однако неясно, можем ли мы постулировать прегойдельские компенсаторные удлинения в таком контексте. Напротив, можно было бы ожидать (в общекельтский период или еще раньше) ассимилятивного изменения *-md-* > *-nd-* и последующего (уже гойдельского) изменения гласного в [i], ср. *rind, rendo* < **rendu-* (судя по всему, вне зависимости от гласного в следующем слове, ср. *cingid* ‘прыгает’ < **kengeti*, где тембр гласного в первом слове не может быть поставлен в зависимость от /i/ в третьем, поскольку процессы повышения/понижения подъема гласного происходят только в слове, непосредственно предшествующем слогу, содержащему *iu* или *ola*, ср. Dat. Sg. **teneti* > *tenid* от *teine* ‘огонь’). Переход *-enD-* > *-InD-* – общекельтский, о чем свидетельствует хотя бы галл. *Cingetorix* (об этом звуковом изменении см. [McCone 1996: 55–56]); тем самым последовательность событий 1) **memd-* > **mēnd-* 2) **mēnd-* > **mínd-* кажется более вероятным сценарием, чем **memd-* > **med-* > *mid-*, не подтвержденный другими примерами. Общекельтскому упрощению группы *-mD-* противоречит и галл. *cambion* ‘скрюченный’ (ср. др.-ирл. *cimbid* ‘пленный’).

¹⁵ Любопытно, что у данного корня «нартеповы» признаки распространяются не только на глагол, но и на имя существительное: ср. др.-греч. *μῆδεα* ‘планы, советы’ < **mēdes-* (едва от того же корня образовано *μῆδεα/μέδεα* (Archil. 138) /*μέζεα* (Hes. Op. 512) ‘гениталии’) и арм. *mit* ‘дух, мысль’. В армянском основа на *-s-* могла быть переосмыслена как основа на *-a* (Gen. Sg. *mti*, Gen.-Dat.-Abl. Pl. *mtac*) ввиду частотного множественного числа *mītk^c**, *mtac^c* < **míta* + *k^c* < **mēdesa* < **mēdesh₂* [Matzinger 2005: 17]. Относительно армянской формы возможны и другие интерпретации, поскольку окончание *-ac* может быть вторичным: так, П. Видмер предлагает исходить из основы на **mēdi-* [Widmer 1997: 37], но общендоевропейский характер основы на *-s-* (ст.-умбр. *meřs*, лат. *modestus*) делает это предположение маловероятным; возможна и гистерокинетическая основа на *-s-* **mēdēs-*. Именные формы с продленной ступенью аблаута представлены и в германском, ср. др.-исл. *mát* ‘мера’; однако (как отмечает также Т. Майсснер [Meissner 2006: 81]), образование *nomen actionis* от сильного глагола является продуктивным процессом, и перед нами, скорее всего, внутригерманская деривация от основы претерита множественного числа, которую мы находим в гот. *us-mētum*, др.-исл. *móto*, др.-верх.-нем. *māzzun* (ср. апофонические соответствия между др.-исл. *dráp*, п. ‘смерть’ и *drópo*, др.-верх.-нем. *trāfun*; др.-исл. *nám*, п. ‘учение’ и *nóto*, др.-верх.-нем. *nāmun*).

видно, что перед нами архаизм, хотя присутствие ступени /ē/ в среднем залоге не вполне ожидаемо. Далее, мы находим ступень /ē/ в форме прошедшего времени: μῆστο βουλευσατο (Гезихий)¹⁶, и возможно, что эта форма продолжает имперфект *mēd-(t)o, сопоставленный «нартеновому» презенсу *mēd-(t)or¹⁷. Из этого следует, что претерит на -i- *mīd(a)ir, который непросто объяснить через леницию, может напрямую восходить к и.-е. *mēd-¹⁸.

Таким образом, теоретически для ro'ir возможны два решения: либо эта форма продолжает и.-е. перфект с редупликацией *pepor(h₃)-e, либо и.-е. основу прошедшего времени *pēr_h3-t¹⁹ с продленной ступенью аблаута в корне²⁰.

(ro)ir < *peporh₃-e?

Реконструкция и.-е. перфекта *pepor(h₃)-e основывается на итальянских (фалиск. *pe:parai*, лат. *peperi*²¹) и древнегреческих данных (πέπρωται), к которым с определенной долей вероятности в качестве *tertium comparationis* примыкает вед. орт. perf. *ripūr yas*²². Казалось бы, ничто не препятствует возведению др.-ирл. ro'ir к этой надежно засвидетельствованной для праязыка форме, поскольку и.-е. перфекты отражаются в древнеирландском именно как бессуффиксальные претериты²³, и и.-е. */p/ выпадает уже в пракельтском.

Однако по фонетическим соображениям маловероятно, что какая-то из форм перфекта *pepor(h₃)-e могла дать прагойдельское *φīr^(*):

– *pepor(h₃)-e > *φeφor-e не даст нужного результата, вопреки мнению У. Каугилла [Cowgill 1957: 68] и других исследователей, поскольку слияния гласных через глат после выпадения *φ в гоидельском не происходило, ср. Gen. Sg. от *nie* 'племянник': огам. NIOT-ТА, арх. др.-ирл. *niath* < *nepotes²⁴.

– основа множественного числа с нулевой ступенью аблаута в корне *pepr(h₃)-e даст †ebair.

– и даже виртуальное *peper(h₃)-e (реконструкция, которую непросто обосновать) также не даст нужного долгого гласного, ср. Nom. Pl. *téit* 'горячие' < *tepentēs или *tepentes.

¹⁶ Неясно, насколько можно полагаться на грамматическую форму толкования βουλευσατο; возможно, что μῆστο – это рефлекс атематического презенса; наконец, перед нами может быть сигматический аорист (*mēd-s-to).

¹⁷ Классифицируя эту форму прошедшего времени с продленной ступенью аблаута в корне как «нартенов» имперфект (а не аорист), мы следуем теории Дж. Джэзнова [Jasanoff 2002: 292; 2005]; ср. [Николаев 2005].

¹⁸ Совершенно невероятной выглядит попытка Майсснера дискредитировать свидетельство древнегреческих форм в пользу продленной ступени аблаута путем принятия контаминации с *meh₁- 'мерить' (LV²: 424): Майсснер принимает аналогию презентной основы с сигматическим аористом (ε)μησάμην [Meissner 2006: 81].

¹⁹ Мы намеренно употребляем размытый термин «основа прошедшего времени», подробнее см. ниже в тексте.

²⁰ Третье теоретически возможное решение – это аналогия; единственная возможность, которая приходит на ум, – это претерит *rír* от глагола *renaid* 'продавать', но эти два глагола в других категориях не проявляют особенной близости.

²¹ См. [Meiser 2003: 161].

²² Эта форма может относиться и к корню *prā-* 'наполнять', см. [Kümmel 2000: 304–305].

²³ Ср.: *maidid*: прет. *metaid*, *rigid*: прет. *reraig*, *gonaid*: прет. *geguin*, *cingid*: прет. *cechaing*, *dingid*: прет. *dedaig*, и т.д.

²⁴ Слияние гласных *e и *ō после выпадения *s – более поздний процесс, однако его результат тот же: *suesor- дает двусложное Acc. Sg. *sieir* 'сестру', и слово для 'лосося' (др.-ирл. *é(o)*, ср. лат. *elisoc-*) дает Gen. *iach* (2 слога); см. [GOI 1946: 203].

Остается не вполне ясным, что имеет в виду Т. Матиассен, говоря об «einer klar einzelsprachlichen Kontraktion» [Mathiassen 1974: 95]. Столь же непрозрачно мнение Маккоуна: «*ir* 'granted', presumably from *-i-ir» [McCone 1997: 53].

Итак, прямолинейные попытки возведения прагойдельского $*\phi\acute{i}r^{(1)}$ к и.-е. перфекту от корня $*perh_3-$ следует признать безуспешными (что было ясно и Турнейзену, см. [GOI 1946: 435]). Тем не менее, перед тем как окончательно оставить «перфектную версию», следует убедиться, что перфект от корня $*perh_3-$ не сохранен в других кельтских языках.

Следы $*peroh_3-e$ в других кельтских языках?

К сожалению, данные континентальных кельтских языков не проливают света на нашу проблему, а, скорее, запутывают ее еще больше: первое (и, в сущности, единственное), что приходит на ум, это галльская форма $ieuru/\epsilon\upsilon\rho\upsilon$ ‘dedicavit’ (перевод М. Лежёна)²⁵; в этой форме, которая, пожалуй, занимает первое место по числу упоминаний в специальной литературе по континентальным кельтским языкам, неясно все: этимология, морфологическая структура, окончание. И все-таки именно эта форма играет важную роль в ряде сравнительно недавних попыток объяснения др.-ирл. $ro\acute{i}r$.

П.-И. Ламбер был, насколько нам известно, первым, кто сопоставил галльск. $ieuru$ с др.-ирл. $ro\acute{i}r$ [Lambert 1979]: для галльского путем внутренней реконструкции он получил праформу $*e\acute{i}or-u$, которую он возвел к и.-е. $*repore$; к такой же праформе, согласно Ламберу, восходит и $(ro)\acute{i}r$. Отмечая фонетические сложности, изложенные выше, и не рискуя предполагать контракцию $*eo > *e > i$, Ламбер предлагает взамен нестандартное решение, а именно, антиципацию неслогового i ($*eio- > *ie(i)o-$), и затем (уже в гойдельском) переход $e > i$ после начального i ($*ieo- > *iio- > *i$). Тем самым он решает сразу две проблемы: начальный i в $ieuru$ и вокализм $(ro)\acute{i}r$ ²⁶. Элегантность решения Ламбера обманчива: предлагаемая им антиципация хотя и остается возможной, но не находит параллелей, появление фонетического интервокального i в гiate, возникшем после выпадения $*\phi$, хотя и также возможно, но также не подтверждается другими примерами и, главное, постулируемое развитие $*ieo- > *iio- > \text{гойдельск. } *i$ не выдерживает проверки материалом.

К.Х. Шмидт с энтузиазмом принял сопоставление Ламбера и реконструкцию $*repore$ [Schmidt 1986: 176], однако он отверг его фонетическое решение и вместо этого реконструировал $*epi-reporu$ для объяснения галльской формы²⁷. Др.-ирл. $ro\acute{i}r$ он возводит к $*repore$ через следующую цепочку звуковых изменений: $*er-e < *eere < *eore$ с ассимиляцией гласных – при этом последняя снова не имеет параллелей в кельтском!

Наконец, Ф.О. Линдеман предложил возводить $(i)euru$ (с приставкой) к $*ewr\ddot{u}$, которое являет собой результат ассимиляции по лабиальности, вызванной конечным гласным \ddot{u} ; $*ewr\ddot{u}$, тем самым, восходит к $*e\beta r\ddot{u}$, которое продолжает $*peroh_3-e$ [Lindeman

²⁵ Засвидетельствованы следующие формы (определение значения лица/числа в высшей степени условно):

1 Sg. $ieuri$ (Lezoux, L-67; Ф. Линдеман указывает, что $rigani$, следующее слово в надписи, благодаря начальному $ri-$ могло обусловить графическую антиципацию [Lindeman 1991-1992: 8, прим. 7]; соответственно, перед нами может быть и 3 Sg. Не вполне ясна и галло-греческая форма $\epsilon\upsilon\rho\upsilon\alpha$ (Nîmes, сильно поврежденная надпись G-285): М. Лежён видит здесь древнее окончание 1 Sg. $*-ai$, результат монофтонгизации которого мы имеем в $ieuri$ [Lejeune 1994]; согласно другой версии $\epsilon\upsilon\rho\upsilon\alpha$ – это 3 лицо двойственного числа [Villanueva Svensson 2001].

3 Sg. $\epsilon\upsilon\rho\upsilon$ (G-153; $\langle\omega\rangle$ обозначает открытый заднерядный гласный среднего подъема, $\langle\upsilon\rangle$ – закрытый, потация не связана с долготой), менее древняя галло-латинская форма $ieuru$ (L-3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).

3 Pl. $iourus$ (L-12). См. [Delamarre 2003: 188–189; Lejeune 1980].

²⁶ См. также [Lambert 1996: 96–98].

²⁷ Реконструкция приставки фигурирует и в более ранних работах, см., например [Lejeune 1968: 40]. Ст. Шумахер [Schumacher 2004: 740] апеллирует к идее различных галльских диалектов и предлагает отделять $\epsilon\upsilon\rho-$ (из $*peroh_3-$) от $ieur-$ (из $*ieor- < *(e)pi-reporh_3-$), этой же точки зрения придерживается и Н.А. О’Шей [О’Шей 2005: 36; 2006: 67].

1991–1992: 7–8]. Для Линдемана **peproh₃-e* – форма активного перфекта единственного числа, прямо соответствующая др.-греч. *πέπρωτα*. Проблематичность такого анализа заключается в том, что в др.-греч. *πέπρωτα* Линдеман, использующий достаточно идиосинкратическую версию ларингальной теории, видит полную ступень аблаута, в то время как с точки зрения общепринятого в настоящее время варианта ларингальной теории *-p₃-* несомненно восходит к нулевой ступени **-r₃-*, ожидаемой в среднем залоге²⁸. Формы корня **perh₃-* имеют «состояние I», что доказывает др.-греч. аорист *ἔπρεε*²⁹, не учтенный Линдеманом: поскольку в праязыке аорист и перфект, как правило, не образовывались от разных состояний корня, активный перфект от корня **perh₃-* с большой степенью вероятности выглядел как **peporh₃-e*, а не как **peproh₃-e*³⁰.

Что касается *roír*, Линдеман признает сложность фонологического аспекта проблемы и потому выбирает морфологическое решение и возводит эту форму к и.-е. основе **pēr-*, которую он считает основой множественного числа в перфекте, приводя в качестве параллелей лат. *uēr-* и алб. (гег.) */dógl/*. Но для обеих этих форм есть другие объяс-

²⁸ В рамках ларингальной теории Линдемана **pepr₃h₃-(t)oiír* отразилось бы как *†πέπρωτα*.

²⁹ Рефлекс корневого аориста: **perh₃t > *perot > *poret* с той же метатезой, что и *λοετρόν vs. мик. re-wo-te-ro*. От корня в «состоянии II» мы бы ожидали аорист **preh₃t > (ἔ)πρω*.

³⁰ Более того, как мне напоминает М. Петерс, вероятно, уже в праязыке была тенденция избегать последовательности **-oH-e* (**-eh₃-o-*), что выражалось, в частности, в появлении *Schwebeablaut*'а *CReH- > CeRH*. Так, др.-греч. будущее вр. *βέομαι(βείομαι)* 'я буду жить' восходит к конъюнктиву (или тематическому презенсу, соответствующему арм. *keam*) **g^weih₃-elo-* при аористе **(e)-g^w(i)ieh₃-t > ἔβιον*; перфект от этого корня также выглядел не как **g^weg^wioh₃-e*, а как **g^weg^woih₃-e*, судя по мл.-ав. opt. perf. 2 Sg. *jiyaēša* (по поводу интерпретации этой формы см. [Kümmel 2000: 628–629]; древнегреческий не имеет древнего перфекта от этого корня (*βεβίωκα* у Гипократа, Платона и ораторов очевидно основано на *βίωω*), а древнеиндийский образует его от вторичного корня *jiv-*: *jijīva*, ср. *jīvati*). Можно также указать на вед. perf. *juhāva* < **-ḡouh₂-* vs. pres. *зъвати*, вед. *-hvātar-* (JB) < **ḡueh₂-*. Таким же образом А. Дж. Нуссбаум объясняет появление лат. *(sin/pro)cērus*, *-a*, *-um* 'подлинный' / 'длинный' как замену **krēh₁-o-* [Rieken 2003: 47, прим. 39]; впрочем, **krēro- > -cērus* с диссимилятивным выпадением первого *r* остается возможным). Схожую и интересную ситуацию мы находим в перфекте от корня **ḡneh₃-* 'знать, узнавать', для которого наличие древнего перфекта маловероятно по семантическим соображениям, и речь, возможно, идет о формах, образованных накануне распада и.-е. единства или даже в отдельных языках: основу **ḡeḡnoh₃-e* («состояние I»), отличную от той, что мы видим в аористе **ḡneh₃-t* (др.-греч. *ἔγνων*, ст.-сл. *зна[хъ]*: «состояние II»), мы находим в гом. *ἔγωνα* 'отчетливо говорю, кричу' (продленный вокализм которого невозможно рассматривать в отрыве от основы **ḡnēh₃-s-*, представленной в тох. *A kñasūst*, хетт. *ganešš-* и, возможно, в арм. *canaw*: и.-е. основа презенса, согласно [Jasanoff 1988b], аориста согласно [Peters 1980: 314] и в германском претерито-презенсе *kann : kunnin* 'мочь', рефлекс которого сохранены во всех германских языках; с другой стороны, основу **ḡeḡnoh₃-* продолжают в германских языках др.-исл. *kná* и др.-англ. *cnēow*, лат. [g]nōiī (которое, несмотря на значение, может восходить и к корневному аористу [Meiser 2003: 226]) и др.-инд. *jajñáu*, *jajñur* (в поздних ведийских текстах); основу множественного числа продолжает др.-ирл. *ad'gén* 'знал, знает' < **ati-gegn-*.

Заметим, что рефлексом перфекта **ḡeḡnoh₃-e* не является *†jajñá* или *†[g]nō[i]*, т.е. контракции конечной последовательности **-oh₃-e* не происходит; напротив, появляется **-u-*, для которого возможное объяснение предлагает Дж. Джэзнов, постулируя на основе ведийского перфектного окончания *-au* (а также древнеиндийских форм дуалиса *vḥkauvḥkāv*, с параллелью в германском, ср. гот. *ahtau* '8') фонетическое правило **-òH_xe[#] и *-òH_xe[#] C- > *òH_xe[#] и *-òH_xe[#] > *òH_xu[#]* [Jasanoff 1988a: 73, прим. 10; Melchert 1994: 51–52]; слегка переработанная версия в работе [Jasanoff 2003: 61–62]. В целом, с точки зрения общего языкознания это правило можно интерпретировать как следствие запрета на конечную последовательность **-òH_xe*, которая тем самым преобразуется в **-òH_xə*; итак, реконструкция **peproh₃-e* становится весьма маловероятна; в недавней статье Г. Рикс привлекает к анализу не только перфекты от корней типа *CReH-*, но и другие глагольные и именные основы и постулирует общее правило **CReH- > *CeRH* перед гласной, см. [Rix 2003: 366–375], в сущности, повторяя идеи Й. Шиндлера, см. рецензию последнего на книгу Р. Антили [Schindler 1970]).

нения³¹, а главное, едва ли есть надежные основания для реконструкции и.-е. перфектной парадигмы 3 Sg. **perh₃-e*, 3 Pl. **perh₃-rs*³².

Итак, с формальной стороны попытки возвести галльск. *ieuri* к перфекту от и.-е. **perh₃-* следует признать неудачными; более того, они встречаются и с трудностями семантического характера, на что указал Г. Айзек в уже цитированной работе [Isaac 1997: 162]: *ieuri* употребляется в посвятительных надписях, адресованных богам, и до некоторой степени сомнительно, чтобы для описания отношений «человек → божество» был использован корень, который как в праязыке, так и в древнеирландском (см. выше прим. 8–9 и обсуждение этимологии *roír*) кодировал обратные отношения «патрон → нижестоящий». Совокупность вышеперечисленных проблем заставляет признать, что *ieuri* не является аргументом в пользу того, что в кельтских языках сохранился перфект от корня **perh₃-* (и тем самым, вероятность того, что этот перфект мог быть продолжен в др.-ирл. *roír*, еще меньше)³³.

Очевидно, для *roír* необходимо иное объяснение.

Другие возможные объяснения для *roír*

Так как «перфектная гипотеза» не подтвердилась, имеет смысл рассмотреть другие категории, восстанавливаемые для корня **perh₃-* в индоевропейском: это презенс с инфиксом (др.-инд. *pr₃nāti*, др.-ирл. *ern*), корневой аорист (вед. *irv*, аог. *pūrdhī*, др.-греч. тематический аорист *ἔπορε*, субстантивированное причастие в латинском *parentēs*) и аорист с удвоением.

³¹ По поводу лат. *uēni* (и тох. В *śem*) см. [Николаев 2005: 73–75] и литературу там названную; интерпретация Линдеманом *uēn-* как алломорфа основы множественного числа (в парадигме **g^heg^hon-e*, **g^hēn-rs*?) оставляет без объяснения вокализм /ē/ в оскском: 3 Sg. Perf. *kūmbened* (CA A 10).

По поводу алб. *doga* от *djeg* ‘горит, жжет’ следует заметить, что *o/ua* – это продуктивный вокализм в албанском «аористе», и его источником мог стать не только «перфект» **d^hēg^{wh}-e*, но и и.-е. «долготный» претерит с продленной ступенью аблаута в корне (т.е., скорее всего, «нартенов» имперфект/аорист; например, *mb-lodha* и тох. А имперфект *lyāk*, *mola* ‘доил’ и др.-инд. презенс *mārṣti*). Фонологически албанские формы не могут восходить к и.-е. сигматическому аористу, который для данного корня хорошо засвидетельствован (др.-инд. *adhāk*, ст.-сл. -*жаша*, тох. В 1 Sg. Med. *tseksamai*). Отметим, впрочем, что сосуществование корневого аориста и сигматического не так уж редко, особенно в индоиранском (96 случаев в ведийском), и возможно, что *doga* может быть объяснено все-таки из «нартенова» имперфекта, образованного от презенса, которому в праязыке был сопоставлен сигматический аорист; ср. схожую ситуацию с глаголом *vjedh* ‘красть’, аорист *vodha*, где др.-инд. *vāhas-* ‘приношение’, суперлатив *vāhiṣṭa-* (= ав. *vāziṣṭa-*), гот. *wēgs*, полная ступень в вед. *irv*. 2. Du. *volhām*, ударение в вед. part. *ūhāna-*, мл.-ав. part. perf. mid. *uuuuazānəm* Yt. 10, 124 [Weiss 1993: 178] дают основания предполагать «нартеновость», а др.-инд. *āvāt*, лат. *uēxi* позволяют реконструировать *s*-аорист, который мы вправе отнести к позднеиндоевропейскому хронологическому слою (ср. [Harðarson 1993: 94–125], где ведийский сигматический аорист в паре с корневым трактуется как новообразование).

³² То же решение предлагает С. Шумахер [Schumacher 2004: 510; 2005: 608]. В настоящей работе не место для сколько-нибудь подробного рассмотрения теории продленного вокализма перфектной основы множественного числа, которая в наши дни пользуется известной популярностью среди ряда европейских ученых. Вкратце суть этой теории сводится к тому, что основа множественного числа от корня **sed-*, реконструируемая на системных основаниях как **se-zd-*, должна была дать **sēd-* уже в праязыке, и по аналогии к этой основе от корней на конечный смычный были образованы основы типа **CēT-*; тем самым, на уровень праиндоевропейской реконструкции практически проецируется ситуация, которую мы видим в германском, например, гот. *sat*, *setun* (отметим, что др.-инд. форма 1 Pl. Perf. Ind. Act. – *sedīma*, а не **sādīma*, ожидаемая согласно данной теории, из чего следует, что основа **se-zd-* > **sa-zd-* существовала еще в праиндоиранском, что подтверждается авестийским оптативом (*ni*)*hazdiiāt*).

³³ Скорее всего, *ieuru/εἰουρου* не относится к нашему корню.

Аорист с удвоением засвидетельствован в др.-греч. πελαρεῖν Pi. Py. 2, 57 'жертвовать'³⁴; однако и.-е. *per₁h₃-elo-* едва ли будет полезным для решения нашей проблемы, поскольку гойдельским рефлексом такой формы будет 3 Sg. **φeφret* > †*'ebair*³⁵.

Корневой аорист, хорошо засвидетельствованный для этого корня, очевидно, также отпадает, потому что древнеиндийские, древнегреческие и латинские формы демонстрируют «нормальную» апофонию **ē/φ* (**perh₃-/i** *pr₁h₃-*), которая не даст долгого гласного в корне, необходимую для объяснения /i/ в *ro'ir*. Также, что еще важнее, аористам этого типа в гойдельском соответствуют не бессуффиксальные претериты, а *t*-претериты; приведем следующие формы:

- fo-gert* 'согрел' от *fo-geir* (корневой аорист в арм. *jeraw* 'его лихорадило');
- at balt* 'умер' от *at baill* (корневой аорист в гомеровской форме двойственного числа (-)βλήτην, также в тематизированных формах ἔβαλε/арк. ἔζελε);
- (*co-ro*) *dart* 'поднялся; оплодотворил' от *dairid**, Impf. *no daired* (рефлекс корневого аориста в др.-греч. ἔθορε < **t^hore-t* < *d^herh₃-t*);
- cilt*, *'celt* 'спрятал' от *ceilid*, *'ceil* (ср. гот. *hulundi* Ev. Jo. 11.38 'пещера' из аористного причастия **k₁-n₁tih₂* [Watkins 1969: 144];
- oirt*, *'ort* 'убил' от *orgaid*, *'oirg*³⁶;
- sirt*, *'sert* 'распространил, возвел' от *sernaid*, *'sern* (ср. вед. (AV) *astariṣ*, ст.-сл. (про)стрѣ(ть) < **sterh₃-t*)³⁷.

³⁴ Семантический анализ этой формы и ее определение как аориста, сосуществующего с *porēiv*, был проделан в работе [Floyd 1971]; о рефлексе последовательности **-C₁R₃V-* в древнегреческом см. [Peters 1980: 30].

³⁵ Выпадение ларингала и, как следствие, отсутствие вокализации **r* можно проиллюстрировать на примере (*fo*) *fuair* 'нашел' < **ue-ur(h₁)-e-t*, ср. аорист с удвоением в др.-греч. εὔρε и г.-ав. *vāurāitē* Y 47.6d (этот анализ *fo fuair* был предложен Дж. Джэзновым [Beckwith 1994–1995]; С. Шумахер считает, что перфект **ue-uroh₁-/ue-urh₁-* также возможен [Schumacher 2004: 681]).

³⁶ В данном случае не до конца ясна корневая этимология, но в любом случае наличие корневого аориста среди и.-е. соответствий несомненно: *orgaid*, прет. *'ort* либо родственно хетт. *ḫarakzi* 'умирать' < **h₃erg-ti* (наличие сосуществующего назального презенса *ḫarnikzi* 'убивает' заставляет реконструировать для хеттского следующую картину: переходный презенс **har-ne-g-ti* 'убивает', аорист **harg-t* 'умер', откуда презенс **harg-ti* 'умирает'), либо восходит к корню **per-* с корневым аористом, отраженным в арм. *har(e)-*, 3 Sg. *ehar* 'ударил' (Ev. Lu. 22.50), см. [Klingenschmitt 1982: 215].

³⁷ Вопрос о корневой апофонии в формах *t*-претерита непрост: ряд ученых предполагает, что изменение подъема гласного в префиксе таких форм *t*-претерита с ударным аугментом, как *as rubart* 'сказал', *tubart* 'дал', *do rumalt* 'съел', является указанием на рефлекс продленной ступени аблаута в корне (**ē* > *i*), см. [McCone 1991: 67, Kortlandt 1997: 135]. В этом некоторые кельтологи видят рефлекс продленной ступени аблаута, ожидаемый в рефлексе и.-е. сигматического аориста; для них вокализм форм *sirt* или *cilt* напрямую указывает на **ē* и фонологически необъясним из **ē*: подъем ударного /e/ перед /i/ в следующем слоге не происходил, если гласные разделяла группа *-rt-* (ср. *ner* 'сила', Gen. Sg. *neirt*, Dat. Sg. *neurt*). Однако, с одной стороны, перед нами может быть аналогия к *birt*, *'bert* 'нес' [Peters 1988–1990: 353w] от корня **b^her-*, «долготные» характеристики которого хорошо известны (см. [Николаев 2005: 73]); возможность подобной древней аналогии также подтверждается утратой ларингального рефлекса в *t*-претеритах, восходящих к корням типа *set*, ср. **g^helh₁-t* > *a-t belt* 'умер' (не †*'bela*), **sterh₃-t* > *'sert*, **merh₂-t* > *'mert* 'предал', таким образом, резонно предположить, что не только исход корня (CeR- вместо CeRa), но и корневая апофония видоизменены по аналогии. С другой стороны, нельзя считать доказанным, что древнеирландский *t*-претерит продолжает и.-е. сигматический аорист (как предложил К. Уоткинз [Watkins 1962: 156–174]; ср. [McCone 1994: 165; Schumacher 2004: 61–66]), ибо против этого предположения говорят уже и.-е. параллели, приведенные ниже в основном тексте: здесь мы следуем Дж. Джэзнову, который в своих лекциях (см. также [Jasanoff 2005]) продемонстрировал фонологическую и морфологическую проблематичность теории Уоткинза. Итак, у нас нет оснований возводить *t*-претерит в островных кельтских языках к и.-е. формации с продленной ступенью аблаута в корне.

В индоевропейских языках корневой аорист нередко заменяется (вытесняется) продуктивным сигматическим, что побуждает нас рассмотреть и эту возможность. Однако в древнеирландском нет и следа *s*-претерита $\dagger irsu$, $\dagger irsai$, $\dagger irais$ (или $\dagger erais$), который был бы закономерным рефлексом $*\phi iras(s)-eti < *p\acute{e}rh_3st$ (ср. *anais*, $\acute{a}n$, претерит от глагола *anaid*, $\acute{a}na$ 'дышать, отдыхать', восходящего к корню $*h_2enh_1-$). Тем не менее вопрос сложнее, чем может показаться: вряд ли мы вправе ожидать ларингальный рефлекс в кельтском продолжении *s*-аориста $*p\acute{e}rh_3st$, поскольку в гойдельском многие рефлексы *s*-аористов от корней с конечным ларингалом утратили этот ларингал (если его наличие не было поддержано презентной основой, ср. /a/ в *anaid*).

Рефлексы *s*-аористов в гойдельском утратили продленную ступень в корне (как случилось и в древнегреческом), что явствует из двух несомненных примеров: *anais*, $\acute{a}n$ и *scarais*, $\acute{a}scar$ от *scaraid* 'расходится, разделяет(ся)', и, исходя из этого, можно было бы попытаться оперировать с прагойдельским $*\phi ers-t > *phi rs(s)$ и предположить компенсаторное удлинение после упрощения группы *-rs-*, тем самым попытавшись получить $*\phi\acute{e}r + eti > *e\acute{r}-et > i\acute{r}-et > ()i\acute{r}$. Но и эта гипотеза не поддерживается материалом: в островных кельтских языках рефлексом группы *-rs-* является *-rr-*³⁸, которое сохраняется и после утраты конечных слогов: др.-ирл. *err* 'хвост' vs. др.-греч. ὄρρος, *carr* 'телега' vs. лат. *cursus* 'бег'³⁹ или *s*-конъюнктивы: *orr* от *orcaid* 'убивает' и *fó'ceirr* (2 Sg.) от *fó'ceird* 'кидает'.

Форма $p\acute{e}rh_3-t$ с продленной ступенью аблаута в корне

Итак, мы рассмотрели и исключили ряд возможных версий происхождения долгого гласного в претерите $ro'ir$; остается последняя: продленная ступень аблаута⁴⁰ в и.-е. атематическом и бессуффиксальном претерите $*p\acute{e}rh_3-t$. Как было показано выше, к форме такого типа может восходить еще один представитель класса претеритов на *-í-*: $mid(a)ir$; памятуя о том, что не все претериты этого типа могут быть адекватно объяснены через редупликацию и слияние гласных после выпадения ленированного согласного, можно высказать гипотезу, согласно которой класс претеритов на *-í-* включает не только и.-е. формы с редупликацией и нулевой ступенью аблаута в корне, но и древние основы прошедшего времени с продленной ступенью аблаута в корне.

Однако эта гипотеза сталкивается с определенным затруднением: как уже указывалось выше (прим. 37), корневые претериты (и.-е. аористы и имперфекты), в частности, и те, для которых реконструируется /ē/ вокализм, в гойдельском (и, видимо, бриттском), как правило, отражаются как *t*-претериты, ср. уже названные формы: $*g^w\acute{e}lh_1-t$: *an'ibelt* 'умер', $*merh_2-t > \acute{m}ert$ 'предал', $*b^h\acute{e}r-t > birt$, $\acute{b}ert$ 'нес', $*h_2\acute{e}g-t > ()acht$ 'гнал', тем самым, согласно этой тенденции, мы должны были бы ожидать $\dagger()ert$ ⁴¹. Как объяснить тот факт, что рефлексом и.-е. $*p\acute{e}rh_3-t$ стал бессуффиксальный претерит $(ro')ir$?

Следует вспомнить об одном хорошо известном примере на развитие и.-е. корневой формы от корня типа *seř* в древнеирландский бессуффиксальный претерит: это *do'cer* 'упал' (супплетивный претерит к *do'tuit*), который восходит к и.-е. корневому аористу от корня $*\acute{k}erh_2-$ 'ломать' (вед. AV *aśarīt*): $\acute{k}erh_2-t > *kerat > \acute{c}er$ [GOI 1946: 437; Watkins

³⁸ Но, видимо, не в континентальном кельтском, ср. галльск. *ouersiknos*.

³⁹ Тохарские формы (B *kwasār*, A *kursār*) не гарантируют лабиовелярного (анлаут $*\acute{k}$ - остается возможным), тем самым нет нужды ставить под сомнение соответствие между др.-ирл. *carr* и ср.-валл. *carr*, следуя Й. Хильмарссону [Hilmarsson 1996: 205], который считает кельтские формы латинскими заимствованиями.

⁴⁰ В своем словаре Ю. Покорный возводит $(ro')ir$ к $*p\acute{e}r-$ [Покорный 1959: 817], однако его морфологический анализ остается неясным.

⁴¹ Рефлекса долгого гласного ($\dagger iri$) ожидать, скорее всего, не приходится (закон Остгоффа).

1962: 16]⁴². Очевидно, в силу причин семантического характера, которые пока остаются неясными, прагойдельская форма **kerat* избежала аналогии к **berti*/**birt* и не утратила ларингального рефлекса в отличие от уже названных **g^wēlh₁-t* > *ˈbelt*, **merh₂-t* > *ˈmert*, **dⁿerh₃-t* > *ˈdart*, **sterh₃-t* > *ˈsert*. По нашему мнению, *doˈcer* – это прекрасная параллель к нашему случаю, и тем самым сомнения относительно фонологической и/или морфологической корректности деривации **pērh₃-t* > **p̄erat* > **p̄irat* > (*ro*)*ˈir* могут быть отброшены.

Статус реконструированной формы **pērh₃-t*

Итак, *roˈir* вероятнее всего представляет собой рефлекс **pērh₃-t* ‘дал’; теперь следует поставить вопрос, какое же место занимает **pērh₃-t* в глагольной системе корня **perh₃-*?

Как уже упоминалось выше, *Averbo* этого корня включает в себя достаточно стандартный набор из корневого аориста и презенса с назальным инфиксом; у нас нет оснований сомневаться в достаточно древнем возрасте таких систем, так что на первый взгляд долготный аорист **pērh₃-t* не вписывается в общую картину. Реконструкция аористов с корневым аблаутом **ē/ě* для праязыка остается под вопросом⁴³. Но, как уже упоминалось выше, вовсе необязательно определять форму **pērh₃-t* как аорист: согласно теории, разработанной Дж. Джэзновым, перед нами может быть имперфект от «нартенового» презенса **pērh₃-ti* [Jasanoff 2002: 292; 2005].

Случай сосуществования корневого аориста и «нартенового» презенса хорошо известны⁴⁴. Вот несколько примеров: **deġ-* ‘принимать, понимать’ образует корневой аорист, засвидетельствованный в др.-греч. δέκτο, арм. *etes*, и «нартенов» презенс в вед. *dāṣti*; для **kremh₂-* ‘висеть обмякнув?’ корневой аорист восстанавливается на основе вед. конъюнктива *śramat*, а др.-греч. κρέμασις дает основания принять «нартенов» презенс (ср. также долготу в κρεμνός ‘(нависающий) утес’); **k^wieu-* ‘двигаться’: корневой аорист в др.-греч. ἔβουτο, «нартенов» презенс в староавест. *šāuuaitē*; для **k^wremH-* ‘делать шаг’ ведийский сохранил как аорист *ákrāmīt*, так и презенс *krāmāti*; с большой степенью вероятности такие системы восстанавливаются для корней **k^weġ-* ‘видеть’, **kēlls-* ‘учить’ и **uelh₁-* ‘желать’ [Kümmel 1998].

Наша ситуация с корнем **perh₃-* (аорист **perh₃-t*, презенс *pr-ne-h₃-ti*, второй презенс **pērh₃-ti*) наиболее близка к той, что мы находим у корня *leuH-* ‘отпускать, посылать’: корневой аорист в др.-греч. λύτο, лат. *lūi*, тох. В *lyuwa*, А *lyu*, презенс с инфиксом в вед.

⁴² Для наших целей нерелевантно, является ли конечное *-r* в *doˈcer* палатализованным или нет, поскольку в случае *roˈir* выявить палатализацию невозможно (форма *ranirusa* LU 83^a представляет собой сигматический претерит и не является аргументом против палатализации /r/). В случае *doˈcer* возможны два подхода, выбор между которыми зависит от того, принимается ли закон Джозефа (согласно которому последовательность **eRa* дает кельтское **aRa*, как в *talam* ‘earth’ < **telh₂-mō(n)* [Joseph 1982]): исходя из действия закона Джозефа следует ожидать **kerat* > *ˈcar*, и в этом случае следует объяснять *doˈcer* из перестроенной по аналогии формы **kereti*, реконструкция которой дополнительно подкрепляется засвидетельствованными написаниями с палатализованным *r* [Schrijver 1995: 88–89]; в противном случае можно отнестись к закону Джозефа со скепсисом и оперировать атематическим (*do*)*ˈcer*, опираясь на написания, подобные Ml 34^c14 *anna torchar* и Apecd. ii 60.12 *do rochar* (так поступает [Schumacher 2004: 400], вовсе не упоминая закон Джозефа).

Любопытно отметить, что др.-ирл. *ˈce(i)r* имеет значение ‘упал’ (intr.), в отличие от ведийского соответствия *aśarū* ‘сломал’: как мне указывает М. Петерс, можно попытаться объяснить *ˈce(i)r* (с палатализацией) исходя из меди **kerh₂-e* (ср. вед. *śáye*); полная ступень аблаута в меди заставляет думать о «нартеновом» типе.

⁴³ См. [Николаев 2005: 73, прим. 30], где даны возможные примеры и ссылки на литературу.

⁴⁴ Для некоторых ученых эти примеры (насчитывающие около дюжины или, возможно, чуть больше) дают возможность строить предположения о происхождении «нартенового» типа как способа образования бессуффиксального презенса от корня с аористным, телическим значением [Kümmel 1998]. Согласно альтернативной теории, «нартеновость» – это характеристика корня, и «долготный» аблаут проявляется и в имени, и в глаголе [Schindler 1994: 398–400].

(Вг.+) *lunāti* (также *lunoti*) и тох. *A lunāmās* (с инновационным вокализмом *-*lu-* в корне), но также «нартенов» презенс в тох. В *lyewetdr* 'посылает' (**l'ewe-* < **lēuH-e-*)⁴⁵.

Приложение I: *ro'ir* и «презенсы Штрукка»

В заключение отметим, что реконструкция «нартенова» презенса **pērh₃-ti* открывает интересную возможность для исследования подкласса инфигированных презенсов, реконструированного для праязыка К. Штрукком⁴⁶: речь идет о типе **CéR-n-C-ti*, Pl. **C R_o-n-C-énti*, существовавшем в праязыке наряду с более обычным **C(R)R_o-né-C-ti*, Pl. **C(R)R_o-n-C-énti*. Приведем несколько примеров: лат. *sternit*, др.-ирл. *sernaid* < **ster-n-h₃-t* (корневой аорист *astaris* AV); лат. *spernit* < **sp^(h)er-n-H_x-t* (корневой аорист *spharis* RV)⁴⁷. Такие презенсы с инфиксом и полной степенью аблаута в корне иногда восстанавливаются для праязыка на основании целого ряда традиций, ср. от корня **pelh₂-*: лат. *pellō*, н.-умбр. *ampendu*, др.-ирл. *ad'ella* 'навещает', арм. *elanem*, мл.-ав. *parənti*⁴⁸. Не последнюю роль в этой реконструкции играет древнеирландский⁴⁹, где классы В III⁵⁰ и В IV⁵¹ имеют полную степень аблаута в корне ([McCone 1991]: *passim*).

Следует заметить, что все примеры, рассматриваемые Штрукком и другими авторами, можно считать результатом аналогии к корневому аористу типа **CeRH-t* или тематическому презенсу типа **CeRH-elo-* от того же корня. Примеры подобной аналогии найти нетрудно, ср. ион.-атт. *βούλομαι* < **g^wolnelo-* (западные диалекты продолжают **g^welnelo-*), где полная степень аблаута обязана своим существованием тематическому презенсу **g^wole-toi* (зап.-ион., гомер. *βόλομαι* памф. *βόλεμενυς*) < **g^welo-toi*⁵², или новый презенс *κεράννυμι* вместо *κίρνυμι*, очевидно, по аналогии к *ἐκέρασσα*.

Но если принимать реконструкцию Штрукка для праязыка, можно вспомнить, что он сам называл этот тип «акродинамическим», и тем самым появление (единственного пока что) примера на сосуществование «нартенова» (т.е. «акродинамического») презенса

⁴⁵ Неясно, впрочем, представляют ли собой др.-греч. *λύω*, лат. *luō* формы типа *tudāti* (презентная тематическая основа с нулевой степенью аблаута в корне) или презенс с суффиксом **-je/o-*.

⁴⁶ См., например [Strunk 1973; 1979; 1984; 1985]. Я выражаю свою глубокую признательность А.В. Шацкову, ознакомившему меня с концепцией Штрукка и своими наблюдениями по данному вопросу, которые и дали мне стимул к соображению, предлагаемому ниже.

⁴⁷ Для итальянских языков см. [Rix 1995: 402]; на лит. *auni* от *aūti* 'обувать' и *gāuni* от *gāuti* 'получать' (общебалтийский тематизированный *-*nā-* презенс, см. [Stang 1942: 139]) указывает [Klingenschmitt 1982: 175]; тох. В *śānmāsk-* 'связывать' возводит к «типу Штрукка» К.Т. Шмидт, см. [Schmidt 1993] (к идее Шмидта со скепсисом отнеслись некоторые тохаристы, см. [Winter 1997: 183]).

⁴⁸ Нē 15 mss.: *parənti* (TD), *parənti* (HJ); emend.: **pəṛənti* [Kotwal-Kreyenbroek 1992], *parənti* или **parənti* [Humbach-Elfenbein 1990].

⁴⁹ Но не бриттский, ср. др.-ирл. *sern* 'расстилат' vs. валл. (субст.) *sarn* или др.-ирл. *cella* 'обходит' vs. валл. *pall-u* 'заканчивается'; см. [Schulze-Thulin 2001: 95 et passim].

⁵⁰ Вокализм глаголов класса В III *as-boind*, *bong(a)id*, *rond(a)id*, *fo-loing* и *as-toing* представляет собой старую проблему. Мы принимаем точку зрения Маккоуна, который возводит эти глаголы к «типу Штрукка»: **b^heu-n-ĝ* -> **b^hou-n-ĝ* -> **bō-n-g* -> **bo-n-g* (закон Остгоффа) [McCone 1991: 46]. Модифицированное умлаутное правило Педерсена-Кортландта, согласно которому /u/ переходит в /o/ перед /e/ в следующем слого, если согласный между ними непалатализован (u > o/_Ce(C_zC_z)) [Pedersen 1909: 35, 41; Kortlandt 1979: 46-47; Schrijver 1995: 50]), сомнительно в первую очередь из-за претерита (')*luid* 'ушел': перед нами и.-е. тематический аорист, восходящий к **lud^h-e/o-* (др.-греч. *ἤλυθον*, тох. В *lac*, др.-инд. *áruhat*), а по правилу Педерсена-Кортландта **ludet* могло дать лишь *†loid* [McCone 1996: 114-115]. Не являются аргументом в пользу u > o/_Ce(C_zC_z) ни Nom. Pl. *coin* (возможна праформа **k^wuones* = др.-инд. *śvānah*; см. [Joseph 1990]), ни прилагательное *sonairt* 'сильный', поскольку приставка *so-* известна для древнеирландского (например, *so-chor* 'хороший договор' [GOI 1946: 231]).

⁵¹ Ср. помимо разбираемого *ern* также *sern* (лат. *sternere*), *ella* (лат. *pellere*), *cella* (др.-греч. *περιτέλλομαι*).

⁵² См. [Peters 1987].

**pērh₃-ti* (к имперфекту которого мы возвели (*ro*)*ír*) и назального презенса **per-n-h₃-ti*, давшего др.-ирл. *ern*, более чем знаменательно. Однако это последнее соображение является не более чем спекуляцией, и наличие деривационных отношений между «презенсами Штрунка» и «нартеновым» типом требует дальнейших разысканий.

Приложение II: этимология галл. *ieuru/εἰωρου*

Сближение с корнем **perh₃-*, популярное в литературе последнего времени, безусловно, не является единственной возможностью; на ряд сложностей, связанных с этой этимологией, было указано выше. Помимо собственно этимологии основной проблемой для всех попыток объяснить *ieuru/εἰωρου* остается, прежде всего, окончание *-u*⁵³.

Кроме сравнения с перфектом от корня **perh₃-* (фалиск. *pe:parai* и др.), для этой формы предлагались и другие этимологии; перечислим некоторые из них: Дж. Уотму предлагает корень **uer-* ‘делать’, не подкрепленный, впрочем, свидетельствами других традиций [Whatmough 1949: 10]. Л. Грэй ищет связи с известным корнем **uerh₁-* ‘говорить’ [Gray 1953–1954: 64]; отметим, что др.-греч. εἴρηκα (**uerh₁-*) в принципе не противоречит реконструкции сильной основы перфекта **ueuroh₁-*, которая с приставкой **h₁pi* могла бы дать *ieuru* при (сомнительном, в сущности) условии диссимилятивного выпадения первого /u/: **h₁pi-ueuroh₁-e* > **phi-(u)eurō* > *ieuru*; однако неясно, можно ли объяснить таким образом *εἰωρου*.

Наиболее интересной возможностью кажется корень **H₁ieh₁-* ‘посылать’ (хетт. (*i*)*ezzi*, лат. *iaciō*, др.-греч. ἵημι); этот корень сопоставил с *ieuru* Г. Вагнер [Wagner 1962]. При этом анализе /t/ уже не может быть частью корня, и поэтому Вагнер предлагает считать *-tu* рефлексом перфектного окончания **-ro* с фонетическим развитием **-o^h* > *-u*. Однако это маловероятно: в индоевропейском **-ro* – окончание третьего лица множественного числа (вед. 3 Pl. impf. ind. act. *ádūhra[n]*, *ásēra[n]*, тох. В *stare* ‘они суть’ < **sth₂-ro*, см. [Jasanoff 2003: 51–52]⁵⁴ и галл. *CARNITU*) едва ли демонстрирует фонетическое развитие *-tu* из **-to*.

В данном пункте вопрос о корневой этимологии неразрывно связан с вопросом об окончании *-u*: как показала Н.А. О’Шей [О’Шей 2005] в своем в высшей степени полезном обзоре претеритных форм континентальных кельтских языков, *CARNITU*, *καρνιτου* и прочие формы галльского слабого претерита на *-it-* вряд ли можно рассматривать в отрыве от лепонт. *TETU*. Тем самым мы вправе предположить вместе с О’Шей, что окончание *-u* было выделено из перфектных форм от корней типа **C(R)eH-* (*TETU* < **dedoh₃-e*) и получило самостоятельное употребление в качестве претеритной флексии; на наш взгляд, именно это направление исследования может стать продуктивным⁵⁵. Другие подходы менее привлекательны: сравнение с перфектным окончанием в вед. *jajñāu* и лат. (*g*)*nōu[ī]* (Дж. Уотму, П.-И. Ламбер, К.Х. Шмидт) едва ли верно – навряд ли разумно отрывать др.-инд. *-au* от стандартного и.-с. окончания 3 Sg. perf. **-e* и сопоставлять с ним взамен загадочную галльскую флексию⁵⁶. Хотя и возможна, но по существу недоказуема другая идея, высказанная Н.А. О’Шей, о том,

⁵³ Ввиду полной неясности и филологической ненадежности форм *ieuru* и *εἰωρου* их можно исключить из рассмотрения.

⁵⁴ В принципе, конечно, можно было бы думать о переинтерпретации формы 3 Pl. как 3 Sg., ср. классический случай в гом. 3 Sg. impf. ind. act. ἦεν (= 3 Pl. дор. ἦν, др.-инд. *āsan*).

⁵⁵ Родство с лат. *iaciō* предлагает и Г. Айзек [Isaac 1997]; его краткая запись «a deponent *-r* + a perfect *u*» малоудовлетворительна, но не исключено, что и он имеет в виду под «perfect *u*» распространение морфемы *-u* от случаев типа *TETU*.

⁵⁶ См. выше примеч. 30 объяснение для этого окончания, предлагаемое Джэзновым.

что *-u* является результатом перегласовки окончания *-e*⁵⁷, вызванной дифтонгом на *-u* в предыдущем слове⁵⁸.

Итак, на наш взгляд, наиболее привлекательна идея о происхождении окончания *-u* из форм 3 Sg. перфекта от глаголов *ultima laryngalis* типа **C(R)eC(R)oH-e*, обоснованная О'Шей⁵⁹; распространение этого окончания на формы слабого претерита дает основания предполагать, что и в нашем случае окончание *-u* могло появиться по аналогии с другими формами.

Возвращаясь к идее о родстве *ieuru* с корнем **H_xjeh₁-*, высказанной Вагнером и Айзеком, можно предположить достаточно смелую гипотезу, что перед нами рефлекс формы транзитивного медиального перфекта от этого корня: **[(h₁)pi]-(H_x)je-(H_x)ih₁-or* 'послал' (≈ др.-греч. perf. med. εἶτα < **H_xje-(H_x)ih₁-toi*) с тем же окончанием **-or*, что мы находим в древнеирландских депонентных бессуффиксальных претеритах типа *do'ménair*⁶⁰, многие из которых имеют переходное значение. Тип редупликации в реконструируемом **[(H_x)je-(H_x)ih₁-or]* тот же, что и в др.-инд. 3 Sg. perf. med. *pape* от *pā-* 'пить' или *dade* от *dā-* 'давать'⁶¹.

Итак, кельтским рефлексом праформы **(h₁)pi-(H_x)je-(H_x)ih₁-or*⁶² будет **ijeior*, и в форме с тройным зиянием **u/-e. or* гласные *e* и *o* формируют нисходящий дифтонг /eɔ/ (как предлагает Шумахер *loc. cit.*), результатом чего становится **ieur*; что касается εἶωρ-, то и тут анализ Шумахера и О'Шей, скорее всего, верен в своей внутрикельтской части: **(H_x)je-(H_x)ih₁-or* без приставки даст **jeior > *eor*.

⁵⁷ Если мысль О'Шей понята нами верно, она имеет в виду именно древнюю перфектную флексию **-e*, которая, также как и *-u*, распространилась на формы, где она не являлась закономерным (галл. *δέδε*); однако древность окончания *-e* подтверждается тем фактом, что его также усвоили формы слабого претерита лепонт. *KARITE, KALITE*.

⁵⁸ [О'Шей 2005: 36; 2006: 68]; Н. А. О'Шей исходит из праформы **peporh₃-*.

⁵⁹ К. Трамбле [Tremblay 1995: 163] предлагает иную трактовку лепонт. *TETU*/галл. *δέδε*, возводя эти формы к корню **dheh₁-* 'класть, ставить'; эта этимология позволяет ему поставить вопрос, не восходит ли галл. *δέδε* непосредственно к **d^heh₁-d^hh₁-e* или даже **d^heh₁-d^hoh₁-e* (переход **-oh₁e > *-ē* Трамбле подкрепляет при помощи предложенного им же развития перфектов от корней с исходом на **-h₁* в древнеирландском, например, претерит от през. *ar-a'chrin i. defetiscitur*: 3 Sg. **kekroh₁-e > *kexrāe > -cúir*). Если этот анализ верен, для окончания *-u* в лепонтском и галльских слабых претеритах приходится искать иное объяснение, нежели чем выделение из перфектов от корней типа **C(R)eH*, что, впрочем, не повлияло бы на предлагаемое ниже в тексте статьи рассуждение, так как самый факт наличия этого окончания в континентальных кельтских языках под вопрос не ставится. Здесь следует, впрочем, отметить, что возведение *TETU*/δέδε к **dheh₁-*, а не **deh₃-* 'давать' Трамбле оправдывает тем, что последний корень в кельтских языках якобы не представлен, что странно ввиду наличия в древнеирландском как *do'rata* (супплетивный претерито-презенс к глаголу *do'beir* 'дает' [DIL 1946: 203–204]; основа **tu-ro-ad-dā-*), так и *íadaid, íada* 'закрывает' [DIL 1946: 13–15]; основа **ē-dā-*). Также едва ли верно и как минимум не обязательно его соображение о слиянии **-oh₁e > *-ē*, потому что палатализация в 3 Sg. легко объяснима по аналогии с другими бессуффиксальными претеритами, восходящими к и.-е. перфектам от корней с исходом на согласный: 3 Sg. **(s)ke-konge > cechaing*, **g^{wh}e-g^{wh}on-e* (= вед. *jaghāna*) *> geguin* и т. д.

⁶⁰ *do'ménair* < **me-mn-or* ≈ мл.-ав. *tamne* < **me-mn-oi* (палатализация в третьем лице по аналогии к формам актива); см. [Jasanoff 2003: 44–45] (иная диахроническая трактовка др.-ирл. *-air* у Каугилла и Шумахера: **-re*). В конце концов то же окончание **-or* мы видим в др.-ирл. пассивных формах презенса классов В I (*'berar*) и В IV (*'benar*).

⁶¹ Ларингал в форме с редупликацией выпадает, ср. др.-инд. 3 Sg. Perf. Med. *°yaye* (RV+) от *yā-* 'ехать, стремиться' < **h₁jeh₂-*, ср. также падение ларингалов в ведийских интенсивах. Можно привлечь к анализу и правило АНІНА > АІНА, предложенное Й. Шиндлером (см. реферат в кн. [Jasanoff 2003: 102–103]), ср. формы і-презенса от корня **d^heh₁-* 'сосать' (лтш. *dēju*, др.-верх.-нем. *tāen*, др.-шв. *dīa*, наконец, др.-инд. *dhāyati* с необъяснимым кратким а): в 1 Sg. **d^heh₁-i-h₂e(i)* после действия этого правила появилась основа **d^he-i-e-* > **dhaja-*. Таким же образом можно трактовать **(H_x)je-H_xih₁-or > *(H_x)je-ih₁-or > *je-i-or* (не **jē-i-or > пракельт. *jī-i-or*).

⁶² Ср. хетт. *pi-yezzi* и др.-греч. εφίησι 'посылает' с той же приставкой – впрочем, не исключено, что реконструкция приставки будет и вовсе лишней, если начальное *i-* в *ieuru* может продолжаться *j* < **(H_x)j-*.

Нерешенным пока что остается вопрос о появлении окончания *-u/-ou* в данной форме; возможно следующее решение: не вполне прозрачная медиальная форма **eor* со значением 'послал' была «активизирована» с помощью набора претеритальных окончаний 3 Sg. *-u* и 3 Pl. *-us*, распространенного, как мы уже видели, в претеритальной системе галльских диалектов. Типологически «активизация» исторически медиальной формы с помощью активных окончаний находит параллель в латинском окончании перфекта 3 Sg. *-it* < **-īt* (*ēmīt* Pl. *Cap.* 34) < **-ejt* (POSEDEIT *CIL* 584, 28) из **-ej* + *-t*, см. [Meiser 1998: 217]; очевидно, тот же процесс привел к появлению венет. *atisteit* [Lejeune 1974: Nr. 75, Este]. Возможно также (хотя этот вопрос более сложен), что сходную «активизацию» мы находим в III классе слабых глаголов в германских языках: гот. 3 Sg. *hangaiþ*, 3 Pl. *-and* 'висит/-ят' < **hangai* + *þ* (ср. хетт. *gangattari*), см. [Jasanoff 2003: 72–73]⁶³.

Итак, медиальная и переходная форма **[i]eor* 'послал' была преобразована в **[i]eori* путем добавления продуктивного претеритального окончания *-u*, очевидно, выделенного в качестве такового из рефлекса и.-е. **dedoh₃-e*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Николаева 2003 – Н.А. Николаева. Аномальные формы др.-ирл. бессуфиксального претерита: др.-ирл. *fiu* и другие // А.И. Фалилиев, С.В. Иванов (ред.). Язык и культура кельтов: материалы IX коллоквиума. СПб., 2003.
- Николаев 2005 – А.С. Николаев. Тох. А *śamantār* и индоевропейские претериты с продленной ступенью аблаута в корне // ВЯ. 2005. № 5.
- О'Шей 2005 – Н.А. О'Шей. Галльские и лепонтийские формы претерита: традиции, инновации и вопрос диалектного распределения // ВЯ. 2005. № 6.
- О'Шей 2006 – Н.А. О'Шей. Галльское *ieugu* – проблема этимологии // Лингвистическая компаративистика в культурном и историческом аспекте (V международная научная конференция по сравнительно-историческому языкознанию, Москва, 31 января – 3 февраля 2006 г.). М., 2006.
- Beckwith 1994–1995 – М. Beckwith. Greek *ἤυρον*, Laryngeal loss and the Greek reduplicated aorist // *Glotta*. Bd. 72. 1994–1995.
- Cowgill 1957 – W.C. Cowgill. The Indo-European long vowel preterits. PhD. Diss. Yale University, 1957.
- Delamarre 2003 – X. Delamarre. Dictionnaire de la langue gauloise. Une approche linguistique du vieux-celtique continental. 2^e ed. Paris, 2003.
- DIL 1983 – *Dictionary of the Irish language based mainly on old and middle Irish materials*. Dublin, 1983.
- Floyd 1971 – E.D. Floyd. Πάτερειν // *American journal of philology*. V. 92. 1971.
- Fortson 2006 – B.W. Fortson. A Latin miscellany // 25 East Coast Indo-European conference. University of Ohio, 2006.
- GOI 1946 – R. Thurneysen. A Grammar of Old Irish. Dublin, 1946.
- Gray 1953–1954 – L.H. Gray. Notules étymologiques sur des inscriptions gauloises // *Études celtiques*. V. 6. 1953–1954.
- Hardarson 1993 – J.A. Hardarson. Studien zum urindogermanischen Wurzelaorist und dessen Vertretung im Indoiranischen und Griechischen. Innsbruck, 1993.
- Henry 1995 – P.L. Henry. *Amra Con Roí*. Discussion, edition, translation // *Études celtiques*. V. 31. 1995.
- Hilmarsson 1996 – J. Hilmarsson. Materials for a Tocharian historical and etymological dictionary / Ed. by A. Lubotsky, G. Þórhallsdóttir. Reykjavík, 1996.
- Humbach, Elfenbein 1990 – H. Humbach, J. Elfenbein. *Ērbedestaēn*. An Avesta-Pahlavi text/Ed. and transl. by H. Humbach in cooperation with J. Elfenbein. München, 1990.
- Isaac 1997 – G. Isaac. Two continental Celtic verbs // *Studia Celtica*. V. 31. 1997.
- Jasanoff 1988a – J.H. Jasanoff. The sigmatic aorist in Tocharian and Indo-European // *Tocharian and Indo-European Studies*. V. 2. 1988.
- Jasanoff 1988b – J.H. Jasanoff. PIE **ǵnē-* 'recognize, know' // A. Bammesberger (Hrsg.). *Die Laryngaltheorie und die Rekonstruktion des indogermanischen Laut- und Formensystems*. Heidelberg, 1988.
- Jasanoff 2002 – J.H. Jasanoff. The Vedic imperatives *yódhi* 'fight' and *bodhi* 'heed' // *Journal of American Oriental society*. V. 122. Fasc. 2. 2002.
- Jasanoff 2003 – J.H. Jasanoff. *Hittite and the Indo-European verb*. Oxford, 2003.

⁶³ Иное объяснение в работе [Peters 1999: 310, примеч. 44 (**-oh₁je/o-*)].

- Jasanoff 2005 – J.H. Jasanoff. Aorists from Imperfects // Report of the Cambridge University. 2005.
- Joseph 1982 – L.S. Joseph. The treatment of *CRH and the origin of CaRa- in Celtic // Ériu. V. 33. 1982.
- Joseph 1990 – L.S. Joseph. Old Irish cú: A naïve reinterpretation // A.T.E. Matonis, D.F. Melia (eds.). Celtic language, Celtic culture: A Festschrift for Eric P. Hamp. California, 1990.
- Klingenschmitt 1982 – G. Klingenschmitt. Das altarmenische Verbum. Wiesbaden, 1982.
- Kortlandt 1979 – F. Kortlandt. The Old Irish absolute and conjunct endings and questions of relative chronology. Ériu. V. 30. 1979.
- Kortlandt 1997 – F. Kortlandt. Thematic and athematic verb forms in Old Irish // A. Lubotsky (ed.). Sound law and analogy: Papers in honor of Robert S. P. Beekes on the occasion of his 60-th birthday. Amsterdam; Atlanta, 1997.
- Kotwal, Kreyenbroek 1992 – The Hērbedestān and Nērangestān. V. I: Hērbedestān / Ed. and transl. by F.M. Kotwal and Ph.G. Kreyenbroek with contributions by J.B. Russell. Paris, 1992.
- Kuiper 1938 – F.B.J. Kuiper. Indo-Iranica 10. Vedisch *pūrdhī, pṛñāti* 'geben' // Acta Orientalia. Bd. 16. 1938.
- Kümmel 1998 – M.J. Kümmel. Wurzelpräsens neben Wurzelaorist im Indogermanischen // Historische Sprachforschung. Bd. 111/2. 1998.
- Kümmel 2000 – M.J. Kümmel. Das Perfekt im Indoiranischen. Eine Untersuchung der Form und Funktion einer ererbten Kategorie des Verbums in den altindoiranischen Sprachen. Wiesbaden, 2000.
- Lambert 1979 – P.-Y. Lambert. Gaulois IEVRV: irlandais (ro)-*ír* 'dicaut' // Zeitschrift für celtische Philologie. Bd. 37. 1979.
- Lambert 1996 – P.-Y. Lambert. Notes gauloises. (1. βρατουδεκαντεμ; 2. Larzac *barnaunom*: actif ou passif?; 3. L'étymologie de ετωρου/*ieuru*; 4. Chamalières *secouitoncnaman*) // W. Meid, P. Anreiter (Hrsg.). Die größeren altkeltischen Sprachdenkmäler: Akten des Kolloquiums Innsbruck, 29. April – 3. Mai 1993. Innsbruck, 1996.
- Lejeune 1968 – M. Lejeune. Inscriptions lapidaires de Narbonnaise // Études celtiques. V. 12. 1968.
- Lejeune 1974 – M. Lejeune. Manuel de la langue vénète. Heidelberg, 1974.
- Lejeune 1980 – M. Lejeune. Le dossier gaulois *ieuru* // Recherches de linguistique: Hommages à Maurice Leroy. Bruxelles, 1980.
- Lejeune 1994 – M. Lejeune. Notes d'étymologie gauloise // Études celtiques. V. 30. 1994.
- Lindeman 1991–1992 – F.O. Lindeman. Gaulish *ieuru* and Old Irish *-ír* // Studia celtica. V. 26/27. 1991–1992.
- Mathiassen 1974 – T. Mathiassen. Studien zum slavischen und indoeuropäischen Langvokalismus. Oslo, 1974.
- Matzinger 2005 – J. Matzinger. Untersuchungen zum altarmenischen Nomen: Die Flexion des Substantivs. Dettelbach, 2005.
- McCone 1985 – K. McCone. OIr. *Olc, Luch* and IE **ul̥kʷos, *lukʷs* // Ériu. V. 36. 1985.
- McCone 1986 – K. McCone. Early Irish verb. Maynooth, 1986.
- McCone 1991 – K. McCone. The Indo-European origins of the Old Irish nasal presents, subjunctives and futures. Innsbruck, 1991.
- McCone 1994 – K. McCone. An tSean-Ghaeilge agus a Réamhstair // K. McCone, D. McManus, C. Ó Háinle, N. Williams, L. Breatnach (eds.). Stair na Gaeilge in ómós do Pádraig Ó Fiannachta. Maigh Nuad, 1994.
- McCone 1996 – K. McCone. Towards a relative chronology of ancient and medieval Celtic sound change. Maynooth, 1996.
- McCone 1997 – K. McCone. The early Irish verb. Revised second edition with index verborum. Maynooth, 1997.
- McCone 1998 – K. McCone. «Double nasal» presents in Celtic, and Old Irish *léicid* 'leaves' // Mír Curad: Studies in Honor of Calvert Watkins/J. Jasanoff, H.C. Melchert, L. Oliver (eds.). Innsbruck, 1998.
- Meid 1995 – W. Meid. Das Verbum im Keltiberischen // P.-A. Mumm, N. Oettinger (Hrsg.). Verba et structurae: Festschrift für Klaus Strunk zum 65. Geburtstag. Innsbruck, 1995.
- Meiser 2003 – G. Meiser. *Veni, vidi, vici*: Die Vorgeschichte des lateinischen Perfektsystems. München, 2003.
- Meissner 2006 – T. Meissner. S-stem nouns and adjectives in Greek and Proto-Indo-European: A diachronic study in word formation. Oxford, 2006.
- Melchert 1994 – H.C. Melchert. Anatolian historical phonology. Amsterdam; Atlanta, 1994.
- Oldenberg 1885 – H. Oldenberg. Ākhyāna-Hymnen im Ṛgveda // Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Bd. 39. 1885.
- Pedersen 1909–1913 – H. Pedersen. Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen. Bd. I–II. Heidelberg, 1909–1913.

- Peters 1980 – *M. Peters*. Untersuchungen zur Vertretung der indogermanischen Laryngale im Griechischen. Wien, 1980.
- Peters 1987 – *M. Peters*. – Die Sprache. Bd. 33, 2. 1987 – Rec.: *Y. Duhoux*. Les éléments grecs non doriens du crétois et la situation dialectale grecque au II millénaire.
- Peters 1988–1990 – *M. Peters*. – Die Sprache. Bd. 34, 2. 1988–1990 – Rec.: *K. McCone*. The Indo-European origins of the old Irish nasal presents, subjunctives and futures.
- Pokorny 1959 – *J. Pokorny*. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.
- Rieken 2003 – *E. Rieken*. Hieroglyphen-luwisch *zí + ra/i-la-mi-i* («SCALPRUM. ARGENTUM») *su-ha-pa-na-ti*: ein Kompositum und eine neue luwisch-lateinische Isoglosse // Historische Sprachforschung. Bd. 116/1. 2003.
- Rix 2003 – *H. Rix*. The Latin imperfect in *-bā-*, the Proto-Indo-European root **b^hueH₂-* and full grade I forms from set-roots with full grade II // B.L.M. Bauer, G.-J. Pinault (eds.). Language in time and Space: A Festschrift for Werner Winter on the occasion of his 80-th Birthday. Berlin; New York, 2003.
- Schindler 1970 – *J. Schindler* – *Kratylos*. Bd. 15. 1970 – Rec.: *R. Anttila*. Proto-Indo-European Schwebeablaut. Berkeley; Los Angeles, 1969.
- Schindler 1994 – *J. Schindler*. Alte und neue Fragen zum indogermanischen Nomen // J.E. Rasmussen (Hrsg.). Honorem Holger Pedersen. Wiesbaden, 1994.
- Schmidt 1986 – *K.H. Schmidt*. Zur Rekonstruktion des Keltischen. Festlandkeltisches und inselkeltisches Verbum // Zeitschrift für celtische Philologie. Bd. 41. 1986.
- Schmidt 1993 – *K.T. Schmidt*. Ex oriente lux // H. Hettrich, W. Hock, P.-A. Mumm, N. Oettinger (Hrsg.). Verba et structurae: Festschrift für Klaus Strunk zum 65. Geburtstag. Innsbruck, 1993.
- Schrijver 1995 – *P. Schrijver*. Studies in British Celtic historical phonology. Amsterdam; Atlanta, 1995.
- Schulze 1911 – *W. Schulze*. Über den Zusammenhang der indogermanischen Präsensbildung mit der nominalen Stammbildung // BSB. Jg. 1911.
- Schulze-Thulin 2001 – *B. Schulze-Thulin*. Studien zu den urindogermanischen o-stufigen Kausativa, Iterativa und Nasalpräsentien im Kymrischen. Innsbruck, 2001.
- Schumacher 2004 – *S. Schumacher*. Die keltischen Primärverben. Ein vergleichendes, etymologisches und morphologisches Lexikon. Unter Mitarbeit von B. Schulze-Thulin und C. van de Wiel. Innsbruck, 2004.
- Stang 1942 – *Chr. S. Stang*. Das slavische und baltische Verbum. Oslo, 1942.
- Strunk 1973 – *K. Strunk*. Methodisches und Sachliches zu den idg. Nasalpräsentien // IF. Bd. 78. 1973.
- Strunk 1979 – *K. Strunk*. Anhaltspunkte für ursprüngliche Wurzelabstufung bei der indogermanischer Nasalpräsentien // *Incontri linguistici*. V. 5. 1979.
- Strunk 1984 – *K. Strunk*. Reflexions sur l'infixe nasal // J. Taillardat, G. Lazard, G. Serbat (éds.). Benveniste aujourd'hui II. Paris, 1984.
- Strunk 1985 – *K. Strunk*. Zum Verhältnis zwischen gr. *πτόρνυμα* und lat. *sternuo* // Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. Bd. 46. 1985.
- Stüber 1998 – *K. Stüber*. The historical morphology of *n*-stems in Celtic. Maynooth, 1998.
- Thurneysen 1927 – *R. Thurneysen*. Allerlei keltisches 4. Air. *ernaid* 'er gewährt' // Zeitschrift für celtische Philologie. Bd. 16. 1927.
- Tremblay 1995 – *X. Tremblay*. Études sur le verbe vieil-irlandais. I. La classe B V de Thurneysen. II. *Ro-laë* et les parfaits de bases *ultima laryngalis* // Études celtiques. V. 31. 1995.
- Villanueva Svensson 2001 – *M. Villanueva Svensson*. Gaulish *ieuri/ετορα* and the 2nd/3rd dual ending of the Indo-European perfect and middle // Historische Sprachforschung. Bd. 114. 2001.
- Wagner 1962 – *H. Wagner*. Gaulish *IEURU* 'fecit' // Ériu. V. 19. 1962.
- Watkins 1962 – *C. Watkins*. Indo-European origins of the Celtic verb. I: The sigmatic aorist. Dublin, 1962.
- Watkins 1969 – *C. Watkins*. Indogermanische Grammatik. Bd. III: Formenlehre. Erster Teil: Geschichte der indogermanischen Verbalflexion. Heidelberg, 1969.
- Weiss 1993 – *M. Weiss*. Studies in Italic nominal morphology. Ph. D. Diss. Cornell, 1993.
- Whatmough 1949 – *J. Whatmough*. Gaulish *tuθθos, auot, ieuru* // Journal of Celtic studies. V. 1. 1949.
- Widmer 1997 – *P. Widmer*. Nartennomen. Ph. D. Diss. Bern, 1997.
- Winter 1997 – *W. Winter*. Lexical archaisms in the Tocharian languages // H.H. Hock (ed.). Historical, Indo-European, and lexicographical studies. A Festschrift for Ladislav Zgusta on the occasion of his 70-th birthday. Berlin; New York, 1997.
- Wodtko 2000 – *D.S. Wodtko*. Wörterbuch der keltiberischen Inschriften. Wiesbaden, 2000.

© 2007 г. М.М. МАКОВСКИЙ

МИФОПОЭТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ

Статья состоит из двух этюдов, в первом из которых на основе данных истории культуры автор предлагает оригинальное решение проблемы происхождения подвижных формативов (преформантов и постформантов) в индоевропейских языках; во втором этюде в рамках древней символики на большом фактическом материале устанавливается ряд новых лексико-этимологических универсалий в индоевропейских языках.

Светлой памяти моих дорогих учителей – профессора Энвера Ахмедовича Макаева, академика Виктора Максимовича Жирмунского и академика Олега Николаевича Трубачева – посвящается

1. О ПОДВИЖНЫХ ФОРМАТИВАХ В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ

Легенда не ошибается, как ошибаются историки, ибо легенда – это очищенная в горниле времени от всего случайного, просветленная художественно до идеи, возведенная в тип сама действительность.

П. Флоренский

Проблема происхождения и функций так называемых подвижных формативов (преформантов и постформантов-детерминативов, в частности, *s-mobile*) в индоевропейском корне уже давно привлекает внимание лингвистов, но до сих пор многое в этом вопросе остается неясным. Что касается преформантов, то в большинстве работ они вообще не выделяются и считаются неотъемлемой частью слова. Один и тот же корень с различными преформантами и с одинаковым значением воспринимают как разные корни (ср., например, в словаре Ю. Покорного [Pokorny 1959]: и.-е. **bh-er-*, **d-er-*, **g-er*, **k-er*, **l-er-*, **p-er-*, **t-er-*, **u-er* «бить, рвать, рассекать»; ср. также лат. *acrima* «слеза», но *l-acrima* «слеза», *d-acrima* «слеза»); ср. постформанты, не меняющие значения корня: и.-е. **steu-d-*, **steu-g-*, **steu-b*. С другой стороны, если корень с одним и тем же начальным элементом имеет различные значения, то речь обычно идет о нескольких различных корнях-омонимах. Ср., однако, и.-е. **el-* > **pel-* «бить»/«гнуть» > **pel-* «наполнять» («вбивать, втискивать») > **pel-* «прятать» («гнуть, сгибать» > «накрывать») > **pel-* «продавать» (сгибание прута как символ сделки). В случае, когда слова с одинаковыми и неодинаковыми преформантами различаются по своему значению, их семантические изменения отражают обычно общие закономерности семантических преобразований (лексико-семантические универсалии) в индоевропейском и никак не связаны с преформантами. То же относится и к так называемым постформантам (детерминативам).

Г. Хирт считал детерминативы дейктическими частицами; другие исследователи утверждали, что индоевропейские детерминативы корня – это своеобразные суффиксы или элементы, возникшие в результате различных фонетических преобразований корня [Siebs 1907; Persson 1891; Clark 1979; Colinet 1892; Edgerton 1958; Hollander 1905;

Mann 1958; Schwartz 1947; Schrijnen 1908a,b; Ehrismann 1890; Туманян 1978; Маковский 2002a; Сукиасян 1984; Мельничук 1986].

Ниже делается попытка рассмотреть индоевропейские преформанты и детерминативы с точки зрения истории культуры.

§ 1. Смысл конечных и начальных элементов древнего слова-символа был многообразным. Языческое понимание Космоса и Логоса, их символика непосредственно отражались в древних магических формулах. В этой связи важно иметь в виду исключительную роль дихотомии, полярности, «двойности» [Silva-Taronca 1955; Watts 1963; Needham 1973] в древнем мышлении (семантические диады), что находило безусловное отражение в строении и в смысле магических формул-слов. Начальные и конечные элементы (соответственно – преформанты и постформанты-детерминативы) магических знаков отражали неразрывную связь таких дихтомий, как «правый – левый», «свой – чужой», «верх – низ», «начало – конец», «внешний – внутренний», «профанное – священное», «мужское – женское», «посюсторонний мир – потусторонний мир», «тело – душа», «хорошее – плохое» (ср. «хорошие» и «плохие» руны в исландском), «небо, огонь, свет, день, жизнь, продолжение рода» – с одной стороны, и «земля, тьма, вода, луна, ночь, смерть, женщина» – с другой (магический Узел).

§ 2. Древнее «слово» – это мистическая криптограмма (или анаграмма), представлявшая в зашифрованном виде определенные верования, ритуалы, обычаи, магические действия язычников и участников этих действий (в частности, магических животных) и заключавшая в себе как элементы молитвы, так и элементы борьбы со злыми силами и проклятия врагов [Монич 2005; Bailey 1912; Campbell 1974; Lurker 1991]. Одинаковые или различные магические знаки, использовавшиеся в качестве начальных или конечных элементов мистических формул, согласно верованиям язычников, содержали в себе, видимо, различные магические смыслы и обладали различной магической силой, магической энергией. Не следует отделять преформанты от постформантов (детерминативов): в ряде случаев преформанты и постформанты в пределах слова связаны между собой, образуют единое целое и могут меняться местами: ср. и.-е. *kes- : *sek- «рассекать»; *lek- : *kel- «рассекать»; *dek- : *ked- «рассекать»; *ker- : *rek- «рвать». В связи с этим исключительную важность приобретает топонимия элементов в древнем слове: в ряде случаев постформант соединяется с преформантом в начале корня (ср. и.-е. *per-, но *pr-ek-; *pr-er-, и.-е. *sek-, но *sk-er-; *sk-el-; *sk-ep-), а постформант в конце корня соединяется с преформантом: ср. *ker-, но *erk-; *bher-, но *erbh-. Кроме того, внутри корня может появиться третий элемент – инфикс [Karstien 1971]: согласно древним верованиям, число «три» символизировало космическую Гармонию, Небо, целостность Мироздания; интересно в связи с этим широко практиковавшееся в древности тройное жертвоприношение [Топоров 1978]. Перемещение элементов внутри древнего слова (магической формулы) использовалось не только в целях табуирования, но и для выражения различных сакральных смыслов, обусловленных удалением букв от центра (священного места) слова (справа или слева от центра), от количества и качества определенных букв и их взаимного расположения в слове (такими смыслами могло быть, например, сакральное Движение или магическое Превращение). В этой связи важно учитывать такие явления, как метатеза, анаграмма, опрощение, редупликация, тмезис, гаплоглогия, парные слова (ср. [ET 1970; Culicover, Watkins 1984; Brandstetter 1917; Gonda 1960; Miller 1977]). Ср. табуирование слов посредством отрицаний *ne-*, *se-*, *ve-*, *le-*, *me-* [Trost 1929].

Буквы и соответствующие им числа в древности имели определенную магическую символику. Поскольку буквы и соответствовавшие им числа были поделены определенным собственным значением и были функционально неравноценны между собой, можно допустить определенную иерархию букв в пределах древней буквенной формулы, хотя из соображений табу одна буква могла заменяться другими. Крайние элементы древней магической формулы могли обозначать распределение или движение качественно и/или количественно неодинаковой магической энергии в замкнутом магическом пространстве (ср. в связи с этим круг, которым окружает себя

колдун во время колдовства); ср.: др.-инд. *varṇa* «буква, магический знак», но латышск. *vara* «сила»; др.-сев. *stæfr* «магический знак, буква», но исл. *tap* «сила», литовск. *tàpti* «превращаться, меняться» (ср., однако, др.-сев. *staufr* «колдовство»; исл. *steipir* «меч»); лат. *codex* «книга, свиток», но и.-е. **kut-* «(божественная) сила»; русск. *буква*, но др.-инд. *bhuj* «heftschen»; латышск. *biurts* «буква», но др.-инд. *brh* «stärken, befestigen», литовск. *biurtai* «колдовство»; др.-русск. *книга* «буква», но исл. *knega* «мочь, быть в состоянии, обладать волшебной силой». При этом крайние элементы магической формулы могли, как уже говорилось, не только меняться местами, но и свободно перемещаться в пределах всей магической формулы, «переключая» «хорошую» энергию в «плохую», а «плохую» в «хорошую».

§ 3. Можно также полагать, что крайние элементы сакральной формулы отображали обряд жертвоприношения: первый из них обозначал бросание жертвы в огонь, принесение жертвы, а второй – вознесение жертвоприношения к Божеству вместе с сакральным огнем [Neff 1980].

§ 4. Вместе с тем важно сделать следующее наблюдение. Преформанты и постформанты в индоевропейском могли представлять собой элементы, возникшие в результате акронимии сакральных буквенных формул (в свое время Порциг возводил ряд детерминативов к глагольным корням: ср. **-dh-* < **dhē-* «класть»; **bh-* < **bhā-* «гореть» или **bhū-* «быть; становиться» [Порциг 1964]). Такая акронимия сакральных буквенных формул обуславливалась соображениями табу. Следует учесть, что все без исключения согласные, выступающие в качестве преформантов или постформантов, в сочетании с последующей или предшествующей гласной, неизменно имеют значение «бить, ударять, рвать»/«гнуть» [Ader 1958]; ср.: и.-е. **bh* < **bhei-* «бить»; **d-, dh-* < *dei-* «бить» (ср. **dei-ko* «schlagen»); **g-, *gh-* < **gēi-* «sich spalten»; **gei-* «biegen»; **k-* < **kau-* «schlagen, hauen»; **l-* < **lei-* «spalten; biegen»; **leu-* «abschneiden, trennen»; *m-* < и.-е. **mai-* «schlagen; schneiden»; **n-* < **neu-* «schlagen, ziehen, biegen»; ср. нем. диал. *neuseln* «schlagen, schneiden»; **p-* < и.-е. **peu-* «schlagen, schneidend hauen», ср. **pē(i)-* «beschädigend»; **r-* < **reu-* «reissen, schneiden»; **s-* < **seu-* «biegen»/«schneiden» > «werfen»; **t-* < **tei-*, **(s)tei-* «schneiden, stechen». Семантическая диада «рассекать; бить»/«гнуть» – одно из наиболее ранних и наиболее важных значений в индоевропейском (ср. ниже с 39). Именно это значение лежит в основе значений «чудо» (ср. арм. *hrašk* «чудо» < и.-е. **per-* «ударять»: тох. В *pariyari* «чудо»; русск. *чудо*, но лат. *culdere* «ударять»), «божественный Разум» (ср. и.-е. **kend-* «рассекать», но ирл. *cond* «разум»); «верх – низ»; «перед – зад»; «свой – чужой», а также значений «превращаться, изменяться»¹ [ср., например, др.-англ. *béatan* «бить», но шведск. *byta* «изменяться»; и.-е. **mai-* «рассекать, ударять, бить»; но и.-е. **mei-* «изменяться» (гот. *in-maidjan*); и.-е. **neu-* «бить, ударять», но валлийск. *newid* «изменяться»], которое в свою очередь связано с божественным созданием Вселенной, с понятиями Света, Жизни и вообще с творением, рождением (ср. и.-е. **lek-* «рассекать» > «свет, светить» > др.-инд. *loka* «вселенная»; греч. κοσ-μοσ «вселенная» < **kes-* «рассекать»: ср. русск. диал. *коза* «костер»; хет. *kiša* «быть»). Семантическая диада «рассекать, бить»/«гнуть» непосредственно связаны с так называемыми «о б р я д а м и п е р е х о д а» (все виды превращений, в частности, беременность от удара, выздоровление от удара, омоложение от удара, наложение чар или снятие чар посредством удара [Геннел 2002; Bianchi 1986]). Можно полагать, что начальные и конечные формативы в индоевропейском слове служили, в частности, в качестве т а л и с м а н а или а м у л е т а. Левый элемент сакрального сочетания знаков мог олицетворять магический Удар, а правый – чудесное превращение, возникшее в результате этого Удара (начало и конец магического действия): считалось, что «злая сила» входит в первый элемент сакрального сочетания мистических знаков и выходит из последнего элемента этого

¹ Значение «изменяться» соотносится также со значением «ящерица», «змея»: ср. англ. *lizard* «ящерица», но шведск. *lisa* «изменяться» + и.-е. **ar-/uar-* «изменяться» (ср., однако, и.-е. **leis-* «отсекать» + и.-е. **ar-* «зад, хвост»: ящерица может отбрасывать хвост).

сочетания [Hansmann, Kriss-Rettenleck 1977]. Как показал В.Н. Топоров [Топоров 1996], понятие «двойности» в языческом сознании² соотносилось с понятием божественного Движения: различались Движение вверх или к Центру (мужское движение) и Движение вниз или от Центра (женское движение). Вместе эти два вида Движения образовывали единство, символизируя Божество-андрогина. Таким образом, начальные и конечные экспоненты древней магической буквенной формулы могли обозначать «двойность» божественного движения и его цикличность. С другой стороны, эти экспоненты могли олицетворять женское (левый элемент) и мужское (правый элемент) начало (андрогин).

§ 5. Вместе с тем использование различных магических («буквенных») знаков в начале и в конце магической формулы, безусловно, отражал древнее верование в многоликость Божества: считалось, что все Сущее в Мироздании – это различные, вечно изменяющиеся лики Божества.

§ 6. Поскольку Удар – фаллический символ, совокупность крайних элементов древнего «слова» могла олицетворять тотема-предка языческого рода [с одной стороны, речь, видимо, идет о бесконечном продолжении рода (от предка-тотема и дальше), а с другой стороны – о сочетании так называемого индивидуального тотема и родового (кланового) тотема]. Ср. в этой связи: тох. *A sotri* «знак», но др.-англ. *serðan* «coire»; русск. *знак*, но и.-е. **gen-* «родить; род»; ирл. *arde* «знак», но осет. *aryn* «родить»; др.-англ. *tācen* «знак», но др.-инд. *tac-*, *toc-*, *tuc-* «родить»; англ. *badge* «знак», но др.-инд. *bhagá-* «vulva».

§ 7. Можно допустить существование определенной «сакральной» парадигмы иерархически неравноценных или взаимодополняющих мистических знаков внутри магической формулы: речь идет об обозначении крайними элементами сакральной формулы различных космических уровней (и буквы, и числа олицетворяли различные космические уровни: верхний, средний и нижний уровень Космоса, понятие третьего или седьмого неба), в связи с чем важно учесть тесную связь буквенных знаков с числами, с древним bestiарием и с понятием так называемой «лестницы в небо» (каждая ступенька этой «лестницы» олицетворяли одно из небес): ср. название церковно-славянской буквы *АЗЪ* и осет. *asin* «лестница» (ср. др.-сев. *ass*, *oss* «божество»); греч. *στοιχείον* «буква» (также «стихия»), но нем. *Stiege* «лестница»; лат. *elementum* «буква» (также «стихия»), но хет. *ila(n)* «лестница»; лат. *littera* «буква», но англ. *ladder* «лестница». Числа, как и сакральные знаки (буквы), имели фаллическую символику, т.е. могли выступать в роли тотемов. Ср. 1) и.-е. **oid(n)os/*aid(n)os* «один», но греч. *αἰδοῖον* «половые органы»; 2) и.-е. *duo-* «два», но тох. *B tso* «männliches Glied» (тохарское слово обычно соотносят с литовск. *tvinsti* «swell up»); ср. также: др.-англ. *tydran* «erzeugen, zeugen»; др.-англ. *tudor* «Kind»; др.-инд. *dumah* «половые органы», [число «два» – символ женщины (ср. исл. *dubba* «женщина») и зла (ср. тох. *B duh* «offense»)]; 3) и.-е. **tres-* «три», но др.-англ. *teors* «männliches Glied»; ирл. *torr* «matrix»; 4) и.-е. **kvetuor-/*ketor-* «четыре», но бретонск. *cydio* «coire» + и.-е. **ar-/*or-* «gebären» (ср. осет. *aryn* «gebären»); 5) и.-е. **penk-* «пять», но хет. *pankur* «семья, род, клан», ср. также: тох. *B peñke* «палка» > «пенис»; кроме того, можно сопоставить тох. *B panāk* «liquid, sperm» или др.-инд. *pihulas* «змея» (символ продолжения рода); 6) и.-е. **seks-*, **sueks*, **ueks-*: ср. и.-е. **seu-ko-* «рожать»; др.-инд. *śingi* «половые органы», ср. также др.-инд. *sāha* «сила»; 7) и.-е. **sep-tm̥* «семь», но др.-инд. *sapa* «männliches Glied» (ср. тох. *A sopi* «Netz») + тох. *A tām* «erzeugen»; 8) и.-е. **ok-tm̥-* «восемь», но греч. *ὄχεύω* «оплодотворять»: ср. др.-инд. *ójas* «сила», др.-инд. *óhas* «Wert», исл. *yki* «чудо» + тох. *A tām* «erzeugen»; 9) и.-е. **neuen-* «девять», но др.-англ. *eo-*

² Интересно отметить, что «двойность» древнего мышления, о которой говорил В.И. Топоров, подтверждается и тем фактом, что согласно языческим верованиям, небо и земля (они могли символизироваться соответственно преформантами и постформантами в слове) некогда были едины, но впоследствии были отделены друг от друга: ср. арм. *erkin* «небо» и арм. *erkir* «земля» < арм. *erku* «два» < и.-е. **duci-/*duciō-* «два».

wend «männliches Glied»; 10) и.-е. *dek̥m̥- «десять» < и.-е. *dek-, *tek- «zeugen, erzeugen» + др.-англ. *hāetan* «coire».

§ 8. Необходимо, наконец, иметь в виду исключительную важность понятия Г р а н и ц ы в древнем сознании: Граница приравнивалась к Божеству, считалась священной, ей приносились жертвы [Durand 1980]. Начальные и конечные элементы слова в древности могли восприниматься как священные Границы священного пространства, в качестве которого выступал магический буквенный знак.

Следует, наконец, учесть, что крайние экспоненты и.-е. корня могли выступать как табуирующие элементы по отношению к срединным гласным, которые символизировали Божество [Маковский 1968; Domseiff 1925].

2. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛИИ В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ

Нет бытия без сравнения, ибо само бытие есть сравнение.

О. Мандельштам

В каждой науке столько истины, сколько математики.

И. Кант

Мышление древних индоевропейцев оперировало тотемическими образами, мифологическими символами, табуирующими метафорами, в большой мере соотносимыми с применявшимися в культе масками. В связи с полярным делением Бытия, типичным для мифологического мышления, в языке широко использовались энантиосемические диады, среди которых наиболее важной и определяющей следует признать диаду «бить, резать, рвать»/«гнуть», непосредственно соотносимую с так называемым Основным Миром, согласно которому Мироздание первоначально представляло собой Хаос, олицетворявший Зло; Божество, появившееся из Пустоты, разорвало Хаос и соединило все разрушенное, создав космическую Гармонию, Порядок. Именно эта семантическая диада, как показывают специальные исследования [Blacker, Loewe 1975], легла в основу большинства древних табуирующих метафор-оберегов (в качестве орудия Удара мог выступать и звук) и в процессе развития индоевропейских языков явилась отправной точкой для образования индоевропейской семантической системы («мертвые» метафоры) [Zischka 1977; Маковский 1996; Mallory, Adams 2006; ER 1993; Голосовкер 1987].

Обратимся к фактическому материалу.

§ 1. Значение «бить, тереть» непосредственно соотносится со значением «огонь» (трение двух дощечек друг о друга для добывания огня), которое в свою очередь символически связано со значением «змея» и «рыба» (змея и рыба как язык пламени), а также и со значением «насекомые» и со значением «корова» (огненные символы Божества): ср. и.-е. *kau- «бить, тереть», но и.-е. *keu- «гореть, светить», откуда латышск. *ču-ska* «змея» и англ. *cow*, нем. *Kuh* «корова» (и.-е. *go̥u- «корова»); и.-е. *ak-/ag- «бить, рвать» > и.-е. *ag-/eg- «огонь», но др.-инд. *ahi* «змея» и также «корова»; ср. с преформантами: болг. *мака* «скот», лат. *pecus* «скот», но перс. *mahi* «рыба», тох. *A lak* «рыба»; др.-англ. *facg* «камбала» (название рыбы), англ. *stag* «олень» (ср. др.-инд. *ahi* «корова»), осет. *šag* «олень»; ср. далее: и.-е. *lep-/leb- «бить, рассекать» > «гореть» (литовск. *liepsnà* «пламя»), но нем. диал. *Lob* «корова»; и.-е. *uer- «бить, тереть, ударять», но также «гореть»: ср., однако, гот. *waurms* «змея», а также ирл. *ferb* «скот», латышск. *vērsis* «бык»; и.-е. *uek- «ударять, тереть», но др.-в.-нем. *wahan* «гореть» и лат. *vacca* «корова»; и.-е. *per-/prau- «ударять» > *per- «гореть», но болг. *правда* «скот» и нем. диал. *Pier* «червь, змея», лат. *vi-pera* «гадюка» (*vi-* – табуирующее отрицание); гот. *maitan* «бить, рвать», но латышск. *matenis* «водяная змея» и др.-англ. *taða* «Wurm». Значение «бить, высекать огонь» > «огонь», «сгибание, переплетение языков пламени» соотносится также со значением «колдовать»: ср. и.-е. *uer- «бить»/«гнуть» > «гореть», но русск. *воро-*

жить; и.-е. *bher- «бить»/«гнуть» > «гореть», но литовск. *birtas* «ворожба, колдовство» (также «жребий»); и.-е. *al-/el- «бить, ударять», но и.-е. *al- «колдовать» (ср. хет. *al-wanza* «колдовство») и русск. диал. *ал-ынья* «корова» («совершающее чудеса Божество»); и.-е. *geu- «гнуть»/*kau- «бить, рвать», но греч. ὑψητα «колдовство» (ср. и.-е. *goцо «корова»). С другой стороны, ср. русск. *жук*, но польск. *żuk* «бык»; англ. *beetle* «жук», но польск. *bydło* «скот»; др.-англ. *wicga* «насекомое», но лат. *vacca* «корова»; русск. диал. *ал-ынья* «корова», но др.-инд. *ali-* «пчела» и ново-ирл. *eallach* «скот»; польск. *robak* «червь», но нем. диал. *Rupp, Rubb* «корова».

Относительно связи значения «скот» со значением «гореть» ср. еще: ирл. *ferb* «скот», но и.-е. *uer- «гореть, огонь» (ср. гот. *waurms* «змея»); и.-е. *lep- «бить, высекать» (огонь) > *lep- «гореть», но латышск. *liõps* «скот», нем. диал. *Lob* «корова»; хет. *šuppala* «скот» < и.-е. *sup- «гореть; огонь»: тох. *A sopi* «плетение» (огня): узел – символ божественной силы; с другой стороны, ср. литовск. *sopė* «болезнь», букв. «связанный злыми чарами»; русск. *корова* < и.-е. *ker- «гореть» [ср. и.-е. *ker- «рог» (греч. κέρασ «рог»): рог как язык пламени]; русск. *скот*, но и.-е. *skeut- «гореть, блестеть» (ср. греч. σκότος «темнота»: энантиосемия). С русск. *скот* ср. также латышск. *skaitlis* «число» (число и корова как стержень Вселенной) и др.-инд. *koṭi* «верх» (корова как обитатель верхнего мира); типологически ср.: датск. *hvoeg* «скот», но и.-е. *kauk- «высокий»; ирл. *ferb* «скот», но и.-е. *uer- «верх»; болг. *мака* «скот», но русск. *макушка*. Ср. еще: литовск. *kutris* «сильный», англ. диал. *scouth* «обилие, богатство» < *kot- «schneiden». Вместе с тем значение «скот» в индоевропейском может соотноситься со значением «быстро двигаться», а также «гнать» > «движущееся богатство»: ср. русск. *скот*, но др.-сев. *skjöta* «быстро двигаться; гнать»; типологически ср. литовск. *kėlti* «двигаться», но литовск. *kėltuva* «скот»; и.-е. *goцо- «скот» < и.-е. *ghei-/gheu- «двигаться» (ср. англ. *go*, нем. *gehen* «идти»), ср. также и.-е. *g^hei- «жизнь» и «сила», осет. *gæjyn* «соиге»; др.-англ. *faecan* «двигаться», но и.-е. *pe-ku- «скот»; греч. πρόβατον «скот» (букв. «движущийся»); ср. [Fraenkel 1962: 238].

Корова, скот, как и насекомые, – огненные символы. Понятие огня в индоевропейском соотносится с понятием пустоты (ср. и.-е. *keu- «гореть», но также «пустой»: ср. и.-е. *goцо- «скот»). В связи с этим становится понятным, что и названия насекомых (огненных символов) также могут соотноситься со значением «пустой»: ср. англ. диал. *em-met* «муравей», но др.-англ. *æmettig* «пустой» (ср. др.-англ. *ām* «Brand»); др.-англ. *wicga* «жук», но лат. *vacuus* «пустой» (ср. лат. *vacca* «корова» и др.-в.-нем. *wahan* «гореть»); перс. *dywak* «жук», но и.-е. *teus- «пустой» (и.-е. *dau- «гореть»).

Отметим, что со значением «змея» в индоевропейском соотносятся слова со значением «вселенная, мироздание», ср. латышск. *čus-ka* «змея» и греч. κοσ-μοσ «вселенная»; авест. *anghi-* «вселенная», но лат. *anguis* «змея»; др.-сев. *heimr* «вселенная», но русск. *змея*; русск. *мир* «вселенная», но курдск. *mar* «змея»; авест. *gaēfi-* «вселенная», но чешск. *had* «змея», русск. *гад*.

Как уже говорилось, значение «бить, высекать» обычно соотносится со значением «огонь». Это последнее значение по энантиосемии может соотноситься со значением «темнота, тьма» (ср. русск. *мерцать* и *мрак*). Тьма, как и Пустота, в древности считалась источником рождения. Ср., с одной стороны, др.-инд. *ric-* «пустота», но англ. диал. *reek* «род, клан, племя»; греч. κένοσ «пустой», но и.-е. *gen-/ken- «рожать»; др.-сев. *tomr* «пустотой», но тох. *A tām* «рожать»; латышск. *tukšs* «пустота», но др.-инд. *tuc-* «продолжать потомство»; с другой стороны, ср.: тох. *A wše* «темнота, ночь»; но литовск. *veisti* «плодиться» (ср. осет. *woes* «женщина», букв. «рождающая»); гот. *riqis* «темнота», но англ. диал. *reek* «род, племя, клан»; др.-англ. *wann* «темный», но хет. *uen* «соиге»; русск. *темный*, др.-инд. *tamisra-* «темнота», *tamas* «мгла», но тох. *A tām* «рожать»; русск. *мень* (ср. ирл. *teinn* «огонь»: энантиосемия), но др.-инд. *tanayati* «рожать»; др.-инд. *andha* «темнота», но также «scrotum»; нем. *dunkel* «темный», но др.-инд. *duc-, tuc-* «рожать, продолжать род»; тох. *B orkmo* «темнота», но хет. *ark* «соиге»; и.-е. *ter-/ter-k/*ter-n «темный», но др.-англ. *teors* «männliches Glied», ирл. *torr* «matrix»; латышск. *skapstēt* «тускнеть, темнеть», но англ. диал. *shape* «pudendum» (и.-е. *kap-/skap- «гореть» и по энантиосемии «темный»); и.-е. *(s)keu-to «гореть» и по энантиосемии «темный» (греч. σκότος «темно-

та»), но слав. **kotiti* «плодиться» (ср. лат. *catulus* «детеныш животного»); др.-инд. *rātri* «ночь, тьма», но др.-инд. *ret-* «мужское семя», др.-сев. *redr* «männliches Glied».

§ 2. Следует иметь в виду, что значение «бить, рассекать» непосредственно связано и со значением «звук», «издавать звуки» (звук как разящее оружие): ср. и.-е. **kel-* «бить, рассекать», но также «издавать звуки» и русск. *колдовать* «заговаривать словом, звуком»: и.-е. **uer-* «рассекать», но и.-е. **uer-* «издавать звуки» и русск. *ворожить* (ср. § 10). Ср. также: греч. *ὄδη* «песня», но корнийск. *odion* «бык»: тох. *A rape* «музыка», но нем. диал. *Riep* «скот»; и.-е. **uak-* «звучать», но лат. *vacca* «корова»; ирл. *ferb* «скот», но лат. *verbum* «слово» (звук и корова – символы Божества). Поскольку Удар у язычников надеялся также способностью оплодотворять, звук обладал и фаллической символикой. Подобным же образом и язык (орган тела и орудие речи) осмыслялся как орган оплодотворения. Ср.: англ. *to sing* «петь», но др.-инд. *śingi* «половые органы»; лит. *lingua* «язык», но др.-инд. *linga* «männliches Glied», ср. также цыганск. *slang* «язык, речь», но др.-в.-нем. *slehti* «род, клан»; литовск. *taŕti* «говорить», но др.-англ. *teors* «männliches Glied»; и.-е. **ag-* «говорить», но др.-сев. *ggurr* «männliches Glied»; англ. *tell* «говорить», но нидерл. *telen* «рожать» < и.-е. **tel-* «ударять»; греч. *λέγειν* «говорить», но греч. *ληκάω* «соиге»; и.-е. **uend-* «издавать звуки», но хет. *uen* «соиге»; др.-англ. *hāman* «соиге», но тох. *A. kam* «звук».

§ 3. Вместе с тем значение «бить, рассекать» непосредственно соотносится со значением «(мировой, божественный) Разум»: ср. и.-е. **ak-* «бить, рассекать», но гот. *aha* «разум»; и.-е. **kel-* «рассекать», но англ. диал. *colly* «понимать» (развитие: «рассекать» > «отделять» > «понимать»); и.-е. **ken-* «рассекать»; но ирл. *cond* «разум»; англ. *clever* «умный», но англ. *to cleave* «рассекать»; гот. *frofs* «умный», но и.-е. **prei-* «рассекать»; и.-е. **kau-* «рассекать»/«гнуть», но и.-е. **keu-* «понимать»; нидерл. *leer* «мудрый» < и.-е. **lep-* «рассекать».

§ 4. Значение «рассекать»/«гнуть» соотносится со значением «сила»: ср. и.-е. **ak-/ag-* «рассекать»; но литовск. *jėga* «сила», др.-инд. *ojas* «сильный»; и.-е. **geu-* «гнуть, рвать», но и.-е. **g^hei-* «сильный; сила»; и.-е. **uer-* «рассекать»/«гнуть», но латышск. *vara* «сила»; и.-е. *ter-* «рвать, рассекать», но хет. *tarh-* «быть сильным», нем. *stark* «сильный»; и.-е. **uel-* «разрывать», но и.-е. **ual-* «быть сильным»; и.-е. **lai-dh-* «рвать», но ирл. *laidir* «сильный»; и.-е. **ghel-* «рассекать», но бретонск. *gal* «сила», литовск. *galià* «сила, мощь»; и.-е. *kut-* «сила», но тох. *A kot* «рассекать».

§ 5. Значение «бить, гнуть» непосредственно соотносится со значением «родить, производить на свет» < рождение от удара: ср. и.-е. **bher-* «ударять», но англ. *to bear* «родить»; и.-е. **kel-* «ударить», но англ. диал. *cleck* «родить», и.-е. **rek-* «ударить», но англ. диал. *reek* «род, клан»; и.-е. **tem-* «рассекать», но тох. *A tām* «родить»; и.-е. **gen-* «ударить», но также «родить»; и.-е. **pet-* «ударить», но гот. *fitan* «родить»; и.-е. **al-* «ударить», но др.-сев. *ala* «родить»; и.-е. **seu-* «ударить», но др.-инд. *sū-* «родить»; и.-е. **uer-* «ударить», но и.-е. *uer-odh-* > русск. *родить*; и.-е. **kes-/es-* «ударять, рассекать», но хет. *has* «родить»; и.-е. **rek-* «ударять», но англ. диал. *reek* «род, племя»; и.-е. **ker-* «ударить», но арм. *serem* «breed, beget».

Язычники считали, что женщина рождает детей от прикосновения к дереву или к горе: ср. гот. *bagms* «дерево»; по др.-инд. *bhaga* «vulva»; гот. *qilpei* «матка», но и.-е. **keld-* «лес; дерево»; хет. *aras* «лес; дерево», но осет. *aryn* «рожать» (ср. русск. диал. *рай, райник* «лес; деревья»), англ. *tree* «дерево», но др.-англ. *teors* «männliches Glied» и др.-сев. *frudr* «женщина»; литовск. *girià* «дерево», но осет. *gyryn* «рожать»; русск. *бор*, но и.-е. **bher-* «рожать»; др.-инд. *rohī* «дерево», но англ. диал. *reek* «род, клан»; латышск. *kuòks* «дерево», но и.-е. **kūk-* «vulva»; др.-инд. *vanam* «дерево», но хет. *uen* «соиге», а также др.-сев. *fjall* «гора», но др.-инд. *pelah* «половые органы»; ирл. *cloch* «камень», но англ. диал. *cleck* «родить»; русск. *гора*, но осет. *gyryn* «родить».

§ 6. Понятие «жизнь» и «смерть» в древности истолковывались соответственно как разматывание (разгибание) или наматывание (сгибание) божественных Узлов, причем Жизнь считалась продолжением Смерти, а Смерть – продолжением Жизни: ср. др.-инд. *asu* «жизнь», но авест. *aoša* «смерть» (значение «сгибать»/«разгибать» входят в семанти-

ческую диаду «рассекать»/«гнуть»). Кроме того, Жизнь считалась «высекаемым огнем», а Смерть также считалась Огнем, принявшим другой образ (понятие образа, личины, маски соотносилось в древности с понятием Огня: ср. и.-е. *kau-, *keu- «гореть», но литовск. *kaukė* «маска»; и.-е. *ksen- «гореть» > *seno- «образ, маска»; *ar- «гореть», но тох. *A ardm* «лицо», «образ» [Campbell 1974; Burgaud 1961; Lommel 1970; Lurker 1990]); ср. и.-е. *dek-/dheg- «рассекать»/«гнуть», но др.-англ. *diegan* «умереть» и литовск. *diegas* «зародыш», латышск. *dīgt* «прорасти, пускать ростки»; и.-е. *lep-/leb- «бить, рассекать»/«гнуть», но нем. *Leben* «жить» (исл. *labba* «двигаться»): литовск. *alpti* «падать в обморок, лишаться чувств»; и.-е. *es- «рассекать», но др.-инд. *as-* «жизнь» и авест. *aoša* «смерть»; и.-е. *ghel- «рассекать»/«гнуть», но прусск. *gallan* «смерть» (ср. тох. *A källy-* «быть, существовать», и.-е. *kel- «двигаться»); и.-е. *ter- «рассекать»/«гнуть», но нем. *sterben* «умирать» и литовск. *tarpti* «благоденствовать»; и.-е. *ak-/ek- «рассекать», но ирл. *ēs* «смерть»; и.-е. *per-ko «рассекать»/«гнуть», но др.-англ. *feorh* «жизнь»; и.-е. *geu- «гнуть»/*kau- «рвать», но *g^hei- «жить»; греч. *θείνω* «ударять», но греч. *θανάτος* «смерть» [Burland 1974]. В чередовании Жизни и Смерти смерть олицетворяла с ж а т и е (мужской символ божественной силы и потенции), а жизнь олицетворяла р а з ж а т и е (женский символ слабости, гибели). Ср., с одной стороны, прусск. *gallan* «смерть», но литовск. *galià* «сила»; авест. *aoša* «смерть», но лат. *vis* «сила»; др.-инд. *vadha* «смерть», но др.-русск. *удъ* «männliches Glied»; нем. *sterben* «умирать», но хет. *tarh* «сила», др.-англ. *teors* «männliches Glied»; и.-е. *nek- «смерть», но русск. диал. *снага* «сила»; с другой стороны, ср. и.-е. *g^hei- «жить», но и.-е. *gheu- «verschwinden, verlorengelassen»; нем. *leben* «жить», но и.-е. *lēb-, *leip- «schwach»; и.-е. *aiu- «жить», но и.-е. *aiu- «schwach»; осет. *croeryn* «жить»: др.-инд. *car-* «двигаться» < и.-е. *ker- «рвать», но и.-е. *kar- «damage»; «murder»; «schmähen, strafen» (ср. [Топоров 1996: 24]).

§ 7. Семантическая диада «бить, рвать»/«гнуть» лежит в основе значения «хороший» и «плохой». Ср.: и.-е. *lep-/leb- «бить, рвать» (англ. диал. *to lib* «бить, рвать»), но литовск. *labas* «хороший» (ср. и.-е. *lep-, *leb- «гореть»); и.-е. *kes- «рассекать», но тох. *A kasu* «хороший»; и.-е. kel- «рассекать»/«гнуть», но греч. *καλός* «хороший» (ср. и.-е. *kel- «гореть»); гот. *maitan* «рассекать», но ирл. *maith* «хороший»; тох. *A kot* «рассекать», но нем. *gut* «хороший» (ср. франц. диал. *godet* «шрам»); литовск. *dòbti* «бить, рассекать»/«гнуть», но русск. *добрый* (ср. ирл. *dobrun* «вода»: плетение вод); и.-е. *ues- «рассекать»/«гнуть», но др.-инд. *vasu-* «хороший»; и.-е. *ger- «гнуть»/«рассекать», но литовск. *geras* «хороший»; и.-е. *ak-/ag- «рассекать»/«гнуть», но греч. *ἀγαθός* «хороший»; нем. *selig* «блаженный», но нем. диал. *süllen* «бить, ударять»; с другой стороны, ср. англ. *bad* «плохой», но и.-е. *bhadh-/bhedh- «гнуть, изгибать» (ср. др.-инд. *bhadra-* «хороший»); и.-е. *uel- «рассекать», но бретонск. *fall* «плохой»; и.-е. *der- «рассекать», но др.-инд. *dra-* «плохой»; и.-е. *ak- «рассекать», но др.-инд. *aka* «плохой»; и.-е. *uend- «бить»/«гнуть», но др.-сев. *vandr* «плохой», др.-сев. *ond* «плохой», и.-е. *uendh- «слабый» (ср., однако, др.-инд. *vant-* «сильный») [Mensching 1950; Buber 1986].

§ 8. Кроме того, значения «рассекать»/«гнуть» соотносятся со значением «двигаться, движение»: ср. и.-е. *laidh- «рассекать», но гот. *ga-leiþan* «ходить»; и.-е. *ken- «рассекать»/«гнуть», но греч. *κινέω* «двигаться»; и.-е. *ker- «рассекать»/«гнуть», но др.-инд. *car-* «двигаться»; и.-е. *kel- «рассекать», но также «двигаться» (ср. тох. *A kal* «остановиться»); и.-е. *kes- «рассекать»/«гнуть», но латышск. *kustēt* «двигаться»; и.-е. *er- «рассекать», но также «двигаться»; и.-е. *mak- «бить, рассекать»; но сербско-хорв. *maknuti* «двигаться»; и.-е. *ker- «рассекать»/«гнуть», но др.-сев. *hreyfa* «двигаться»; и.-е. *ueg- (< *ag- «рассекать»/«гнуть») «рассекать»/«гнуть», но также «двигаться»; и.-е. *rek- «рассекать», но украинск. *рух* «движение» (ср., однако, нем. *Ruhe* «покой»); др.-англ. *læccan* «двигаться» < и.-е. *lek- «рассекать»; и.-е. *ieu- «рассекать»/«гнуть», но литовск. *judėti* «двигаться»; и.-е. *kel- «рассекать, гнуть», но также «двигаться»; и.-е. *mai- «рассекать», но и.-е. *mei- «двигаться»; и.-е. *ghredh- «рассекать»/«гнуть», но др.-англ. *gréadan* «двигаться» (ср., однако, нем. диал. *gröden* «остановиться»).

Интересно развитие: «рассекать» > «двигаться» > «боль» (движение в древности связывалось как с понятиями боли и страдания, так и с понятиями Силы, Богатства, Смелости, Святости): ср. и.-е. *ak- «рассекать»: шведск. *aka* «двигаться»: англ. *ache* «боль», но

литовск. *jėga* «сила», и.-е. **ag*, **aig*- «богатство». Понятие «боль», в свою очередь, соотносится с понятием «большой» (др.-англ. *éacen* «большой»; ср. русск. *боль* – *большой*). Боль, Страдание – это молитва, это жертвоприношение, преодоление своего земного «Я», это символ магического пути через божественные Двери (Узлы), это одно из звеньев божественного Перевоплощения, символы Гармонии, Порядка, а также Божественного разума (гот. *aha* «разум»). Значение «двигаться», в свою очередь, непосредственно связано со значением «плохой» и «хороший» (соответственно движение от Центра и к Центру, вверх или вниз): ср. и.-е. **kel*- «двигаться», но русск. *зло*; и.-е. *ar*- «двигаться» (др.-инд. *ṛ*- «двигаться»), но др.-инд. *ari* «враг» (но также *ari* «святой»); др.-англ. *læccan* «быстро двигаться», но нем. *schlecht* «плохой»; англ. *slack* «замедлить», англ. *lack* «fault; flaw»; др.-англ. *dragan* «идти», но ирл. *droch* «плохой»; и.-е. **el*- «двигаться», но англ. *ill* «плохой»; нем. *wandern* «двигаться», но др.-сев. *vāndr* «плохой»; нем. *böse* «злой, плохой», но др.-сев. *bysja* «быстро двигаться»; гот. *ga-leiþan* «ходить», но русск. *ляда* «болезнь», нем. *Leid* «страдание». Ср. вместе с тем. исл. *labba* «двигаться», но литовск. *labas* «хороший»; ново-греч. *σάλλω* «двигаться», но гот. *sēls* «хороший»; и.-е. *ueg*- «двигать, двигаться» (нем. *be-wegen*), но др.-англ. *wah* «хороший» (ср. § 7). Значение «движение» может соотноситься с фаллическими значениями: ср. лат. *venire* «приходить», но хет. *uen* «соиге»; литовск. *minti* «двигаться», но лат. *mentula* «männliches Glied»; и.-е. **pel*- «двигаться»; но др.-инд. *pelah* «половые органы»; и.-е. **lek*- «двигаться», но греч. *λήκαω* «соиге»; и.-е. **ghei*- «двигаться», но осет. *gœjyn* «соиге»; англ. диал. *hint* «двигаться», греч. *κινέω* «двигаться», но и.-е. **ken*-/**gen*- «рожать»; латышск. *kustēt* «двигаться», но греч. *κύσθος* «weibliche Scham»; и.-е. **kel*- «двигаться», но др.-инд. *kula* «род, клан»; и.-е. **ag*-/**eg*-/**og*-/**ueg*- «двигаться», но др.-сев. *ogurr* «männliches Glied»; украинск. *рух* «движение», но англ. диал. *reek* «род, клан, племя»; и.-е. **ser-t*- «двигаться», но др.-англ. *serðan* «соиге» (ср. с. 54).

§ 9. Значение «изменяться» соотносится с семантической диадой «рассекать, бить»/«гнуть». Ср. др.-англ. *béatan* «бить», но шведск. *byta* «изменяться»; и.-е. **uek*- «бить, рассекать», но нем. *wechseln* «менять, меняться»; и.-е. **mai*- «рассекать», но и.-е. **mei*- «менять, меняться»; и.-е. **ka(m)bh*- «бить, рассекать», но лат. *cambire* «менять, меняться»; и.-е. *(*s*)*ker*- «рассекать», но др.-сев. *skipta* «менять, меняться».

§ 10. Как показал В.И. Абаев [Абаев 1988], значение «издавать звуки» (ср. выше § 2) может соотноситься со значением «делать». В свою очередь оба эти значения соотносятся со значением «рассекать»: ср. и.-е. **ken*- «рассекать» > латышск. *kana* «звук», латышск. *kanēt* «издавать звуки», но осет. *kænyun* «делать»; и.-е. **uer*- «рассекать» > **uer*- «издавать звуки», (ср. англ. *word* «слово»), но *uer*- «делать» (ср. англ. *work*); и.-е. **ker*- «рассекать» > и.-е. **ker*- «издавать звуки», но и.-е. **ker*- «делать, производить» (ср. литовск. *karōti* «делать»); и.-е. **uek*-/**ueik*- «бить»/«гнуть», но литовск. *veikti* «делать» и лат. *vox* «голос»; греч. *ποιέιν* «бить», но греч. *ποιεῖν* «делать»; и.-е. **kes*- «рассекать», но осет. *kusyn* «делать»; и.-е. **tak*- «бить, рассекать» (англ. диал. *take* «серп»), но нем. *tachen*, англ. *take* «делать»; и.-е. **ger*- «рассекать», но шведск. *göra* «делать»; и.-е. **sek*- «рассекать», но перс. *saxtan* «делать» и др.-англ. *sæcgan* «говорить»: ср. [Абаев 1988]. Следует иметь в виду, что значение «издавать звуки» в индоевропейском закономерно соотносится со значением «гореть» (ср. и.-е. *bhā*- «издавать звуки» и «гореть»; и.-е. **uer*- «издавать звуки» и «гореть»); ср. еще: и.-е. **dhel*- «гореть», но русск. *делать*; англ. *do* «делать», но и.-е. **dau*- «гореть»; и.-е. **ker*- «гореть» > «делать» и «издавать звуки»; и.-е. **uer*- «гореть»: «делать» и «издавать звуки»; индоарийск. **rappa*- «гореть», но русск. *раб́отать*; шведск. *göra* «делать», но и.-е. **gher*- «гореть»; и.-е. **ar*- «гореть», но также «делать» [Mann 1987: 32]³.

С другой стороны, значение «звук» соотносится со значением «сила»: ср. и.-е. **uer*- «звучать», но латышск. *vara* «сила»: и.-е. **gal*- «звучать», но литовск. *galià* «сила»; и.-е.

³ Подробнее о символике огня см. [Маковский 2002б].

**om-* «звучать»; но также «сила» (звук в древности символизировал разящее божественное оружие). Вместе с тем значение «звук» (первооявление Божества) может соотноситься со значением «вселенная» (ср. греч. λόγος «слово», но др.-инд. *loka* «вселенная»; **a(n)g-* «звучать»; но авест. *anghu-* «вселенная»; др.-сев. *heimr* «вселенная», но тох. *A kam* «звук»; др.-англ. *wereld* «вселенная» < и.-е. *uer-* «звук, звучать» + и.-е. **el-* «звучать») и со значением «вещь, объект» (и.-е. **uend-* «издавать звуки», но тох. *B wāntare* «вещь»; хет. *metiia* «речь» и «вещь»; русск. *вещать* и *вещь*; польск. *rzecz* «речь» и «вещь»).

§ 11. Значение «бить, ударять, протыкать»: лежит в основе значения «чувствовать», а также значений «видеть» (букв. «ударить, достать, дотронуться взором»), «слышать», «обонять», «ощущать вкус». Ср. англ. *feel* «чувствовать», но и.-е. **pel-* «ударить»; литовск. *jūsti* «чувствовать», но и.-е. *jeu-* «ударить, пронзить»; и.-е. **kau-* «бить, рассекать»; но русск. *чувствовать*; и.-е. **ter-p-* «бить, рассекать». но др.-сев. *þreifa* «чувствовать». Ср. также: и.-е. *sek-* «рассекать», но гот. *saihvan* «видеть»; и.-е. **der-* «рассекать», но греч. δέρκομαι «видеть»; и.-е. **ueid-* «рассекать», но лат. *videre* «видеть»; литовск. *rėgeti* «видеть», но и.-е. **rek-* «рассекать». С другой стороны, ср. англ. *hear*, нем. *hören*, гот. *hausjan* «слышать» < и.-е. **ker-/kes-* «ударять» (по органам слуха: о звуке). У некоторых народов ухо уподобляется Цветку (др.-инд. *kusu-ma* «цветок») и несет ту же символику, что и Цветок: это символ Мировой Чаши (ср. латышск. *kauss* «череп»), которая вбирает в себя всю божественную энергию Мироздания и олицетворяет вселенскую Гармонию и Порядок (ср. др.-инд. *kusala* «порядок»), боготворчество (ср. осет. *kusyn* «творить, делать») и духовную чистоту (ср. др.-сакс. *kus-ko*, др.-в.-нем. *kus-ki* «целомудренный»). У многих народов ухо считалось половым органом (ср. др.-инд. *kósá* «scrotum»; ср. также англ. *ear* «ухо», но хет. *ark* «coïte»).

Ср. далее: англ. *listen* «слушать» < и.-е. **kel-* «ударять» (ср. др.-англ. *hlystan*, *hlosnian*); греч. ἀκούω «слышать» < и.-е. **a-kau-* «бить, ударять» (ср. и.-е. **keu-* «wahrnehmen»); литовск. *girdėti* «слышать» < и.-е. **gher-dho* «бить, рвать» (Рокотну, s.v.). Кроме того, ср. лат. *odorare* «нюхать» < и.-е. **edh-/odh-* «ударять» (по органам обоняния); англ. *to smell* «нюхать» < и.-е. **mel-* «ударять»; русск. *пахнуть* < и.-е. **pak-/pek-* «ударить» (по органам обоняния).

Ср. еще: нем. *geniessen* «вкушать, ощущать вкус», но нем. диал. *niesen*, *neusen*, *neuseln* «ударять»; нем. *Ge-schmack* «вкус», но и.-е. **tak-* «ударять»; др.-англ. *swæc* «запах», также «вкус» < и.-е. **uek-* «гнуть»/«ударять, бить»; литовск. *ragauti* «пробовать на вкус», но и.-е. **reg-/rek-* «рассекать» (ср. русск. *резать*); др.-сев. *bergja*, др.-англ. *býrgan* «пробовать на вкус» < и.-е. **bher-* «бить, рассекать»; гот. *kausjan* «пробовать на вкус» < и.-е. **kes-* «рассекать»; латышск. *uost* «запах» < и.-е. **ues-* «ударять»; литовск. *skonis* «хороший вкус» < и.-е. *(*s*)*ken-* «ударять»; русск. *сладкий* < и.-е. **laidh-* «рассекать, ударять»; англ. *sweet* «сладкий», но и.-е. **ueid-*, **uedh-* «schneiden, schlagen»; лат. *dulcis* «сладкий», но и.-е. **dhelg-* «колоть»; греч. γλυκύς «сладкий», но др.-англ. *lucan* «резать, бить» (< **klek-* : **kel-* «рассекать»); др.-англ. *weorod* «сладкий», но и.-е. **uer-* «разрывать, бить» [Jēgers 1949].

§ 12. Значение «разрывать, рассекать» в индоевропейском лежит в основе значений «быть, существовать» и «исчезать» (диада бытия и небытия): ср. и.-е. **es-* «рассекать», но также «быть, существовать»; и.-е. **dek-* «рассекать», но тох. *A tak* «быть, существовать»; англ. *to be*, русск. *быть*, но и.-е. **bhei-* «бить, рассекать»; и.-е. **kes-* «рассекать», но хет. *kiša* «быть, существовать»; и.-е. **kel-* «рассекать», но тох. *A kally-* «быть, существовать»; и.-е. **ma(s)k-*, **mo(s)k-/me(s)k-*, **mu(s)k-* «бить, рассекать», но тох. *A mǝsk* «быть, существовать; превращаться» и тох. *A musk* «исчезать».

Понятие Бытия тесно связано с понятиями огня и змеи, понимаемой как язык пламени. Ср. в этой связи: англ. (*I*) *am* < **es-mo* «есть, существую», но англ. диал. *easse* «червь, змея», англ. диал. *easel* «искра». К тому же корню относится англ. (*he*) *is* (ср. также: др.-инд. *as* «жизнь», но авест. *aoša* «смерть» и хет. *has* «рожать»); сюда же англ. (*he*) *was* (с преформантом). Англ. (*we*) *are* соотносится с бретонск. *aer* «змея» (ср. и.-е. **ar-* «гореть»), ср. с преформантом: англ. (*we*) *were* (< *uer-*). С другой стороны, ср. и.-е. **am-* «огонь»: и.-е. **om-* «сила»; и.-е. *iš* «сила» (и.-е. **as-* «огонь»); латышск. *vara* «сила» (и.-е.

**uer-* «гореть, огонь»). Интересно лат. *colubra* «змея» < тох. А *källy-* «быть, существовать» + нем. *werden* «становиться, превращаться» (ср. и.-е. **kel-* «гореть» + и.-е. **uer* «гореть»). Можно сопоставить также: хет. *kiša* «быть, существовать», но русск. диал. *коза* «огонь, костер» и латышск. *čus-ka* «змея»; литовск. *gyvate* «змея»; но и.-е. **g^hei* «жить».

Значение «бытие» могло также соотноситься со значением «число»: ср. тох. В *kes* «число», русск. *чис-ло*, но хет. *kiš-* «быть, существовать»; арм. *linim* «быть, становиться», но ирл. *lin* «число». Учитывая, что значение «число» непосредственно соотносится со значением «издавать звуки» (ср. прусск. *girbin* «число», но латышск. *gerbt* «говорить»; тох. В *kes* «число», но др.-в.-нем. *kosian* «говорить»; гот. *raþjo* «число», но нем. *reden* «говорить»), можно сопоставить и.-е. **kel* «издавать звуки» и тох. А *källy-* «быть, существовать»; ср. также тох. А *çüm* «быть», но тох. А *kaṃ* «звук».

Значение «быть, существовать» < «бить, рассекать» лежит в основе многих индоевропейских слов со значением «человек»/«мужчина» (боготворческая символика Удара). Ср.: др.-сев. *vara* «быть», но лат. *vir* «человек, мужчина», гот. *wair* «человек» (ср. латышск. *vara* «сила»); русск. *чело-век*, но тох. А *källy-* «быть», арм. *klin* «быть» + гот. *waihts* «существо» > «сущее» (ср., однако, и.-е. **kel-* «ударять» + и.-е. **uek-* «ударять»: исл. *veig* «сила»; относительно первой части русского слова *чело-век* ср. др.-англ. *hæleþ* «человек», тох. В *källyško* «мальчик»); тох. А *çüm* «быть», но лат. *homo* «человек»; лат. *mas* «мужской, относящийся к мужчине» (ср. авест. *mašya-* «человек»), но тох. А *młsk* «быть, существовать»: тох. А *musk* «исчезнуть» (ср. с другими преформантами: тох. А *nas*, тох. В *nes* «быть»: хет. *hassis* «мужчина, мужской», также др.-инд. *nar-*, *nair* «человек, мужчина» и без преформанта: и.-е. **ar-* «мужчина», но англ. *are*, литовск. *yrà* «быть» и др.-инд. *asu-* «жить, жизнь»); тох. В *šaumō* «человек» < тох. В *šaw* «жить»; ирл. *maraim* «жить», но др.-перс. *martiya-* «мужчина», арм. *mard* «человек».

Во всех этих случаях перед нами семантические варианты значения «ударять»/«гнуть». Развитие значений: «ударять» > «высекать огонь» > «огонь» > «дыхание, душа» (как вид огня); ср. хет. *hassis* «мужчина», но хет. *hassas* «очаг» < и.-е. **kes-* «ударять, высекать огонь»; греч. ἄνθρωπος «человек» < и.-е. **and-* «гореть» > («душа») + индо-арийск. **rappa-* «гореть» > «душа»; и.-е. **sek-* «рассекать» > осет. *sugyn* «гореть» и др.-англ. *secg* «человек, мужчина»; с другой стороны, ср.: «гнуть» > «выгибаться» (о пламени) > «разматываться»/«сматываться» (разматывание и сматывание «жизненных узлов» как символ бытия и небытия). Ср.: и.-е. **er-/ar-/ur-/uer-* «ударить» > «гореть; огонь» и англ. *were*, др.-сев. *vara* «быть» > гот. *wair* «человек» (букв. «узел жизни») и с преформантами: др.-инд. *p-ur-uṣa* «человек» (др.-англ. *feorh* «душа» и «жизнь», др.-сев. *firras* «люди»); алб. *b-urrë* «человек»; нем. *K-er-l* «человек»; арм. *m-ar-d* «человек»; др.-инд. *n-ar* «человек», гот. *w-air* «человек».

Понятие сгибания, плетения лежит в основе значения «жидкость» и «огонь» (плетение вод и плетение огня): ср. тох. А *war* «вода»: и.-е. **uer-* «огонь», но гот. *wair* «человек»; и.-е. **n-aros* «вода» [Mann 1987: 827], но др.-англ. *nar-*, *nair-* «человек»; типологически ср.: англ. *guy* «парень», но и.-е. **gheu-* «лить»; англ. *man* «человек», но и.-е. **ma-no* «лить; жидкость»; русск. *чело-век* < осет. *koelyn* «лить» + и.-е. **uks* «жидкость», букв. «оплодотворяющий жидкостью». Понятие плетения лежит в основе понятий «жизнь»/«смерть». Ср. [Grodeck 1973; Иванов 1975].

§ 13. Понятие «животное» тесно связано с понятием разрыва: речь идет о ритуале так называемого «разрыва зверя», который приравнивался к жертвоприношению: ср. и.-е. **skep-* «разрывать», но англ. *sheep* «овца» (предмет жертвоприношения); и.-е. **lam-/lem-* «ломать», но англ. *lamb* «ягненок» (предмет жертвоприношения; конечное *-b* – неэтимологическое); и.-е. *gh^her* < и.-е. **uer-* «рассекать»: русск. *зверь*: литовск. *žveris*, прусск. *swarins* (вин. пад. мн. числа), греч. θῆρ «зверь»: ср. и.-е. **gher-/gh^her-* «hart worüber streichen» (Рокоту: 430); нем. *Tier* «зверь» соотносится с и.-е. **der-* «рвать, рассекать»; и.-е. **dhaunos-* «зверь» соотносится с и.-е. **dhen-* «бить, рвать»; тох. А *lu* «зверь» связано с и.-е. **leu-* «рвать, рассекать»; ирл. *rop*, *rob* «зверь» соотносится с др.-англ. *reofan* «рвать», гот. *raurjan*, лат. *gumpere* «рвать, рассекать»; др.-инд. *raṣu-* «зверь» соотносится с и.-е. **pek-/pak-* «рассекать». Отметим, однако, что значение «рассекать, высекать» тесно

связано со значением «огонь» < и.-е. **uer-* «рассекать», а это последнее значение соотносится со значением «дух, душа» (ср. тох. *A wras* «дыхание») < и.-е. **uer-* «гореть».

§ 14. Значение «время» в индоевропейском обычно соотносится со значением «рассекать»: ср. и.-е. **bher-* «рассекать», но др.-англ. *byre* «время»; др.-инд. *kala* «время», но и.-е. **kel-* «рассекать»; и.-е. **dek-* «рассекать», но гот. *feihis* «время». Трение двух дощечек в древности связывалось с появлением Огня; Огонь же олицетворял Солнце; появление и исчезновение Солнца соотносилось древними с определенным временем дня и ночи, символизируемым появлением или исчезновением определенных животных, а также с временем принесения в жертву тех или иных животных: ср. англ. *time* «время» < и.-е. **tem-/dem-* «рассекать», но и.-е. **dem-* «змея»; и.-е. *dek-* «бить, тереть» > и.-е. **dheg-* «гореть», но осет. *dug* «время» и англ. *dog* «собака» (собака – огненный символ); и.-е. **uer-* «бить, тереть» > **uer-* «гореть», но и.-е. **uer-men* «время» и гот. *waurts* «змея» (змея – огненный символ); и.-е. **lek-* «рассекать» > и.-е. **lek-* «гореть», но литовск. *laikas* «время» и литовск. *lokys* «медведь»; и.-е. **bher-* «рассекать»: и.-е. **bher-* «гореть», но алб. *berr* «скот», русск. *боров* и др.-англ. *byre* «время»; и.-е. **lem-* «рассекать» (русск. *ломать*), но англ. *lamb* «ягненок» и хет. *lammar* «время»; лат. *porcus* «свинья», но тох. *A preke* «время» (и.-е. **per-* «рассекать») [Miquel 1991; Лушникова 2005; Гурра 1997].

Непрерывность времени сопоставлялась в древности с непрерывностью человеческого рода: ср. англ. *time* «время», но тох. *A tdm* «родить»; гот. *tid* «время», но др.-англ. *tydran* «родить», осет. *dug* «время», но др.-инд. *duc-*, *tuc-* «родить», «продолжать род»; др.-инд. *kāla* «время», но англ. диал. *cleck* «родить». Интересно, что в некоторых языках прохождение времени обозначается как движение вверх (ср. англ. *the lesson is over; the time is up*), а в других языках – как движение вниз: ср. ирл. *le bliain anuas* «вог уже год» (букв. «с годом вниз»); ср. хет. *lammar* «час», по литовск. *lomūs* «низкий»; др.-инд. *katah* «время», но тох. *B kātḱ-* «передвигать вниз»; англ. *time* «время», но и.-е. **temn-* «верх»; и.-е. **uer-men* «время», но и.-е. **uer-* «верх»; др.-англ. *byre* «время», но авест. *barez-* «верх».

Так называемое «абсолютное», или «божественное» время, в отличие от мирского (профанного) времени, связано с понятием «стоять, иметь вертикальное положение»: ср. др.-англ. *sæf* «время», но дравидийск. *sal*, *sali* «стоять, иметь вертикальное положение» [Emeneau 1968]. Вертикаль считалась божественным символом Мирового Разума и Первоматерии: ср. англ. *under-stand* «понимать» и лат. *sub-stantia* «материя» [Элиаде 1994]. Понятие Божественной вертикали неразрывно связано с понятием Движения: ср. дравидийск. *sal-*, *sali* «стоять», но и.-е. **sal-* «двигаться»; англ. *stand* «стоять», но англ. диал. *stend* «двигаться».

§ 15. Некоторые животные (например, собака и лошадь) считались символами Периферии, символами Преисподней и символами Зла. Понятие периферии тесно связано с понятиями «рассекать, бить». Эти значения, кроме того, соотносятся еще с понятиями «верх»/«низ», «начало»/«конец», «ближний/дальний». В связи с этим интересно указать на то, что русское слово *собака* соотносится со сложением корней: и.-е. **seu-* «бить, рвать» > «периферия» (ср. и.-е. **suet* «периферия» [Mann 1987: 1351], ср. и.-е. *seuio-* «левый») + и.-е. **bhak-* «периферия, край» < и.-е. **bhek-* «бить, рассекать»; др.-англ. *hros* «лошадь» < и.-е. **ker-* «рассекать» и русск. *край*; и.-е. **ken-* «рассекать» соотносится с и.-е. **ken(d)-* «гореть» (ср. осет. *kóna* «очаг») и с перс. *kanār* «край, бок», но также с и.-е. **k'un-*, **k'юн-* «собака» и с русск. *конь*; ср. далее: и.-е. **er-/ar-* «рассекать» > «гореть» > «край» и др.-русс. *орь* «конь» (конь и собака – огненные символы Преисподней).

Собака – одно из первых животных, прирученных человеком для охоты (охота в древности приравнивалась к сакральному акту и к жертвоприношению). Ср. в этой связи: и.-е. **ag-/og-* «сакральный акт» > «охота, быстрое движение», но с преформантами: англ. *d-og* «собака», др.-сев. *b-aka* «собака». англ. *b-eagle* «гончая собака», англ. диал. *r-ach* «собака», нем. *jagen* «охотиться», др.-сев. *g-agg-ar* «собака» и чешск. *ohar* «собака» (без преформата). Понятие «охота» (сакральный акт в лесу) тесно связано с понятием «лес, дерево»: ср. и.-е. **ag-* «охота»: **ag-* «дуб, дерево», гот. *b-ag-ts* «дерево»; ср. далее:

валлийск. *hela* «охота», но литовск. *kalė* «сука»; ирл. *matad* «собака», но литовск. *medū* «охотиться»; др.-франц. *lice* «собака», но русск. *лес*. С другой стороны, значение «собака» может соотноситься с фаллическими значениями. Ср. русск. *лес*, но литовск. *pisti* «соить»; англ. *dog* «собака»; но др.-инд. *duc-Ituc-* «продолжать род»; и.-е. **kuon-* «собака», но и.-е. **gen-* «родить»; англ. диал. *rach* «собака», но (с метатезой) хет. *ark* «соить» (ср. тох. В *werk* «охота»); литовск. *kalė* «сука», но др.-инд. *kala* «Embryo»; др.-сев. *baka* «собака», но др.-инд. *bhaga* «rudendum»; русск. *собака*, но др.-инд. *sapa* «männliches Glied»; чешск. *ohar* «собака», но др.-сев. *ogurr* «männliches Glied» (ср. англ. *d-og*).

Значение «рассекать», как уже говорилось, может соотноситься со значениями «верх»/«низ» и «начало»/«конец»; «близкий»/«далекий»: ср. следующий материал: и.-е. **dhen-* «рассекать», но англ. *down* «вниз, внизу» (ср. ирл. *dun* «холм»); и.-е. **lek-* «рассекать», но шведск. *låg*, англ. *low* «низкий»; русск. *ломать*, но литовск. *lomius* «низкий»; тох. А *kot* «рассекать», но тох. В *kltk-* «перемещать вниз»; и.-е. **ker-* «рассекать», но тох. В *kārp-* «нижний»; тох. А *sorromp* «вниз, внизу», но хет. *šer* «ударить», хет. *sarra-* «рассечь» + лат. *rumperе* «рассекать» (ср. хет. *sarā* «вверх»). С другой стороны, ср.: и.-е. **uer-* «рассекать», но русск. *верх*; и.-е. **ker-* «рассекать», но также «верх». Ср. также: и.-е. **ken-* «рассекать», но русск. *кон-ец* и русск. *на-чин-ать*; и.-е. *sek-* «рассекать»; но латышск. *sākt* «начинать»; и.-е. **bher-* «рассекать», но шведск. *börja* «начинать»; и.-е. **uer-* «рассекать», но тох. В *warñai* «начинать»; и.-е. **ad-* «ударять», но др.-инд. *adi* «начало».

Вместе с тем ср.: и.-е. **(s)kend-* «schneiden», но валлийск. *cynfaf* «the first, the foremost», но гот. *hinduma* «hindmost, last»; др.-англ. *gāelan* «рассекать, разрывать», но литовск. *galas* «конец», литовск. *at-gal* «назад»; и.-е. **kad-/ked-* «рассекать», но русск. *зад, задний*. Ср. еще: русск. *близко, близкий*, но латышск. *blaizit* «to strike, to beat, to crush, to push»; греч. *πέλας* «близко», но лат. *pellere* «to strike»; латышск. *tuvi*, прусск. *tawischan* «близко», но и.-е. **(s)teu-* «schlagen», и.-е. **dau-* «бить, жать, давить»; с другой стороны, ср.: литовск. *toli*, латышск. *tals* «далеко», но и.-е. **tel-* «ударять, рассекать»; англ. *far* «далеко» < и.-е. **per-* «рассекать, бить»; др.-инд. *dūram* «далеко» < и.-е. **der-* «бить, рассекать».

Значение «рассекать» может также переходить в значение «пространство»: ср. и.-е. **per-* «рассекать», но тох. А *eprer* «пространство»; и.-е. **reu-* «рассекать», но нем. *Raum* «пространство»; и.-е. **pāt-* «рассекать», но лат. *spatium* «пространство».

§ 16. В древности считали, что любое заболевание обусловлено вселением в человека злой силы. Лечение состояло в изгнании злой силы путем ударов: ср. и.-е. *lek-* «ударять», но русск. *лечить*; и.-е. *kel-* «ударять», но англ. *heal* «лечить»; и.-е. **ter-p* «ударять», но греч. *θεραπέυειν* «лечить»; и.-е. **ak-/ek-* «бить, ударять», но ирл. *iccaim* «лечить», *icc* «лекарство»; ирл. *fris-len* «лечить» < *fri(s)* «to, towards, against» + и.-е. **bhen* «to strike»; др.-инд. *bhīṣaj* «лечить» < и.-е. **bhes-* «ударить». Излечение, как и другие превращения (жизнь, смерть, брак, инициация и др.), в древности считалось «о б р я д о м п е р е х о - д а»: [Bianchi 1986; Геннеп 2002].

§ 17. Семантическая диада «рассекать»/«гнуть» лежит в основе значения «лежать» (ср. развитие: «рассекать, бить» > «трогать» > «класть; лежать»): ср. и.-е. **lek* «рассекать, бить», но нем. *liegen* «лежать»; ср.-в.-нем. *zergen* «to pluck, to pull» (герм. **targjan* «to tear»), но алб. *dergjet* «лежать»; и.-е. **kei-* «бить, рассекать», но также «лежать»; и.-е. **gel-* «бить, рассекать» (ср. русск. *жалить*), но литовск. *gulėti* «лежать»; и.-е. **(s)keb-*, **(s)kob-* «рассекать, бить» (ср. русск. *скоблить*), но лат. *cubare* «лежать»; интересна глосса в древнеанглийских линдисфарнских евангелиях: *snīða.accumbere* (др.-англ. *snīða* «рассекать»). Англ. *lie* (др.-сев. *liggja*, ср. англ. *licgan*) может также выступать в значении «лгать» (первоначально «наносить вред, ущерб»). Дело в том, что, согласно древним представлениям, горизонтальное положение, в отличие от вертикального, считалось символом зла и потустороннего мира [Aivanhov 1988]. Вместе с тем следует принять во внимание то обстоятельство, что значение «рассекать», как уже говорилось, тесно связано со значением «двигаться», которое по энантиосемии могло переходить в значение «успокоиться, остановиться»: ср. алб. *dergjet* «лежать», но литовск. *dīrginti* «to move» и литовск. *dīrgti* «to lose energy, to become weak».

§ 18. Значение «бить»/«гнуть» лежит в основе значения «лес; дерево»: первобытные люди испытывали огромный страх от раскачивания ветром деревьев, что, как они считали, творила злая сила. Ср. и.-е. *kel- «бить» > «двигаться, качать», но и.-е. *keld- «лес» (ср. русск. колода) и русск. колдовать; др.-инд. varana «дерево», но и.-е. *uer- «бить, гнуть, качать» (ср. латышск. vara «сила»); и.-е. *ker- «бить, гнуть, качать», но др.-сев. hrapi «дерево» (ср. прусск. kirno «куст»); др.-англ. widu «лес; дерево» < и.-е. *ueid- «бить, гнуть, качать» (ср. др.-англ. wod «бешеный»); др.-инд. vanam «лес» < и.-е. *uan-/ *uen- «бить, гнуть, качать»; англ. tree «дерево» < и.-е. *ter «бить, гнуть, качать»; нем. Wald «лес», но нем. wallen «бурлить». Дерево в древности считалось (как и гора или вода) вместилищем душ или духов (добрых и злых). Ср.: латышск. kuòks «дерево», но хет. huek- «колдовство», ср. гот. skohsl «злой дух», латышск. kaukas «домовой, гном» < и.-е. *kek- «рассекать». Дерево могло также соотноситься со значением «загробный мир»: ср. русск. диал. рай, райник «лес, кустарник», но русск. рай (и.-е. *rei- «рассекать»); др.-инд. nakarah «загробный мир», но др.-инд. naga «дерево» + др.-инд. rohi «дерево». С другой стороны, ср. русск. диал. снага «сила» + др.-сев. rōgg «сверхъестественная сила». Ср. вместе с тем др.-инд. sandah «деревья, лес», но ирл. sid «рай» (в связи с тем, что рай иногда понимался как день, а ад – как ночь, интересно сопоставить с этим ирландским словом хет. settis «утро»); ср. также др.-инд. nakarah «загробный мир» < *nek-/ *nok- «ночь» + тох. В erkent «черный», ср. тох. В erkau «кладбище».

Значение «дерево» может соотноситься со значением «старый», «предок»: ср. русск. дерево, но русск. древний; др.-сев. viðr «лес», но лат. vetus «старый»; латышск. kuòks «дерево», но хет. huhha «старик».

§ 19. Значения «рассекать»/«гнуть, выгибать» могут соотноситься со значением «вселенная»: ср. и.-е. *per-ko «рассекать», но др.-англ. feorh «вселенная», гот. fairhvus «вселенная»; англ. world < др.-англ. weoreld «вселенная» < и.-е. *uer- «рассекать» + и.-е. *laidh- «рассекать»; и.-е. *ang- «гнуть, ломать, рассекать», но авест. anghu- «вселенная»; и.-е. *lek-/ *lok- «рассекать», но др.-инд. loka «вселенная»; и.-е. *kes- «рассекать», но греч. κοσμός «вселенная» [Binder 1972].

§ 20. Значения «рассекать, гнуть» могут лежать в основе значений «большой» и «маленький», а также «мало» и «много». Ср.: и.-е. *lei- «рассекать»/«гнуть», но латышск. liels «большой»; и.-е. *mel- «рассекать», но также «большой»; и.-е. *gher- «рассекать»/«гнуть», но также «маленький»; и.-е. *kep- «рассекать», но хет. kappis «маленький»; англ. little «маленький», но др.-англ. lidian «рассекать»; др.-англ. *bheg- «рассекать», но англ. big «большой»; хет. šallis «большой», но нем. диал. sällen «бить, ударять» < и.-е. *ksei-lo «бить ударять»; англ. great «большой» < и.-е. *ghreu- «бить, рассекать»; и.-е. *reu- «бить, рассекать», но англ. few «мало»; др.-инд. kṣudra- «маленький» < др.-инд. kṣud- «round, crush»; и.-е. *dā-/ *dei- «schneiden», но литовск. didis «большой»; лат. grandis «большой», но англ. to grind «молоть»; ирл. oll «большой» < и.-е. *pel- «schlagen»; греч. μέγας «большой» < и.-е. *mek- «schlagen, kneten»; др.-сев. stor «большой» < и.-е. *(s)ter- «teiben, schlagen»; русск. великий < и.-е. uel- «schlagen»; тох. А tsopats «большой», но литовск. dōbti «schlagen».

§ 21. Значение «хотеть» в индоевропейском связано со значением «рассекать»/«гнуть»: ср. и.-е. *lei- «рассекать»/«гнуть», но также «хотеть»: англ. want «хотеть», но и.-е. *uan- «рассекать»; нем. wollen «хотеть», но и.-е. *uel- «рассекать»; и.-е. *uek- «рассекать»/«гнуть», но также «хотеть»; тох. А kot «рассекать»/«гнуть», но русск. хотеть; ирл. tol «воля, желание» < и.-е. *tel- «рассекать»; латышск. gribēt «хотеть» < и.-е. *gher- «рассекать»/«гнуть» > «хватать».

§ 22. Семантическая диада «рассекать»/«гнуть» в индоевропейском лежит в основе значения «смеяться» (ритуальный смех): ср. и.-е. bher- «рассекать», но др.-сев. brosa «смеяться»; и.-е. *ker- «рассекать», но тох. А kar «смеяться» (ср. др.-сев. skratta «смеяться»); лат. ridere «смеяться»; но и.-е. *red-/ *reid- «рассекать»; др.-англ. hlahan «смеяться», но и.-е. *kel- «рассекать»; валлийск. gwenu «смеяться» < и.-е. *uan-, *uen- «рассекать».

§ 23. Значения «рассекать»/«гнуть» могут соотноситься со значениями «молодой, новый»: ср. и.-е. *uer- «рассекать»/«гнуть», но тох. А wir «молодой, новый»; и.-е. *ker-

«рассекать»/«гнуть», но индо-арийск. *kora «молодой, новый» (ср. хет. *karulis* «старый»); и.-е. **ieu-* «рассекать»/«гнуть», но англ. *young* «молодой»: удар в древности служил символом различных превращений. Вместе с тем следует учитывать омолаживающую силу Удара и Огня, в которую верили язычники (огонь добывали трением двух дощечек), ср.: тох. *A wir* «молодой», но и.-е. *uer-* «гореть»; индо-арийск. *kora «молодой», но и.-е. *ker- «гореть»; русск. *молодой*, но англ. *smoulder* «тлеть» (об огне), «тихо гореть»; и.-е. *(i)eus- «гореть», но англ. *young*, нем. *jung* «молодой». Значения «бить, ударять» соотносятся также со значениями «чистый», «непорочный»: ср. *ar-/*er- «ударять», но хет. *arr* «чистый»; и.-е. *(s)uer- «ударять», но литовск. *svarius* «чистый»; и.-е. *kes- «ударять», но русск. *чистый*; и.-е. *ter- «ударить», но литовск. *tyras* «чистый».

§ 24. Значения «рассекать»/«гнуть» могут соотноситься со значением «истина, правда», «истинный, правдивый, настоящий»: ср. и.-е. *kend- «рассекать», но хет. *handaz* «правда»; и.-е. *dek- «ударить», но литовск. *tikras* «истинный»; русск. *тесать, теснить*, но литовск. *tiesà* «правда». Истина в древнем сознании олицетворяла символ веры (Божество и различные символы Божества: Дерево, Шест, Корова, а также Звук, Слово): ср. нем. *wahr* «истинный»; но авест. *varesa* «дерево», латышск. *veris* «лес» (и.-е. *uer- «издавать звуки»); англ. *true* «истинный», но др.-англ. *tree*, англ. *tree* «дерево» (крепость дерева): ср. и.-е. *ter- «издавать звуки» (литовск. *taĩti* «издавать звуки»: лат. *taurus* «бык»): ср. др.-инд. *dharma* «law, usage, right».

С другой стороны, ср. греч. ἄληθής «истина» < и.-е. *al- «гореть, очищать огнем» < и.-е. *al- «ударять, очищать ударом» (ср. также и.-е. *al- «колдовать, совершать чудесные превращения») + и.-е. *edh- «schneiden»/«binden» (ср. и.-е. *ad- «festsetzen, ordnen»). Ср., однако, и.-е. *al- «родить, продолжить род» + греч. αἰδοῖον «половые органы» и русск. диал. *ал-ынья* «корова» (типологически ср. болг. *правда* «скот»).

Многие слова со значением «правда, правдивый, истинный» соотносятся с фаллическими значениями (фаллический культ). Ср.: нем. *wahr* «истинный», но лат. *veretrum* «половые органы», лат. *ver-pa* «penis», лат. *vereor* «поклоняться Божеству, почитать», и.-е. *uer- «гореть; огонь», «огненный столб»; ср. далее: русск. *истина*, но церк.-слав. *исто* «scrotum»; англ. *true* «истинный», но др.-англ. *teors* «penis»; ср. литовск. *tyras* «чистый»; др.-инд. *ṛtah* «richtig, wahr», но др.-сев. *reðr* «penis»; гот. *sunja* «истина», но и.-е. *seu- «родить» (ср. и.-е. *su- «гореть»); литовск. *tiesà* «истина», но лат. *testis* «мужское яичко»; гот. *airkns*, др.-в.-нем. *erchan* «echt, vorzüglich, recht», но хет. *ark* «coire»; интересно сопоставить валлийск. *iawn*, бретонск. *eeun*, литовск. *inas* «истинный», но др.-англ. *eowend* «männliches Glied» и, с другой стороны, лат. *aevum* «вечность», ср. далее: и.-е. *gen- «рожать», но англ. *genuine* «настоящий, правдивый, истинный», герм. *aihti > др.-сев. *sett* «род, клан», гот. *aihts* «имущество», но нем. *echt* «настоящий, истинный».

Значение «стоять, принимать вертикальное положение» (символ Божества) также связано со значением «правдивый»: ср. русск. *на-стоящий* < русск. *стоять* < и.-е. *stei- «рассекать». Ср. также греч. ἄληθής «правда»: *al- «schneiden» > «emprotagen»: ср. лат. *altus* «высокий»; ср. еще и.-е. *reg- «emprotagen», но словенск. *res* «правда».

В ряде случаев значение «правда, правдивый» соотносится со значением «огонь» (> «очищенный огнем»): ср. и.-е. *kend- «ударить» > хет. *handaz* «правда», но лат. *candere* «гореть»; гот. *sunja* «истина» < и.-е. *su- «гореть» (ср. хет. *suppas* «чистый»); лат. *verus*, нем. *wahr* «истинный», но и.-е. *uer- «ударить», но также «гореть»; и.-е. *as- «гореть», но др.-перс. *asha* «истинный; упорядоченный» (значение «огонь» тесно связано со значениями «дух, душа»). Интересно русское слово *по-длинный*, которое восходит к и.-е. *dhel- «гореть» > «очищенный огнем» [Маковский 2005; Deutsch 1979; Ader 1958].

§ 25. Удар для древнего сознания символизировал боготворчество сверхъестественной силы (ср. так называемый Основной Миф). В связи с этим большинство индоевропейских слов со значением «сакральное действие, сакральный праздник» соотносится со значением «ударять, рассекать»: ср. авест. *bereg* «сакральное действие», «праздник» < и.-е. *bher- «ударять, рассекать»; ирл. *lid* «сакральное действие», но и.-е. *laidh- «рассекать»; гот. *dauhts* «сакральный праздник» < и.-е. *dek- «ударять, рассекать»; др.-инд. *kalpa* «сакральный праздник» < и.-е. *kel- «ударять, рассекать»; др.-сев. *verðr* «сакраль-

ный праздник» < и.-е. **uer-* «ударять, рассекать»; гот. *dulþs* «сакральное действие» соотносится с и.-е. **del-* «рассекать»; ср. и.-е. **bhes-* «ударить», но ирл. *bēs* «обычай, ритуал»; и.-е. **edh-* «рассекать», но англ. диал. *ett* «обычай, ритуал». Сакральное действие неизменно связывалось в древнем сознании с понятием рождения (фаллический культ): ср. авест. *bereg* «сакральное действие», но и.-е. **bher-* «родить»; гот. *dauhts* «сакральное действие», но др.-инд. *duc-*, *tuc-* «продолжение рода»; гот. *dulþs* «сакральное действие», но нидерл. *telen* «родить»; др.-сев. *verþr* «сакральное действие», но и.-е. **uerod-* > русск. *родить*.

§ 26. Участники языческих сакральных игр наносили друг другу увечья, рассекали плоть, омывая тело кровью. Ритуальная игра неизменно была связана с борьбой или с имитацией борьбы, которая, согласно древним верованиям, увеличивает и умножает жизненные силы человека и природы, вселенскую энергию, символизирует победу Гармонии, вселенского Порядка над Хаосом, способствует «притягиванию» магической силы и свершению чуда. Ср. и.-е. *(*s*)*pel-* «schneiden»/«biegen», но нем. *Spiel* «игра» (ср. греч. ἄ-πέλος «рана»); и.-е. **kes-* «рассекать», но осет. *хъазын* «играть»; и.-е. **ken-* «рассекать», «бить», но тох. А *kañm* «играть»; и.-е. **leu-dho-* «рассекать», но лат. *ludere* «играть»; и.-е. **ker-dho* «рассекать», но др.-инд. *krid* «игра»; и.-е. **leis-* «рассекать», но литовск. *lošti* «играть», ирл. *les, lis* «сакральная игра» (ср. также § 37).

§ 27. Индоевропейские слова со значением «радость», как правило, соотносятся со значением «бить, рассекать» (религиозная радость слияния с Божеством в результате рассечения плоти): ср. др.-англ. *wynn* «радость» < и.-е. **uen-* «ударять» (ср. хет. *uen* «соиге»); др.-инд. *harṣa* «радость» < и.-е. **ker-* «ударять»/«гнуть»; авест. *māyā* «радость» < и.-е. **mai-* «ударять, рассекать»; и.-е. **red-/reid-* (< и.-е. **rei-*) «рассекать, ударять», но русск. *радость*; и.-е. **lek-* «ударять, рассекать», но латышск. *liksmā* «радость»; и.-е. **per-*, **prei-* «ударять, рассекать»; но латышск. *prieks* «радость»; и.-е. **pak-* «ударять», но гот. *faheþs* «радость»; и.-е. **uel-* «ударять, рассекать», но ирл. *fáilte* «радость»; и.-е. **med-* «рассекать», но др.-инд. *máda* «радость»; ср. также и.-е. **tel-* «рассекать», но прусск. **tul-dit* «sich freuen».

§ 28. Значение «бить, рассекать» > «острый» лежит в основе значения «камень»: ср. и.-е. **uel-* «рассекать», но литовск. *uola* «камень»; и.-е. **lep-* «рассекать», но также «камень»; и.-е. **leu-* «рассекать», но также «камень»; и.-е. **ak-* «рассекать», но также «камень» (**ak-men-* > русск. *камень*); и.-е. **and-* «рассекать», но и.-е. **ond-* «камень».

§ 29. Значение «рассекать, рвать, стричь» соотносится со значением «волосы»: ср. и.-е. **uel-* «рвать», но русск. *волосы*; и.-е. **pel-* «рвать», но также «волосы»; и.-е. **reu-* «разрывать», но др.-инд. *roma* «волосы», ново-перс. *rōm, ruma* «волосы на теле»; и.-е. **kei-*, **gei-* «рвать», но кельтск. **gait-* «волосы»; и.-е. **der-* «рвать»; но греч. ὄριξ «волосы»; и.-е. **kel-* «рвать»; но литовск. *kailis* «мех»; и.-е. **uer-* «рвать», но авест. *varesa-* «волосы». Поскольку значение «бить, рвать, тереть» тесно связано со значением «высекать огонь» > «огонь», значение «волосы» может соотноситься и со значением «огонь» (волосы как языки пламени) [Маковский 2005].

§ 30. Значение «бить, рассекать» в индоевропейском может лежать в основе значений «страх»; «бояться»: ср. и.-е. **tem-* «бить, рассекать», но лат. *timor* «страх»: лат. *pavire* «бить, ударять», но лат. *pavor* «страх»; русск. *бить*, но русск. *бояться* (ср. литовск. *baisa* «страх», латышск. *bitiés* «бояться»); и.-е. **streig-*, **strak-* «ударять», но русск. *страх*; англ. *fear* «страх» < и.-е. **per-* «рассекать, бить»; и.-е. **dek-* «бить, рассекать», но греч. φόβος «бояться», греч. φόβος «страх»; гот. *maitan* «бить, рвать», но лат. *metus* «страх»; и.-е. **skel-* «бить, рвать», но др.-сев. *skelkr* «страх». Вместе с тем, как отмечалось, значение «бить, рассекать» тесно связано со значением «быстро двигаться», которое, в свою очередь, может соотноситься со значениями «страх; бояться»: ср. нем. *schrecken* «пугать», но др.-в.-нем. *scricken* «emrotaufspringen»; русск. диал. *пудить* «гнать», но также «пугать»; и.-е. **bheg-/bheig-* «бить», но русск. *бежать, бегать* и нем. диал. *böggen* «пугать»; и.-е. **ag-* «быстро двигаться», но гот. *agis* «страх»; литовск. *kretėti* «двигаться взад и вперед», но др.-сев. *hroeða* «пугать».

§ 31. Понятия «братъ» и «давать» в древности образовали единую семантическую диаду и олицетворяли ритуальные действия сжатия (мужской символ) и расжатия (женский символ): оба эти действия отражали мистику Сгибания. Конкретно понятие «братъ» и «давать» были связаны с жертвоприношением, бросаемым в сакральный Огонь: огню «дают» жертву, а он ее «берет». Ср. и.-е. *ghabh- «гнуть», которое соотносится одновременно с нем. *geben* «давать», но также с *ghabh- «fassen, nehmen» (ср. ирл. *gaibim* «братъ» и «давать», а также и.-е. *ghabh- «огонь»: литовск. *žibėti* «glänzen, leuchten, strahlen», *ziebti* «Feuer anfachen»); типологически ср.: и.-е. *kait- «гореть», но и.-е. *k'ed- «давать»; и.-е. *dau- «гореть», но и.-е. *dō* «давать». Соединение мужского (ср. англ. диал. *gib* «мужской») и женского (ср. др.-инд. *gabha* «vulva») начал олицетворяло Божество-андрогина, основной характеристикой которого являлось Движение (ср. и.-е. *ghabh- «давать»/«братъ» < и.-е. *ghei- «двигаться»), которое, в свою очередь, непосредственно связано с божественным фаллическим (креативным) началом: ср. осет. *gæjyn* «соиге». С другой стороны, понятие Огня (и.-е. *gabh- «огонь») непосредственно связано с понятиями Силы и Богатства (ср. нем. *haben* «иметь», но также литовск. *gabūs* «able, skilled»; нидерл. *gaaf* «sound, whole», хет. *ḡap* «gefūgig machen»). Диада «давать»/«братъ» отражает древний ритуал перехода [Геннеп 2002; Bianchi 1986] и олицетворяет чудесные превращения, возникающие в результате жертвоприношения: ср. алб. *habi* «чудо», алб. *habit* «изумлять» [Wlochim 1927].

§ 32. Жилища в древности плелись из веток: ср. англ. *house* «дом» < и.-е. *kau-/*(s)keu-so «schneiden»/«biegen, flechten» > «bedecken» (Pokorny: 951–053); ср. типологически: хет. *weta* «строить» < и.-е. *ued- «плести» и русск. *ветка*. Все скрытое считалось таинством (ср. бретонск. *kuzet* «таинство») [Найдыш 2002]. В честь Жилища совершались сакральные действия (ср. осет. *kusyn* «делать, совершать»), произносились заклинания (ср. др.-в.-нем. *kosian* «произносить, громко говорить» и др.-инд. *kośá* «клятва»). Для освящения Дома жрец несколько раз обходил его (ср. литовск. *kušti* «двигаться, ходить»). Внутри Жилища производились жертвоприношения (ср. др.-англ. *husel* «жертвоприношение»), позволявшие избавляться от злых чар и достигать исцеления (литовск. *kūsti* «выздоровливать», но шведск. диал. *kusa* «накладывать чары»). Дом уподоблялся язычниками Цветку, Мировой Чаше (ср. др.-инд. *kus-uma* «цветок» и латышск. *kuuss* «черепок»): мировая Чаша, согласно древним верованиям, вбирает в себя всю божественную энергию Мироздания и олицетворяет вселенскую Гармонию.

Дом в древности символизировал женское начало и имел ярко выраженную фаллическую символику: ср. греч. οἶκος «дом»: др.-инд. *viś* «дом, стойбище», лат. *vicus* «деревня», но осет. *us, ues* «женщина»; англ. *house* «дом», но шведск. *kusa* «cunus»; ирл. *tech* «дом», но др.-инд. *tuc-* «продолжение потомства». Кроме того, дом, жилище в древности понимались как Космос (ср. англ. *house* «дом» и греч. κοσμος «Weltall, Ordnung; Zier» и тох. *A çosi* «люди» < и.-е. *kes- «рассекать»/«гнуть»); как и Космос, Дом считался воплощением божественной Гармонии и Порядка: ср. др.-инд. *kúśala* «Ordnung; Heil, Glück, Gesundheit». Дом в древности уподоблялся какому-нибудь пресмыкающемуся – символу божественной благости (латышск. *čus-ka* «змея»). Во многих домах содержались змеи как гарантия благополучия дома: ср. лат. *domus* «дом», но и.-е. *dem- «змея» (и.-е. *dem-/*tem- «рассекать»/«гнуть»); др.-англ. *ærn* «дом», но бретонск. *ær* «змея» (и.-е. *ar- «рассекать»/«гнуть»). Дом, жилище – воплощение божественного Первопространства, Первопричины всего сущего (ср. англ. *house* «дом» и лат. *causa* «первопричина»); согласно мифопоэтическим представлениям, Первопространство возникло в результате божественного Удара (и.-е. *kaus-/*keus-/*kes- «ударять»). Интересно, что в английском сленге и в английских диалектах слово *house* означает «внимание» (первоначально «поклонение Божеству»).

Язычники представляли свое Жилище как Посюсторонний мир, неразрывно связанный с Потусторонним миром, с Могилей: ср., с одной стороны, греч. κοσμος «мироздание», а с другой – др.-инд. *śuśih* «chasm, groove» [Hantze 1961; Kramer 1964].

§ 33. Значение «клятва» в древности могло соотноситься со значением «ударить» > «дотронуться» [ср. и.-е. *sek- «ударить», но русск. *pri-syaga*, литовск. *pri-siekti* «клясть»/«гнуть», также «схватить, съестъ» (об огне)]; ср. др.-англ. *ād* «клятва» < и.-е. *ed-/ad- «съестъ» < *edh-/adh- «рвать»/«гнуть» (речь идет о древнем обычае клятвы: человек падал лицом вперед, захватывал ртом комков земли и проглатывал ее); и.-е. *leg-, *lek- «гнуть»/«рвать», но хет. *lenkais* «клятва», ирл. *luge* «клятва»; англ. *swear* «клясться» < и.-е. *(s)uer- «гнуть»/«рвать»; и.-е. *kap-/kep- «рвать»/«гнуть», но др.-инд. *ṣap-* «клясть»; «давать клятву»; осет. *ard* «клятва» < и.-е. *ar- «гнуть, соединять»/«рвать». Вместе с тем в древности практиковалась клятва, осуществляемая путем обхода храма или вообще путем ходьбы: ср. нем. *Eid* «клятва» < и.-е. *ei-dho «ходить»; англ. *swear* «клясть(ся)», но др.-англ. *worian* «ходить»; и.-е. *lek-/le(n)k- «клясть», но др.-англ. *læccan* «быстро двигаться».

§ 34. Значения «рука» и «палец» непосредственно соотносятся со значениями «рвать, бить»/«гнуть» (букв. «то, чем прикасаются, то, чем бьют: удар и прикосновение в древности считались магическими действиями). Ср.: и.-е. *kend- «ударять», но англ. *hand* «рука»; и.-е. *dek- «ударять», но англ. диал. *dook* «рука»; и.-е. *bheg- «ударять», но и.-е. *bhag- «рука» (арм. *bazuk* «рука»); и.-е. *ker- «ударять»/«гнуть», но греч. *χεῖρ* «рука» (др.-инд. *kara* «рука»); и.-е. *men- «ударять, бить, мять», но лат. *manus* «рука»; и.-е. *mer- «бить, ударять», но также «рука»; и.-е. *lep- «ударять»/«гнуть», но др.-англ. *lofa* «рука»; и.-е. *rek- «ударять»/«гнуть», но литовск. *rankà* «рука»; и.-е. *per- «ударять, рассекать», но хет. *per* «рука», «палец»; англ. *finger* «палец», но и.-е. *pe(n)k- «рассекать, бить»/«гнуть»; лат. *digitus* «палец», но и.-е. *dek- «ударять».

§ 35. Значение «пустой» в индоевропейском соотносится со значением «рассекать»: ср. и.-е. *laidh- «рассекать», но нем. *ledig* «пустой»; и.-е. *ler- «рассекать», но нем. *leer* «пустой»; и.-е. *tem- «рассекать», но др.-сев. *tomr* «пустой»; и.-е. *dek- «рассекать», но латышск. *tukšs* «пустой». Пустота в древности считалась символом рождения (ср. латышск. *tukšs* «пустой», но др.-инд. *tuc-* «потомство»; др.-сев. *tomr* «пустой», но тох. *A tām* «рожать»), а также символом силы и здоровья (ср. литовск. *olaus* «ledig», но др.-сев. *ell-jan* «Kraft»; литовск. *kails* «ledig», но др.-инд. *kalyah* «gesund, geschickt»).

§ 36. Согласно древним поверьям, краска, которая использовалась как неотъемлемый элемент сакрального действия, обладала волшебными свойствами, порожденными Божеством: с помощью краски можно не только наложить порчу, но и снять порчу. Развитие значений: «рассекать»/«гнуть» > «бросать, лить, накладывать» (краску): ср. и.-е. *dek- «рвать»/«гнуть», но др.-англ. *déag* «краска»; и.-е. *ker- «рвать»/«гнуть», но и.-е. *ker- «краска»; и.-е. *uer- «рвать»/«гнуть», но др.-инд. *varana-* «краска»; литовск. *dòbti* «бить, рвать», но ирл. *dub* «черный»; и.-е. *uen- «гнуть»/«рвать», но валлийск. *gwyn* «белый», и.-е. *pel- «бить, рвать»/«гнуть», но литовск. *spalva* «краска»; и.-е. *kau-/keu- «рвать»/«гнуть», но др.-англ. *hiew* «краска».

Значение «краска» может соотноситься со значением «исцелять, лечить»: ср. др.-англ. *basu* «ярко-красный», но др.-инд. *bhisaj-* «исцелять, лечить»; и.-е. *kel- «краска», но англ. *to heal* «лечить»; и.-е. *keu-, *kei- «краска», но чешск. *hojiti*, польск. *goić* «исцелять, лечить». Кроме того, краска имела фаллическую символику (продолжение рода): ср. др.-англ. *hiew* «краска», но др.-англ. *hiewan* «соіге»; ирл. *coch* «красный», но и.-е. *kūk- «rudendum»; валлийск. *gwyn* «белый», но хет. *uen* «соіге» [Маковский 2000].

В древности тело человека считалось микрокосмом и делилось, как и макрокосм, на верхний мир, средний мир и нижний мир. Отдельные части человеческого тела раскрашивались в тот или иной цвет в соответствии с символикой цветов [Hill-Paulus, Prosak 1975]. Ср.: англ. *red* «красный», но др.-сев. *redr* «repis»; литовск. *burnà* «рот», но англ. *brown* «коричневый»; и.-е. *ker- «рука», но русск. *красный*, русск. *серый*, русск. *черный*; др.-инд. *kṛsna-* «черный»; англ. *finger* «палец»; но др.-инд. *pingula* «темно-красный»; греч. *ὄρουα* «кишка», но др.-в.-нем. *varwe* «краска»; англ. *mouth* «рот», но и.-е. *mod-ro «синий»; англ. *hand* «рука», но лат. *candidus* «белый» (ср. лат. *candere* «гореть»); и.-е. *el- «локоть» (ср. англ. *elbow*), но лат. *albus* «белый»; латышск. *deguns* «нос»; но др.-англ. *déag* «краска»; ирл. *coch* «красный»; но англ. *cheek* «щека», англ. *hock* «the ankle-joint»,

тох. В *kuke* «пятка»; латышск. *tumšs* «темный», но др.-инд. *dumah* «нижняя часть живота; половые органы»; др.-в.-нем. *dumo* «thumb»; др.-инд. *rāga* «цвет», но литовск. *rankà* «рука»; и.-е. **pel* «краска» (литовск. *spalva* «краска»), но русск. *плечо*, лат. *pelvis* «таз» (часть тела человека); и.-е. **neg^hhros* «почка» (часть тела), но лат. *niger* «черный»; латышск. *mēle* «язык», лат. *mala* «челюсть», но латышск. *melns* «черный»; литовск. *melynys* «голубой»; ирл. *beoil*, ново-ирл. *beal* «рот», но русск. *белый*, англ. *blue* «синий»; русск. диал. *бакитовый* «синий», но др.-инд. *bahu* «рука»; лат. *tergum* «спина», но ирл. *dearg* «красный»; др.-инд. *bhāla* «лоб»; но русск. *белый*, англ. *blue* «синий»; и.-е. **ghel-* «желтый; зеленый»; но нем. *Kehle* «глотка», русск. *чело*.

Значение «краска» может соотноситься с различными чакрами микрокосмоса: ср. др.-в.-нем. *varwa* «краска», но и.-е. **uer-* «верх»; и.-е. **mad-ro* «синий»; но тох. В *mittār* «солнце», и.-е. **med-* «середина» (средний мир); **ker-* «краска», но нем. *Herz* «сердце», др.-в.-нем. *herte* «плечо»; и.-е. **kei-to* «краска», но хет. *katta* «низ» (преисподняя); хет. *antaras* «синий», но русск. *н-утро*: лат. *īteru* «живот; нутро», русск. *утроба*.

Внутренние органы брюшной полости (кишки, печень, селезенка, желудок, почки) в древности уподоблялись языкам пламени. Значение «гореть» в свою очередь тесно связано со значением «говорить» > «предсказывать» (ср. гадание по расположению кишок жертвенного животного): ср. гот. *qifus* «живот, желудок, чрево», но гот. *qifan* «говорить»; греч. ὄρυα «кишка», но и.-е. *uer-* «говорить»; англ. *gut* «кишка», но норв. диал. *gauta* «говорить»; русск. *кишка*, но др.-в.-н. *kosian* «говорить»; греч. κολόν «кишка», но и.-е. **kel* «говорить». Ср. также нем. *Magen* «желудок», но кельтск. **mag* «огонь» [типологически ср.: бретонск. *kof* «желудок; живот» < и.-е. **ker* «гореть»; гот. *qifus* «желудок; живот» < и.-е. **keid-* «гореть»; нем. *Bauch* «живот» < и.-е. **bhok* «гореть»; греч. γαστήρ «желудок» < *γραστήρ < и.-е. **gher-* «гореть» (ср. русск. *желудок* < и.-е. **ghel* «гореть»); греч. ὄρυα «кишка» < и.-е. **uer* «гореть»; литовск. *skilvis* «желудок» < и.-е. **(s)kel* «гореть»; русск. *чрево* < и.-е. **ker* «гореть»; греч. κοιλία «желудок» < и.-е. **kel* «гореть»; литовск. *pilvis* «живот» < и.-е. **pel-* «гореть»; лат. *iesur* «печень» < и.-е. **iek-* «гореть» + и.-е. **uer* «гореть», бретонск. *avi* «печень» < и.-е. **au-* «гореть»]. По внутренним органам жертвенных животных не только гадали, но и колдовали (ср. греч. μαγεία «магия», но и.-е. **mag-* «огонь»). С другой стороны, внутренние органы брюшной полости в древности символизировали сверхъестественную Силу, а также Бытие: ср. нем. *Magen* «живот, чрево», но и.-е. **mag-* «сила» (тох. В *maiyo* «сила») и тох. А *müsk* «быть, существовать». Типологически ср.: ирл. *gailë* «кишка», но литовск. *galià* «сила», греч. ὄρυα «кишка», но латышск. *vara* «сила»; русск. *кишка*, но хет. *kiša* «быть, существовать»; греч. κολόν «кишка», но тох. А *källy-* «быть, существовать».

§ 37. Сакральная игра язычников носила ярко выраженный ф а л л и ч е с к и й х а р а к т е р и представлялась в виде битвы: ср. русск. *игра*, но хет. *ark* «соиге»; осет. *gyrun* «рожать», англ. диал. *reek* «род, клан» и и.-е. **rek-* «бить, рвать», и.-е. *ger-* «бить, рвать» (метатеза); тох. А *kāim* «игра», но и.-е. **gen-* «рожать», но также «бить, мять» (ср. бретонск. *kann* «битва»); осет. *tox* «игра», но др.-инд. *tuc-* «потомство» и и.-е. **dek-* «бить, рвать»; ирл. *im-berim* «играть», но и.-е. **bher-* «родить» и и.-е. **bher-* «бить, рвать» (ср. русск. *борьба*); нем. *Spiel* «игра», но др.-инд. *relah* «половые органы» и и.-е. **pel-* «бить, рвать»; дат. *lege* «играть», но греч. ληκαω «соиге» и и.-е. **lek-* «бить, рвать»; ирл. *cluche* «игра», но англ. диал. *cleck* «родить» и и.-е. **kel-* «бить, рвать» [Хейзинга 1997; Bretherton 1984].

§ 38. Значение «иметь» в индоевропейском соотносится с семантической диадой «рвать»/«гнуть», причем наблюдается двоякое развитие: с одной стороны, значение «рвать, рассекать» может переходить в значение «двигаться» > «продолжать род» > «приобретать потомство» > «потомство как сила и богатство». С другой стороны, значение «бить, тереть, гнуть» непосредственно связано со значением «высекать огонь» > «огонь, схватывающий все, что в него бросают» > «схватить» > «иметь», но также «огонь» > «очаг» > «сила, богатство рода». Относительно первого случая следует учесть лат. *habere* «иметь»: перед нами форма с преформантом от и.-е. **ab-*, **eb-* «гнуть»/«рвать» > «сжимать» > «сила» > «богатство, имущество»: ср. хет. *ep, ap* «fassen,

ergreifen, fangen», но с другой стороны, и.-е. **eib-/*aib-* «двигаться; движение» < и.-е. **ei-, ai-* «двигаться» (семантическая диада «гнуть»/«рвать» непосредственно соотносится со значением «двигаться»: см. выше): ср. также перс. *yāb* «достигать». Значение «двигаться», в свою очередь, как показала Т.М. Толстая (сб. «Концепт движения в языке и культуре». М., 1996), может соотноситься со значением «продолжать род» > «приобретать потомство» > «становиться сильным» > «становиться богатым»: ср. др.-инд. *gabha* «вагина». Типологически ср. и.-е. **der-/*ter-* «рвать»/«гнуть», но и.-е. **der-/*ter-* «быстро двигаться» (ср. нем. диал. *därren* «бежать»), но др.-англ. *teors* «репис», ирл. *torr* «матка» и литовск. *turėti* «иметь». Подобным же образом русск. *иметь* также восходит к и.-е. **ei-mo/*ai-mo* «двигаться» < и.-е. **em-/*am* «рвать»/«гнуть»: и.-е. **om-* «сила» (ср. еще и.-е. **am-/*em-* «гореть»): ср. др.-сев. *ima* «борьба» (в древности фаллическое начало, оплодотворение неизменно связывали с понятием Борьбы); ср. также ирл. *im* «жир, семя» (то, что льют в огонь; то, что забирает огонь). Относительно второго случая следует учесть ирл.: и.-е. *gabh-* «гореть», но лат. *habere* «иметь»; литовск. *turėti* «иметь», но и.-е. **ter-* «огонь; гореть»; русск. *иметь*, но и.-е. **em-* «гореть».

§ 39. По поверьям древних, во время сна происходит отделение души от тела. Ср.: англ. *sleep* «сон», но и.-е. **(s)lep-* «отделять, отрезать» (англ. диал. *to lib* «to cut», нем. диал. *luppen* «отделять»); англ. диал. *to slipe* «to strip, to peel; take off an outer cover; to split, to cut; to remove»; ср., однако, сочетание отрицания **se* + иранск. **lep-/*lap-* «душа», но также др.-англ. *lip* «тело»; др.-англ. *māetan* «спать», но гот. *maitan* «отделять»; англ. *snooze* «спать», но греч. *νύσσω* «бить, отрезать»; русск. диал. *кунетъ* «спать»; арм. *kun* «сон», но и.-е. **ken-* «отрезать, отделять»; греч. *καρόω* «заснуть», но и.-е. **ker-* «отделять»; др.-инд. *sásti*, хет. *šeš* «спать», но др.-инд. *śasti* «отрезать, отделять»; др.-англ. *slu-ta* «сон», но русск. *ломать*; др.-инд. *drāti* «спать», но русск. *драть*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абаев 1988 – В.И. Абаев. К семантике глаголов с основным значением «делать» // ВЯ. 1988. № 3.
- Геннеп 2002 – Ф. ван Геннеп. Обряды перехода. М., 2002.
- Голосовкер 1987 – Я.Э. Голосовкер. Логика мифа. Л., 1987.
- Гура 1997 – А.В. Гура. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.
- Иванов 1975 – Вяч.Вс. Иванов. К типологическому анализу внутренней формы праслав. **čelovekъ* // Этимология. 1973. М., 1975.
- Лушников 2005 – А.С. Лушников. Календари Северной Евразии и Сибири как источник для реконструкции древней картины мира // ВЯ. 2005. № 5.
- Маковский 1968 – М.М. Маковский. Этимология и проблемы филологической достоверности слова // Этимология 1966. М., 1968.
- Маковский 1996 – М.М. Маковский. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. М., 1996.
- Маковский 1999 – М.М. Маковский. Мифопоэтика письма в индоевропейских языках // ВЯ. 1999. № 5.
- Маковский 2002а – М.М. Маковский. Индоевропейский корень: Формы и значение // ВЯ. 2002. № 3.
- Маковский 2002б – М.М. Маковский. Семантика языческих культов // ВЯ. 2002. № 6.
- Маковский 2005 – М.М. Маковский. Удивительный мир слов и значений. М., 2005.
- Мельничук 1986 – А.С. Мельничук. О сущности беглого *-s-* // Этимология. 1984. М., 1986.
- Монич 2005 – Ю.В. Монич. К истокам человеческой коммуникации. Ритуализованное поведение и язык. М., 2005.
- Найдыш 2002 – В.М. Найдыш. Философия мифологии. М., 2002.
- Порциг 1964 – В. Порциг. Членение индоевропейской языковой общности. М., 1964.
- Сукиасян 1984 – Г.Б. Сукиасян. Детерминативы в армянском языке: Дисс. ... канд. филол. наук. Ереван, 1984.
- Топоров 1996 – В.Н. Топоров. Об одном из парадоксов движения // Концепт движения в языке и культуре. М., 1996.
- Топоров 1978 – В.Н. Топоров. К семантике трюничности // Этимология 1977. М., 1978.

- Туманян 1978 – Э.Г. Туманян. Структура индоевропейских имен в армянском языке. М., 1978.
- Хейзинга 1997 – Й. Хейзинга. Homo ludens. М., 1997.
- Элиаде 1994 – М. Элиаде. Священное и мирское. М., 1994.
- Ader 1958 – D. Ader. Studien zur Sippe von deutschen «schlagen». München, 1958.
- Aivanhov 1988 – О.М. Aivanhov. The symbolic language of geometrical figures. Frejus, 1988.
- Bailey 1912 – H. Bailey. The lost language of certain letters, words, names, fairy-tales, folklore and mythologies. 1-2. London, 1912.
- Bianchi 1986 – U. Bianchi (ed.). Transition rites. Cosmic, social and individual order. Roma, 1986.
- Binder 1972 – P. Binder. Magic symbols of the world. London, 1972.
- Blacker, Loewe 1975 – C. Blacker, M. Loewe. Ancient cosmologies. London, 1975.
- Brandstetter 1917 – R. Brandstetter. Reduplication in indianischen, indonesischen und indogermanischen Sprachen. Berlin, 1917.
- Bretherton 1984 – I. Bretherton. Symbolic play. The development of social understanding. Orlando, 1984.
- Buber 1986 – M. Buber. Bilder von Gut und Böse. Berlin, 1986.
- Burland 1974 – C.A. Burland. Myths of life and death. London, 1974.
- Buraud 1961 – G. Buraud. Les masques. Paris, 1961.
- Campbell 1974 – J. Campbell. The mythic image. New York, 1974.
- Clark 1979 – E.V. Clark. The ontogenesis of meaning. Wiesbaden, 1979.
- Colinet 1892 – Ph. Colinet. Essai sur la formation de quelques groupes de racines indoeuropéennes. I. Les préformantes proto-aryennes. Gent; Leipzig; Löwen, 1892.
- Culicover, Watkins 1984 – J. Culicover, W.K. Watkins. Locality in linguistic theory. New York, 1984.
- Deutsch 1979 – E. Deutsch. On truth. An ontological theory. Honolulu, 1979.
- Dornseiff 1925 – F. Dornseiff. Das Alphabet in Mystik und Magie. Leipzig; Berlin, 1925.
- Durand 1980 – G. Durand. La notion de limite dans la morphologie religieuse et les théophanies de la culture européenne // Eranos-Jahrbuch. 49. 1980.
- Edgerton 1958 – F. Edgerton. Indo-European *s-* movable // Language. XXXIV. 4. 1958.
- Ehrismann 1890 – G. Ehrismann. Die Wurzelvariationen **steu-d*, **steu-b*, **steu-g* im Germanischen // PBB. Bd. 19. 1890.
- Emeneau 1968 – M.B. Emeneau. Brahui *sal-/sali-* «to stand»: an etymology // Pratiḍānam. The Hague; Paris, 1968.
- ER 1993 – *The encyclopaedia of religion* / Editor-in-Chief M. Eliade. 1–16. New York; London, 1993.
- ET 1970 – *Essays on topology and related topics*. Berlin, 1970.
- Gonda 1960 – J. Gonda. Ellipsis, brachyology and other forms of brevity in the Rigveda. Amsterdam, 1960.
- Grodeck 1973 – G. Grodeck. Der Mensch als Symbol. Berlin, 1973.
- Hansmann, Kriss-Rettenleck 1977 – L. Hansmann, L. Kriss-Rettenleck. Amulett und Talisman. München, 1977.
- Hantze 1961 – C. Hantze. Das Haus als Weltort der Seele. Berlin, 1961.
- Hollander 1905 – D.M. Hollander. Prefixal *s-* in Germanic. Baltimore, 1905.
- Hill-Paulus, Prosak 1975 – B. Hill-Paulus, H. Prosak. Farben in uneigentlicher Verwendung: Forschung und Lehre // Festschrift für J. Schröpfer. Hamburg, 1975.
- Jēgers 1949 – B. Jēgers. Verkannte Bedeutungsverwandtschaften baltischer Wörter. Diss. Göttingen, 1949.
- Karstien 1971 – H. Karstien. Infixe im Indogermanischen. Heidelberg, 1971.
- Kramer 1964 – K.-S. Kramer. Das Haus als geistiges Kraftfeld der alten Volkskultur // Rhein.-westfäl. Zeitschrift für Volkskunde. XI. 1964.
- Lommel 1970 – A. Lommel. Maske. Geschlechter der Menschheit. Berlin, 1970.
- Lurker 1990 – M. Lurker. Vom Sinn der Maske // M. Lurker. Die Botschaft der Symbole in Mythen, Kulturen und Religionen. München, 1990.
- Lurker 1991 – M. Lurker. Wörterbuch der Symbolik. Stuttgart, 1991.
- Mallory, Adams 2006 – J. Mallory, D. Adams. Encyclopaedia of Indo-European culture. London, 2006.
- Mann 1958 – S.E. Mann. Initial *x/s* in the Slavonic languages // Slavonic and East European review. 1958. 88.
- Mann 1987 – S.E. Mann. An Indo-European comparative dictionary. Hamburg, 1987.
- Miquel 1991 – D.P. Miquel. Dictionnaire symbolique des animaux. Zoologie mystique. Paris, 1991.
- Miller 1977 – D.G. Miller. Some theoretical and typological implications of the Indo-European root-structure constraint // JIES. 1977. № 5.
- Mensching 1950 – G. Mensching. Gut und Böse im Glauben der Völker. Berlin, 1950.

- Needham 1973 – *R. Needham* (ed.). Right and left. Essays on dual symbolic classification. Chicago, 1973.
- Neff 1980 – *M.S. Neff*. Germanic sacrifice: An analytical study using linguistic, archaeological and literary data. Austin (University of Texas). Ph. D. Diss., 1980.
- Persson 1891 – *P. Persson*. Studien zur Lehre von der Wurzelerweiterung und Wurzeltermination. 1–2. Uppsala, 1891.
- Pokorny 1959 – *J. Pokorny*. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern; München, 1959.
- Schrijnen 1908a – *J. Schrijnen*. Präformanten // KZ. 42. 1908.
- Schrijnen 1908b – *J. Schrijnen*. Étude sur le phénomène de l's mobile dans les langues classiques et subsidiairement dans les groupes congénères. Lonvain, 1908.
- Schwartz 1947 – *B. Schwartz*. The root and its modifications in primitive Indo-European. Baltimore, 1947.
- Siebs 1907 – *Th. Siebs*. Anlautstudien / KZ. 37. 1907.
- Silva-Taronca 1955 – *A. Silva-Taronca*. Die Philosophie der Polarität. Berlin, 1955.
- Trost 1929 – *P. Trost*. Worttabu. Prag, 1929.
- Watts 1963 – *A.W. Watts*. The two hands of God. The myths of polarity. New York, 1963.
- Wlochim 1927 – *K. Wlochim*. Studien zu den idg. Ausdrücke für Geben und Nehmen. Diss. Wien, 1927.
- Zischka 1977 – *U. Zischka*. Zur sakralen und profanen Anwendung des Knotenmotivs als magisches Mittel, Symbol und Dekor. München, 1977.

© 2007 г. Ф.И. РОЖАНСКИЙ

РЕДУПЛИКАЦИЯ И НАЗВАНИЯ ЖИВОТНЫХ В АФРИКАНСКИХ ЯЗЫКАХ*

Статья посвящена одному аспекту редупликации, а именно – редуплицированным названиям животных в африканских языках. Такие названия встречаются во всех из девяти рассмотренных языков, относящихся, по большей части, к разным языковым семьям. Для объяснения причин этого феномена выдвигается гипотеза о семантической обусловленности редуплицированных форм, происходящей из иконической сущности редупликации. На основе эмпирических представлений об иконичности выделяется список признаков, наличие которых могло бы определить появление редуплицированной формы. Рассмотренный материал позволяет сделать вывод о том, что большинство предложенных признаков оказывается релевантным, то есть, чем большим числом признаков обладает соответствующее животное, тем выше вероятность того, что его название будет редуплицировано.

Редупликация, то есть неслучайный повтор слова или его части¹, как языковое явление была известна издавна. Действительно, во всех древних языках, на основе которых происходило формирование лингвистической теории (в древнегреческом, латыни, санскрите, древнемецком) встречается множество редуплицированных форм, относящихся к самому центру грамматики (например, к системе глагольных времен). Все же длительное время редупликация оказывалась на периферии лингвистических интересов, лишь изредка привлекая внимание исследователей. Первым фундаментальным исследованием на тему редупликации следует считать монографию [Pott 1862]. Более частные вопросы рассматривались в работах [Fritzsche 1873; Hopkins 1893; Wood 1895] и др. Ко второй половине XX в. интерес к редупликации заметно возрос. основополагающей работой стала статья [Moravcsik 1978], в которой были обобщены основные принципы классификации рассматриваемого языкового явления: противопоставлялась мономодальная и бимодальная редупликация (первая с повтором либо формы, либо значения, вторая – с повтором на обоих уровнях), проводились различия между полной и частичной редупликацией (последняя подразделялась на начальную, конечную и внутреннюю), анализировались различные семантические функции редупликации и пр.

С конца XX в. редупликация попала в число феноменов, привлекающих особенно пристальное внимание. Интерес к ней вызван разными причинами. Во-первых, активное освоение материала «экзотических» языков показало, что редупликация является одним из важнейших языковых механизмов, используемых как для формообразования (категория числа у имени, видо-временные системы у глагола), так и для словообразования. В современных описаниях языков Азии, Африки, Америки, Австралии, Океании практически всегда встречается раздел, посвященный редупликации, а иногда она ста-

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 05-04-04051а.

¹ Естественно, не всякий повтор можно однозначно отнести к редупликации. Так, существуют определенные проблемы при отнесении к редупликации случаев удлинения гласных и геминации согласных (см., например [Moravcsik 1978: 299; Рожанский 2000: 347]). Редупликации могут подвергаться последовательности большие, чем слово (см. [Adewole 1997: 115–116]). Но поскольку вопрос об объеме понятия «редупликация» несомненно заслуживает отдельного исследования, мы не будем рассматривать его детально в данной работе.

новится основной темой исследования, посвященного конкретному языку (таких исследований немало, см., например [French 1988; Sanchez, Stevens 1992; Huges 2000; Urbanczyk 2001; Sperlich 2001; Stonham 2004]). Во-вторых, такое обилие материала стало требовать типологических обобщений, что привело к появлению обзоров редупликации в языках определенных семей и регионов ([Алиева 1991; Fabricius 1998; Al-Hassan 1998; Vuogi 2000; Рожанский 2000; Минлос 2004]). Это направление исследований, впрочем, находится еще в начальной стадии развития. Так, несмотря на то, что редупликация обильно представлена в большинстве африканских языков, практически отсутствуют публикации по типологии африканской редупликации (исключениями являются упомянутые работы [Al-Hassan 1998] и [Рожанский 2000]). В-третьих, стало ясно, что даже в современных европейских языках редупликация, хотя и находится на языковой периферии, все же представляет достаточно интересный феномен [Thun 1963; Lloyd 1966; Hladky 1998; Lindström 1999; Scullen 2002]. В-четвертых, изучению редупликации способствовал возросший интерес к звукообразности – среди звукообразных слов редуплицированные слова нередко составляют добрую половину ([Apte 1968; Bhaskararao 1977; Kulemeke 1995] и др.). Наконец, заметная часть работ была посвящена исследованию редупликации как языкового феномена с точки зрения современных лингвистических теорий (особенно теории оптимальности), где предпринимались попытки объяснить появление тех или иных форм на основе некоторых универсальных правил формальной фонологии и морфонологии [Wilbur 1973; Marantz 1982; Broselow, McCarthy 1984; McCarthy, Prince 1995; Raimy 2000; Inkelas, Zoll 2005].

Несмотря на изрядное число публикаций, в исследовании редупликации до сих пор имеется немало лагун. Прежде всего это касается теоретического осмысления редупликации как языкового феномена. Объем понятия «редупликация» заметно варьирует в работах разных исследователей. Предлагаемые определения (если они претендуют более чем на рабочее определение, служащее задачам конкретного исследования) оставляют желать лучшего². При этом возросший интерес к формальной стороне рассматриваемого явления во многом затмил проблемы, связанные с функционированием редупликации в системе языка. Обычно мы сталкиваемся лишь с перечислением относительно небольшого набора значений, характерных для редупликации. Что же касается причины появления редуплицированных форм и их соотношения с другими языковыми механизмами (прежде всего с аффиксацией), то эти вопросы изучены относительно слабо.

В данной работе мы остановимся на анализе одного факта, который, хотя и кажется на первый взгляд достаточно частным, все же связан с некоторыми глобальными принципами функционирования редупликации. Известно, что во многих африканских языках среди названий животных регулярно встречаются редуплицированные слова. Существуют ли какие-то мотивы, определяющие появление этих редуплицированных слов? Мы попытаемся доказать, что такие мотивы не только существуют, но и подчиняются вполне прозрачным закономерностям.

Редупликация известна, прежде всего, как иконическое языковое средство (см., например [Dressler 1995; Hammer 1997; Kouwenberg, LaCharité 2001; Kulikov 2005]), причем проявления ее иконической сущности достаточно разнообразны. К наиболее очевидным случаям иконической редупликации можно отнести, например, образование мно-

² Например, определение редупликации, приводимое на сайте Университета города Грац (где развивается интереснейший проект, касающийся редупликации), выглядит следующим образом: «A reduplicative construction is a set of at least two linguistic forms F and F' in a paradigmatic, i.e. non-suppletive morphological relation in which F' contains a segment or a sequence of segments, which is derived from a non-recursive repetition of (a part of) F. Reduplication exists, if a specific grammar makes systematical use of reduplicative constructions» (<http://ling.uni-graz.at/reduplication/>). Очевидно, что под это определение не попадает огромное количество случаев редупликации, не имеющих исходного передуплицированного коррелята, в частности, практически все случаи, рассматриваемые в настоящей работе.

жественного числа в хауса (*magana* 'слово' – *maganganu* 'слова') или образование глаголов с семантикой множественности в сонгай (*hondu* 'холм' – *hondu-hondu* 'быть холмистым, покрытым холмами'). Однако далеко не всегда редуплицированное слово имеет нередуплицированный коррелят, служащий эталоном для сравнения семантики, да и сама иконическая семантика может оказаться менее очевидной, чем в приведенных выше примерах. Для названий животных появление редуплицированной формы, на первый взгляд, может показаться ничем не обусловленным, тем более что наличие исходного нередуплицированного коррелята в данном классе слов встречается нечасто. Все же во многих случаях появление редуплицированных форм имеет семантические причины, и эти причины связаны, прежде всего, с иконичностью редупликации.

Прежде чем перейти к непосредственному анализу языкового материала, следует сделать несколько замечаний, касающихся понятия «иконичность». Иконичность, то есть корреляция между означаемым и означающим языкового знака, при редупликации определяется двумя паттернами. Первый из них связан с повтором и, следовательно, множественностью. В результате редупликация является носителем разнообразной количественной семантики: мультипликативности, итеративности, дистрибутивности, аугментативности, аттенуативности и пр. Вероятно, с этим же паттерном связана экспрессивная функция редупликации (повтор служит для усиления и акцентирования выражаемого смысла). Вторым паттерном несколько менее очевиден. Он определяется тем, что редуплицированная форма похожа на свой нередуплицированный коррелят, но не является им. Тем самым редупликация может выражать значение «быть похожим на X (но не совпадать с ним)»³. Сюда же, судя по всему, следует отнести и семантику пейоративности (типичную для редуплицированных форм). Хотя на первый взгляд пейоративность не относится к очевидной иконической семантике, несложно вспомнить такой пример, как намеренное искажение имени человека с целью задеть или обидеть его (то есть отличное от правильного использования этого самого имени). Пейоративность также типична для некоторых типов редуплицированных конструкций, например, для «шм-редупликации» («комплекс-шмомплекс» и др.)⁴ (см. [Минлос 2004]).

Как же иконическая сущность редупликации могла бы проявляться в названиях животных? Говоря другими словами, для каких животных мы могли бы ожидать появление редуплицированной формы? Приведем список, составленный на основе эмпирических представлений о том, как свойства животных могут соотноситься с иконической семантикой редупликации:

- (1) животные, которым свойственно собираться большими группами;
- (2) животные очень крупного размера;
- (3) животные очень мелкого размера;
- (4) животные, которые совершают быстрые движения (например, своими конечностями);
- (5) животные, которые движутся по неровной траектории (зигзагами или хаотично);
- (6) животные, имеющие неоднородную структуру тела (прежде всего, состоящую из двух, как бы отдельных, частей);
- (7) животные с неоднородной (многоцветной, пестрой) окраской;
- (8) животные, покрытые множеством колючек;
- (9) животные, вызывающие отрицательные эмоции (прежде всего, пренебрежение и отвращение).

³ Например, в хауса (см. [Щеглов 1970]): *mutum* 'человек' – *mutum-mutum* 'огородное пугало'; *toka* 'зола' – *toka-toka* 'серый'.

⁴ Впрочем, здесь не последнюю роль в образовании пейоративной семантики играет сегмент «шм-», обладающий звукосимволической интерпретацией.

В этом списке только последний тип животных соотносится со вторым паттерном редупликации⁵, остальные же проистекают из первого паттерна⁶.

Кроме того, может существовать еще одна довольно прозрачная причина появления редуплицированной формы у названия животного – это обычное звукоподражание, то есть имитация повторяющихся звуков, издаваемых животным.

Для проверки предлагаемой гипотезы об иконичности редупликации в названиях африканских животных использовался материал нескольких африканских языков, относящихся к разным языковым группам⁷. В список были включены девять языков: фула (северная ветвь западноатлантических языков нигероконголезской макросемьи), киси (южная ветвь западноатлантических языков нигероконголезской макросемьи), кабье (семья гур нигероконголезской макросемьи), були (семья гур нигероконголезской макросемьи), нупе (бенуэ-конголезская семья нигероконголезской макросемьи⁸), бамана (семья манде нигероконголезской макросемьи), догон (изолят в нигероконголезской макросемье), сонгай (традиционно считается нилосахарским языком, но окончательно не классифицирован даже на уровне принадлежности к макросемье), лингала (группа банту нигероконголезской макросемьи). Для каждого языка были отмечены те названия животных, которые в нем оказались редуплицированы⁹.

Основным параметром для анализа стало количество языков, в которых была зафиксирована редуплицированная форма для обозначения некоторого животного (как такового или его конкретного вида). Кроме того, учитывалось, какое количество видов данного животного оказывалось редуплицированным в каждом языке. На основании этих признаков все животные были разделены на несколько классов.

Первый класс включает животных, редуплицированные названия которых существуют по крайней мере в 4–5 языках из списка и при этом появление редуплицированной формы характерно для различных видов соответствующего животного.

– **муравьи:** **бамана:** *méléméné* ‘маленький муравей’, *méléménébílén* ‘маленький красный муравей’; **догон:** *mené-mené* ‘маленький муравей’; **лингала:** *kakaro*¹⁰, *loselele* ‘белый муравей’, *nsesele* ‘маленький муравей’, *monuono* ‘маленький черный муравей’; **фула:**

⁵ Забегая вперед, заметим, что основное значение второго паттерна («быть похожим на...») слабо представлено среди названий животных. Хотя мы встречаем случаи, когда название одного животного является редуплицированным названием другого животного (например, в сонгай *farka* ‘осел’ – *farka-farka* ‘египетский бегунок’), они достаточно редки и не обнаруживают каких-либо межъязыковых закономерностей.

⁶ Приведенный список покрывает разнообразные проявления количественной семантики. Это может быть и размер животного, и многоцветность его окраски, и траектория движения, как бы состоящая из множества частей, и особенности структуры тела, не позволяющие рассматривать его как «единое целое». Возможно, есть и другие случаи соотношения количественной семантики со свойствами животных, однако нам они не известны.

⁷ Можно сказать, что выбор языков был относительно произвольным, поскольку он не основывался на каких-либо типологических особенностях языков – важнее было наличие достаточно качественного словаря. Для анализа универсальных тенденций такой подход представляется более уместным, чем отбор на основе каких-либо языковых свойств.

⁸ Ранее нупе относили к языкам ква, однако впоследствии состав этой семьи был существенно пересмотрен.

⁹ При этом учитывались разные виды редупликации – и полный повтор и повтор части слова (например, одного слога). Частичная редупликация учитывалась тогда, когда были достаточно веские основания считать повтор неслучайным.

¹⁰ Отсутствие перевода означает, что в словаре содержался только общий перевод (без указания конкретного вида), соответствующий заголовку абзаца в данной статье (например, в данном случае это «муравей»). Заметим также, что в тех редких случаях, когда приводимая в словаре точная номинация животного вызывала серьезные сомнения в своей правильности (например, указанный вид не встречается в Африке), мы заменяли ее на более общую (например, «вид ящерицы»). Очевидно, что такая замена не влияет на результаты исследования.

kirikiriwu ‘большой черный муравей’; **нупе:** kaṭikaṭi ‘вид большого красного муравья’, pùtarùta ‘вид черного муравья’, mìnìmìnì ‘очень маленький красный муравей’, zùnzùngi ‘муравей (родовое имя)’, gogo ‘вид черного муравья’; **киси:** fòdòfòbòbò ‘черные и желтовато-оранжевые муравьи’, sìsìṅṅdo ‘муравей, муравей фараонов’;

– **змеи:** **бамана:** tùtù ‘гадюка (Bitis lachesis et arietans)’, kǎnkankan ‘змея (Meheliya cros-si)’, fòròkòfàràkà ‘гадюка (Causus rhombeatus)’, fónfónnín ‘гадюка (Causus rhombeatus)’; **догон:** bozo-bozò ‘змея, живущая в хижинах’, gàba-gabá ‘кобра (Naja nigricollis)’, kózu-kòzù ‘гадюка (Echis carinatus)’, kùlu-kulù ‘змея (Bitis lachesis)’; **були:** duduruk ‘ядовитая змея’; **киси:** yààyaá ‘вид змей’;

– **пчелы и осы:** **лингала:** ligbagbato ‘оса’, engbongboka ‘шершень’, gunzagunza ‘шершень’, bangunjagunja ‘шершень’, limbambabole ‘пчела-каменщица’, **сонгай:** bimbim ‘оса’; **нупе:** lànkràvuvuv ‘виды осы, которые строят глиняные конусы’; **киси:** ṛólinòlìbò ‘пчела’, síékísíékíó ‘насекомое типа пчелы’.

Второй класс составили животные, редуцированные названия которых наблюдались в 3–4 языках (при отнесении слова к данному классу не требовалось, чтобы редуцированные формы возникали в одном и том же языке у различных видов животного). Здесь появление редуцированных форм тоже нельзя считать случайным. Этот класс животных значительно больше, чем первый. К нему относятся:

Членистоногие

– **бабочки:** **бамана:** nfírinnfirín, prérénprérén; **догон:** gɔmɔ-na-gɔmɔ = gɔmbu-na-gɔmbu = gɔmbɔ-gɔmbɔy¹¹; **лингала:** limbomboli = lombomboli, ерелеба; **нупе:** namràràgi ‘бабочка, мотылек’;

– **гусеницы:** **догон:** guzu-ná:-guzu ‘черная волосатая гусеница’; **лингала:** nsusu ‘черная гусеница’; **нупе:** dàmḍdámági ‘гусеница, поседающая траву’, didigün ‘гусеница, которая собирает траву на своей спине’; **кабье:** atótóhnamoúóm ‘вид зеленой гусеницы (особенно на овощах)’;

– **пауки:** **лингала:** limpalututu, ekbekelekbeke ‘большой паук’; **фула:** tawtaw; **сонгай:** tataaru;

– **мухи:** **бамана:** músúmúsú ‘все виды маленьких мушек’, wéléwélé ‘мухи, которые производят немного воска и меда’; **догон:** birì-birí ‘маленькие жалящие мухи’; **лингала:** li-rokoro ‘слепень’;

– **кузнечики:** **бамана:** ncéncènnín; **лингала:** likelele, lilele, lipalala, nzenze; **киси:** túṛótúṛób = tónḡótónḡób ‘большой кузнечик’, siàm síámndó ‘вид маленького длинного съедобного зеленого кузнечика’.

Птицы

– **ласточки:** **догон:** wele-welé; **лингала:** londendenge; **фула:** bilibiliiru, libilibi[iru]; **нупе:** krandiàdiálúgi ‘ласточка-касатка, стриж’;

– **трясогузки:** **лингала:** mobendubendu, mobilubelu; **сонгай:** layuaya; **нупе:** bàwòn-bàwògi ‘желтая трясогузка’, tsáwòntsáwògi ‘желтая трясогузка’;

– **голуби:** **лингала:** ekooba, еропо; **сонгай:** bedebede ‘вид голубя’, tutu = tuutuu ‘вид горлицы’, gubaguba ‘вид голубя’; **нупе:** lükukù, fofogi ‘маленький красный голубь’; **киси:** bóḍḗbóḍḗndó ‘голубь с зеленым кольцом перьев вокруг шеи’;

– **индюки:** **бамана:** kùlókùlò ‘индюк’; **нупе:** tòlòtòlò; **кабье:** toloótoloó; **були:** tolotolo;

– **воробьи:** **лингала:** alikilikəsə; **фула:** hudu-huda ‘воробей, воробьи (коллект.)’; **кабье:** síwciw ‘птица типа воробья’;

– **утки:** **лингала:** lisweiswei; **нупе:** gbàngbǎ; **кабье:** krapafii;

¹¹ Знаком равенства мы отмечаем формы, которые следует квалифицировать как варианты одной и той же лексемы.

– *зимородки*: лингала: nsengengeli, kengelele; сонгай: kaakaajif = kakaajuf; кабье: kra-kralihañ ‘вид голубого зимородка’;

– *вороны и воробьи*: сонгай: gaagugaagu ‘пестрая ворона’; нупе: kwankwa ‘ворона’; лингала: ераранга ‘ворон’; кабье: kókolúw ‘ворон’.

Рептилии и земноводные

– *ящерицы*: догон: gǎngǎn ‘вид ящерицы’; лингала: liwalatata ‘большая ящерица’, kanyonyo, nkanyonyo, nseletete, monseletete, ngengeti; сонгай: боллаборла ‘вид ящерицы, живущей в домах’; нупе: gbǎgbǎlú ‘вид ящерицы’, latswálatswági ‘геккон’, mànlélégi ‘геккон или ночная ящерица’, mànlwòlwògi ‘вид ящерицы’;

– *жабы и лягушки*: лингала: ligbololo ‘жаба, лягушка’; кабье: raprapuw ‘жаба’; киси: dèndènkùéíyó = dòndònkùéíyó; догон: dyamba-dyambá ‘маленькая красная лягушка’; киси: ñóóñóóñdó ‘лягушка-бык’;

– *черепахи*: бамана: kògókàrà = kòogókàarà ‘большая черепаха’; лингала: nzenze ‘черепаха’, ndèndeke ‘морская черепаха’; фула: huugu-haagaare.

Черви

– *черви*: лингала: mbombo ‘древесный червь, древооточец’; нупе: kràkràgà ‘солитер’, gbokukù ‘шелкопряд’; кабье: kunukúnu ‘гвинейский червь’; були: temeluk ‘червь, большой червь’.

Млекопитающие

– *летучие мыши*: догон: kizu-kizu, dyamba-dyambá ‘крылан’; фула: bilibiliigu, сонгай: tafirfir = atafirfir;

– *шакалы*: лингала: mobwabwa; фула: doldolnde; кабье: kánkán ‘полосатый шакал’.

Т р е т ь и й к л а с с составили животные, редулицированные названия которых были зафиксированы в двух языках. В такой ситуации можно предположить либо относительно случайное появление этих редулицированных форм, либо, наоборот, случайное совпадение причин, по которым такие формы были обнаружены лишь в двух языках.

К таким животным относятся:

Членистоногие

– *комары*: лингала: lombembete, ngungu, mongungu; сонгай: nama-nama;

– *сколопендры*: догон: ulún-boro-borò, sá-genne-gennè; фула: lingolingoore.

Млекопитающие

– *крысы*: догон: guzu-guzú ‘большая крыса’; киси: bùùlèbùùlísó ‘вид крысы’, sùwá-sùwáá = sùásùáá ‘вид большой крысы’.

Птицы

– *козодои*: лингала: lobobota; сонгай: jirbi-jirbi;

– *дрозды*: лингала: komu kololo; сонгай: garaasa-garaasa ‘вид дрозда’;

– *колибри*: лингала: tete; нупе: yeremiyeremi ‘вид колибри’;

– *чирки*: лингала: eloilo; нупе: wósiwósigi;

– *птицы-носороги*: нупе: gbàndungbàndun; киси: bèlànjbèlànndo, fǒñófǒñóó.

Ч е т в е р т ы й к л а с с составили животные, редулицированные названия которых были зафиксированы лишь в одном языке, что можно рассматривать, как отсутствие универсальных семантических причин для появления редулицированной формы (то есть, если для этого и существовали какие-то причины, то они полностью определялись конкретным языком). Названия, попавшие в этот класс, можно объединить с названиями, у которых вообще не было зафиксировано редулицированной формы. Число таких животных довольно велико, и мы не будем приводить полный список.

Представленный материал позволяет констатировать, что у разных животных тенденция иметь редуцированные названия различна: первый класс характеризуется сильной тенденцией к редукации, второй класс – выраженной тенденцией к редукации, третий класс – слабой тенденцией к редукации, четвертый класс – отсутствием редукации или ее окказиональным появлением.

Несомненно, существует целый ряд причин, которые могут вносить погрешность в распределение слов по классам. Таковыми причинами, в частности, являются:

1) Недостаточно аккуратная подача рассматриваемого класса лексики в словарях. Например, название животного могло не попасть в словарь или в силу объективных или субъективных причин иметь недостаточно детальное толкование (в словарях нередко дается очень приблизительный перевод, например, «небольшая птица» или «птица не идентифицирована»).

2) Несоответствие биологической и наивной классификации животных. Так, разные виды животных, имеющие внешне сходные признаки, могут обозначаться одним словом, а различие между козой и овцой (относящимся к одному семейству) может считаться значительно более важным, чем различие между летучей мышью и ласточкой (относящимся к разным классам).

3) Недостаточно обширная подборка языков. Очевидно, что то же самое исследование, проведенное на материале, допустим, ста языков, дало бы более представительное распределение.

4) Не у всех животных одинаковая территория распространения – в некоторых языках название животного может вообще отсутствовать (соответственно, его не будет и в списке редуцированных названий).

Однако, несмотря на возможные погрешности, получившееся распределение по классам оказалось в высшей степени показательным.

Наиболее часто редуцированные названия (первый класс) наблюдаются у муравьев, змей и пчел / ос. Муравьи – это мелкие животные, которым свойственно собираться большими группами, которые имеют специфическую структуру тела (тело состоит как бы из двух частей) и которые движутся по неровной траектории (движение муравьев можно охарактеризовать как хаотичное). Пчелы и осы также имеют специфическую структуру тела, у них часто встречается пестрая окраска, и некоторые их виды склонны собираться в большие группы. Что же касается змей, то они движутся по неровной траектории и, как правило, вызывают довольно сильные эмоции (скорее, отрицательного типа). Некоторые змеи также имеют пеструю окраску. Таким образом, животные этого класса обладают более чем одним свойством, которое предрасполагает к появлению редуцированной формы.

Появление редуцированных форм у животных второго класса тоже достаточно мотивировано. Бабочки, ласточки, трясогузки, воробьи, летучие мыши склонны к частым повторяемым движениям¹² (прежде всего, крыльев, а у трясогузок также и хвоста). Бабочки и летучие мыши движутся по неровной траектории. Специфический способ передвижения наблюдается у ящериц (они движутся «перебежками»), лягушек и кузнечиков (они движутся «прыжками»), червей и гусениц (они ползают, извиваясь или изгибаясь). Специфическая «ковыляющая» походка характерна для ворон, черепах, жаб. Для воробьев, мух и саранчи характерно собираться группами (внутри которых можно наблюдать хаотическое движение отдельных индивидуумов). Что касается голубей, уток, индюков, то здесь основной причиной появления редуцированных форм становится подражание характерным звукам, издаваемым животными. Особенно очевидно это для индюков, названия которых имеют несомненное сходство в разных язы-

¹² Ср. с аналогичной семантикой ('ситуация, состоящая из множества микроситуаций'), мотивирующей редукацию в глагольных формах. См., например, про санскритский презент [Kulikov 2005: 442–443].

ках: *tòlđtòlđ* (нупе), *toloótoloó* (кабье), *tolotolo* (були), *kilókiló* (бамана)¹³. Вероятно, что и у кузнечиков появление редулицированной формы может быть мотивировано издаваемыми ими звуками. Наиболее проблемными в этом списке оказываются шакалы. Возможно, что тут мы имеем дело с достаточно пренебрежительным отношением к этому животному.

Появление редулицированных форм у животных третьего класса в некоторых случаях достаточно прозрачно (например, колибри совершает частые движения крыльями и по траектории движения в определенной степени сходна с бабочкой), в других же (например, для дрозда) совсем не очевидно.

Таким образом, можно сделать ряд выводов, касающихся появления редулицированных форм в названиях животных.

1) В целом, появление редулицированных форм у названий животных имеет несомненную семантическую мотивацию. Семантические признаки, выведенные на основе представлений об иконичности, наблюдаются прежде всего у тех животных, для которых действительно характерно редулицированное название. Таким образом, можно однозначно констатировать иконическую сущность редуликации в названиях животных.

2) Не все свойства, которые, как предполагалось, могут влиять на появление редулицированных форм, оказались одинаково значимыми. Например, редуликация нехарактерна для крупных животных (так, в рассмотренных языках такие животные, как слон или лев ни разу не были представлены редулицированными формами). Свойство «наличие колючек» оказалось значимым лишь в ограниченной степени (редулицированные названия для ежа были зафиксированы в языке фула: *samsamudu*, *huuruhaaraare*, для дикобраза – в кабье: *samúsamá*). Остальные же свойства оказались релевантными, среди них наиболее выраженную тенденцию к редуликации обеспечивают свойства (см. выше): (1) склонность собираться большими группами, (4) склонность совершать быстрые движения, (5) неровная траектория движения, (6) неоднородная структура тела.

3) Существуют как общие закономерности, определяющие появление редулицированных форм, так и особенности, свойственные конкретному языку. Например, для крупных хищных животных и птиц нехарактерно появление редулицированных форм. Однако в языке лингала мы наблюдаем ряд редулицированных названий крупных хищных птиц (*lilelebe* ‘коршун, беркут’, *mbembe* ‘ястреб’, *nkombekombe* = *kombekombe* ‘гриф’), при том, что в других рассмотренных языках ни одного такого названия не встретилось.

4) Появление редулицированных форм не имеет «жесткой» семантической обусловленности. Так, мы привыкли наблюдать в языках более или менее четкую связь между грамматическими показателями и значением, например, наличие показателя множественного числа почти всегда подразумевает множественность денотата, а его отсутствие единичность денотата (либо множественное число означает множественность денотата, а отсутствие показателя множественного числа свидетельствует о нерелевантности этого признака). Что же касается редуликации в названиях животных, то с типологической точки зрения она явно факультативна. Редуликация является именно тенденцией, но никак не грамматическим правилом. Особенно ярко это заметно при анализе синонимичных слов, где одно из них является редулицированным, а другое нет. Например, в лингала мы наблюдаем такие пары: *ekólóli* ~ *ekóli* ‘дикая утка’, *nkombe* ~ *nkombekombe* ‘гриф’.

5) Редуликация не обязательно проявляется в «чистом виде», когда повторяемый сегмент легко определим и сам факт повтора не вызывает сомнения. Встречаются случаи (условно названные нами «квазиредуликацией»), когда в слове наблюдается повто-

¹³ Не исключено, что в бамана дополнительная мотивация связана с глаголом *kúló* ‘кричать, вопить’.

рение какого-либо фонетического сегмента, но структура слова не подчиняется четко описываемому правилу (вероятно, что «квазиредупликация» сродни такому явлению как рифма). Так, например, выглядят названия некоторых животных в були:

balang-guang / banang-guang 'кузнечик (зеленого цвета)'

bebelik '1 вид насекомого (вид сверчка, черного цвета, летающий), 2 термит'

jinjaanung 'летучая мышь (слово употребляется по отношению к более крупным видам летучих мышей)'

kingkering 'муравей (темный, кусается, меньше и темнее, чем kolongkong)'

kolongkong / kalekong / kalongkong 'большой коричневый муравей'

kringkring 'летучая мышь, живущая в домах (меньше, чем jinjaanung)'

vusunvung 'глиняная оса, каменная оса'

yueng-peng 'западноафриканский еж (*Erinaceus albiventris*)'.

Несложно заметить, что в этом коротком списке представлены те самые животные, для которых характерно редуцированное название.

Проведенное исследование показывает, что даже те случаи редукации, которые, на первый взгляд, не имеют очевидного объяснения, возникают как результат действия вполне определенных семантических причин. Само же понятие редукации нельзя ограничивать жесткими рамками, исключаящими, например, случаи с отсутствующим исходным нередуцированным словом. Ведь именно к этому типу редуцированных слов относится подавляющее большинство примеров из данной работы. А они демонстрируют не только формальные, но и семантические признаки редукации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алиева 1991 – *И.Ф. Алиева*. Удвоение как грамматический способ (на материале языков Юго-Восточной Азии) // *Морфема и проблемы типологии*. М., 1991.
- Зубко 1980 – *Г.В. Зубко*. Фула-русско-французский словарь. М., 1980.
- Минлос 2004 – *Ф.Р. Минлос*. Редупликация и парные слова в восточнославянских языках. Дисс. ... канд. филол. наук. М., 2004.
- Рожанский 2000 – *Ф.И. Рожанский*. Редупликация в Западной Африке // *Основы африканского языкознания. Морфемика. Морфонология*. М., 2000.
- Топорова 1983 – *И.Н. Топорова*. Лингала-русский словарь. М., 1983.
- Щеглов 1970 – *Ю.К. Щеглов*. Очерк грамматики языка хауса. М., 1970.
- Adewole 1997 – *S.M. Adewole*. Reduplication in Yoruba // *Linguistique Africaine*. 1997. 18.
- Al-Hassan 1998 – *B.S.Y. Al-Hassan*. Reduplication in Chadic languages. Frankfurt-am-Main, 1998.
- Apte 1968 – *M. Apte*. Reduplication, echo formation, and onomatopoeia in Marathi. Poona, 1968.
- Bailleul 1981 – *Ch. Bailleul*. Petit dictionnaire Bambara-Français Français-Bambara. England, 1981.
- Banfield 1914 – *A.W. Banfield*. Dictionary of the Nupe language. V. 1. Nupe-English. Shonga (N. Nigeria), 1914.
- Bhaskararao 1977 – *P. Bhaskararao*. Reduplication and onomatopoeia in Telugu. Poona, 1977.
- Broselow; McCarthy 1984 – *E. Broselow, J. McCarthy*. A theory of internal reduplication. *The linguistic review*. 1984. 3.
- Childs 2000 – *G.T. Childs*. A dictionary of the Kisi language with an English Kisi index. Köln, 2000.
- Dressler 1995 – *W. Dressler*. Interactions between iconicity and other semiotic parameters in language // *R. Simone (ed.)*. Iconicity in language. Amsterdam, 1995.
- Fabricius 1998 – *A.H. Fabricius*. A comparative survey of reduplication in Australian languages. München, 1998.
- French 1988 – *K.M. French*. Insights into Tagalog. Reduplication, infixation and stress from nonlinear phonology. Arlington, 1988.
- Fritzsche 1873 – *A.R. Fritzsche*. Quaestiones de reduplicazione graeca. Lipsiae, 1873.
- Hammer 1997 – *F. Hammer*. Iconicité et reduplication en français // *Folia linguistica: Acta societatis Europaeae*. 1997. 31.
- Heath 1998 – *J. Heath*. Dictionnaire Songhay-Anglais-Français. Paris; Montréal, 1998.
- Hladky 1998 – *J. Hladky*. Notes on reduplicative words in English // *Brno studies in English*. 1998. 24.
- Hopkins 1893 – *E.W. Hopkins*. Vedic reduplication of nouns and adjectives // *American journal of philology*. 1893. 14.

- Hudges 2000 – *J. Hudges*. The morphology of Dobel, Aru, with special reference to reduplication // Ch.E. Grimes (ed.). *Spices from the East. Papers in languages of Eastern Indonesia*. The Australian national university, Canberra, 2000.
- Inkelas, Zoll 2005 – *S. Inkelas; Ch. Zoll*. Reduplication. Doubling in morphology. Cambridge, 2005.
- Kervran 1982 – *M. Kervran*. Dictionnaire Dogon Donno So. Bandiagara, 1982.
- Kouwenberg, LaCharité 2001 – *S. Kouwenberg, D. LaCharité*. The iconic interpretations of reduplication: issues in the study of reduplication in Caribbean Creole languages // *European journal of English studies*. 2001. 5.
- Kröger 1992 – *F. Kröger*. Buli-English dictionary. Münster; Hamburg, 1992.
- Kulemeka 1995 – *A.T. Kulemeka*. Sound symbolic and grammatical frameworks: a typology of ideophones in Asian and African languages // *South African journal of African languages*. V. 15. 1995. № 2.
- Kulikov 2005 – *L. Kulikov*. Reduplication in the Vedic verb: Indo-European inheritance, analogy and iconicity // B. Hurch (ed.). *Studies on reduplication*. Berlin; New York, 2005.
- Lébikaza 1979 – *K.K. Lébikaza*. Kabiyè-Deutsch-Wörterbuch. Maîtrise-Arbeit. Saarbrücken, 1979.
- Lindström 1999 – *J. Lindström*. Vackert, vackert!: syntaktisk reduplikation i svenskan. Helsingfors, 1999.
- Lloyd 1966 – *P.M. Lloyd*. Some reduplicative words in colloquial Spanish // *Hispanic review*. 1966. 34.
- Marantz 1982 – *A. Marantz*. Re reduplication // *Linguistic inquiry*. 13. 1982. № 3.
- McCarthy, Prince 1995 – *J. McCarthy, A. Prince*. Faithfulness and reduplicative identity // *Optimality theory*. University of Massachusetts occasional papers in linguistics. 18. Amherst (Mass.), 1995.
- Moravcsik 1978 – *E.A. Moravcsik*. Reduplicative constructions // *Universals of human languages*. V. 3. Stanford, 1978.
- Pott 1862 – *A.F. Pott*. Doppelung (Reduplikation, Geminatio) als eines der wichtigsten Bildungsmittel der Sprache, beleuchtet aus Sprachen aller Welttheile. Lemgo; Detmold, 1862.
- Raimy 2000 – *E. Raimy*. The phonology and morphology of reduplication. Berlin; New York, 2000.
- Sanchez, Stevens 1992 – *N. Sanchez, A.M. Stevens*. Reduplication and affixation in Indonesian // M. Ratliff, E. Schiller (eds.). *Papers from The first annual meeting of the Southeast Asian linguistics society*. Arizona: State University, 1992.
- Scullen 2002 – *M.E. Scullen*. New insights into French reduplication // C.R. Wiltshire, J. Camps (eds.). *Romance phonology and variation: selected papers from the 30th Linguistic symposium on Romance languages*, Gainesville, Florida, February 2000. Amsterdam; Philadelphia, 2002.
- Sperlich 2001 – *W.B. Sperlich*. Semantic and syntactic functions of reduplication in Niuean // J. Bradshaw, K.L. Rehg (eds.). *Issues in Austronesian morphology. A focusschrift for Byron W. Bender*. The Australian national university, 2001.
- Stonham 2004 – *J. Stonham*. Linguistic theory and complex words. Nuuchahnulth word formation. New York, 2004.
- Thun 1963 – *N. Thun*. Reduplicative words in English. Uppsala, 1963.
- Urbanczyk 2001 – *S. Urbanczyk*. Patterns of reduplication in Lushootseed. New York; London, 2001.
- Vuori 2000 – *V.-J. Vuori*. Repetitive structures in the languages of East and Southeast Asia. Helsinki, 2000.
- Wilbur 1973 – *R.B. Wilbur*. The phonology of reduplication. Doctoral dissertation. Bloomington (Indiana), 1973.
- Wood 1895 – *Fr.A. Wood*. I. Verner's law in Gothic. II. The reduplicating verbs in Germanic. Chicago, 1895.

© 2007 г. ЯН ЦЗЕ

ЗАБАЙКАЛЬСКО-МАНЬЧЖУРСКИЙ ПРЕПИДЖИН ОПЫТ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В своей статье автор – китайский профессор, языковед-русист, декан факультета европейских языков Института иностранных языков Сямыньского университета КНР, описывает ранее не исследованный в работах современных лингвистов-креолистов языковой феномен – забайкальско-маньчжурский пиджин, сложившийся в последние 15 лет на граничащих с Китаем территориях Забайкалья, Приамурья и Дальнего Востока РФ в связи с интенсификацией в указанный период политических, торгово-экономических и культурных связей между двумя дружественными странами – Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Наряду с заявленной темой работы также рассматривается авторская гипотеза о происхождении лингвистического термина «пиджин», небезосновательно объясняющая его этимологию.

Предметом настоящей статьи является препиджин¹, сложившийся за последние 15 лет на российско-китайской границе, однако сначала мы хотели бы остановиться на этимологии термина *пиджин*. «Обычно считается, что он восходит к китайскому восприятию английского слова *business*; впервые он зафиксирован в 1807 году в применении к англо-китайскому пиджину (орфографически – *pigeon*)» [Беликов, Крысин 2001: 116]. Такая трактовка закрепляется в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» [Виноградов 1990: 374], хотя некоторые исследователи утверждают, что происхождение слова *пиджин* до конца не выяснено. Дж. Холм, упоминая иные этимологии (от др.-евр. *pidjom* ‘обмен, торговля, компенсация’, от португ. *osiração* ‘бизнес’, от *beachee* – южно-тихоокеанского произношения англ. *beach* ‘побережье’), в качестве альтернативы предлагает португальское *baixo* ‘низкий’, использовавшееся для различения португальского пиджина (*baixo português*) от стандартного португальского. «В этимологизации *pidgin* от [baišo] нежеле от [biznis] фонологических проблем не больше, а семантических меньше», – пишет Дж. Холм [Holm 1988: 9].

В действительности «китайское восприятие» (даже достаточно искаженное) слова *business* будет фонологически и орфоэпически (в соответствии с фонетической системой, правилами употребления фонем и правилами произношения аллофонов фонем в китайском языке) звучать следующим образом: *пи-цзы-ни-сы* или *пи-сы-ни-сы*, и вряд ли как-то иначе. Кроме того, восприятие англичанами восприятия китайцами английского слова *business* как этимон для именованного редуцированного варианта языка наталкивается на семантические сложности. А вот английское (либо другое европейское) редуцированное восприятие китайского выражения *пиджен* / *пичжэн* – *bizhen* – 逼真 (в дословном переводе: «очень похожий»), на наш взгляд, вполне могло стать основой этого термина и по семантике, и по фонологическим характеристикам.

Встает вопрос, где впервые термин 逼真 мог быть применен к контактному языку. На наш взгляд, при сравнении исторических данных, получается, что термин *пиджин* обязан своим происхождением китайско-российским взаимоотношениям, возникшим на заре XVII века.

¹ Под препиджином мы понимаем начальную стадию развития пиджина, когда его грамматическая структура и словарь еще не вполне стабилизировались [Беликов, Крысин 2001: 116].

Принимаем во внимание то обстоятельство, что хронологически европейцы проникли в Китай гораздо раньше русских, например, знаменитый венецианский купец-путешественник Марко Поло прожил в Китае в XIII веке более 17 лет, в конце XVI – начале XVII появились и первые католические миссионеры (самый известный среди них – итальянский монах Маттео Риччи, предпринявший первую попытку перевода христианских учений на китайский литературный язык), однако следует признать, что для формирования контактного языка, каким по определению является пиджин, разрозненных и малочисленных на тот момент связей европейцев с китайцами было явно недостаточно для зарождения как самого языка, так и, соответственно, возникновения понятия *пиджин*.

Контактные языки, как известно, не создаются умышленно, а появляются в результате неудавшихся попыток выучить язык партнеров по коммуникации, причем контакты одних и тех же коммуникантов должны происходить массово и на протяжении длительного времени (хотя возможность спорадических связей и допустима для зарождения препиджина, но непременно необходим фактор продолжительности по времени). Однако о массовости контактов европейцев (включая и русских) с китайцами до конца XVII века говорить не приходится, поскольку исторически сложилось так, что имперский Китай всячески препятствовал проникновению чужеродного влияния на подданных императора поднебесной, считался самодостаточным во всех смыслах и позволял католическим миссионерам, которые прибывали в Китай в составе первых торговых экспедиций, заниматься проповеднической деятельностью только в ограниченных пределах. Массовая же торговля осуществлялась посредством «Великого шелкового пути» через среднеазиатских и персидских торговцев без прямого и тесного контакта китайских и европейских купцов. Первыми морскими портами, предоставленными европейцам (сначала португальцам, а позднее и голландцам с англичанами) цинским императорским двором для осуществления торговых операций, были Макао и Амой, но там не сложилось в то время какой-нибудь значительной основы для зарождения контактного языка в силу нерегулярности прибытия торговых судов в данные порты (один раз в полгода-год) и разноязычия корабельных команд, состоявших в основном из португальцев и испанцев, вступавших, в основном, в жестовые языковые контакты (при наличии минимальных звуковых способов общения) с местным населением. Говоря о местном населении Макао (Аомьнь) и Амоя (Сямьнь), следует также учитывать наличие в этих рыбацких портах по крайней мере трех вариантов китайского, относящихся к различным группам диалектов: миннаньхуа (группа минь), гуандунхуа (группа юэ) и путунхуа (северная группа), которые в описываемый период вполне могли восприниматься на слух иностранцами как совершенно различные языки, связь которых с китайским литературным языком – веньянем – не могла быть известна европейским морякам. То есть такого необходимого и обязательного условия, как существование единого базового языка-лексификатора в качестве предпосылки к зарождению пиджина не существовало.

Точно такая же ситуация складывалась и в Кантоне (Гуанчжоу), где на протяжении всего XVII века и в начале XVIII века цинский императорский двор разрешал вести прибрежную торговлю европейцам. Англичане же массово пришли в Китай, через посредничество Ост-Индской компании, только в XVIII веке, не считая отдельных мелких торговцев и миссионеров, и до начала «опиумной войны» (1840 год) имели слишком слабые позиции во всех отношениях, включая языковые контакты.

Первыми же европейцами, которые на систематической основе стали осуществлять контакты с китайцами, при изначальной языковой гомогенности с обеих сторон, были русские, которые пришли в Китай с севера в конце XVII века [Фицджеральд 2004]. В XVI веке Российская империя присоединила к себе обширные территории к востоку от Урала – Сибирь и Дальний Восток. К 1644 году (год начала правления маньчжурской династии Цин), проложив сибирский тракт и выйдя к берегам Амура, русские первопроходцы соприкоснулись с китайской цивилизацией. В 1652 году произошли первые столкновения двух государств, а в 1689 году в Нерчинске был подписан договор между Китаем и Россией о территориальном разграничении и далее – в 1727 году – этот договор был подкреплён ещё одним соглашением, подписанным в Кяхте. По одному из усло-

вий Нерчинского договора России было позволено основать в первой четверти XVIII века в Пекине православное подворье, названное впоследствии «Пекинской духовной миссией» и предназначенное первоначально для отправления религиозного культа взятыми в плен маньчжурским императором Канси жителями поселка Албазин и их потомками, а на границе, у русского поселка Кяхта и китайского поселка Маймачен² (нынешний Алтанбулак на территории Монголии) был создан пункт приграничной торговли между двумя империями.

Таким образом, в результате возникновения в приграничной полосе пункта торговли товарами повседневного спроса Кяхта – Маймачен, между двумя государствами начинают осуществляться и языковые контакты, имеющие прямое отношение к зарождению пиджина и его номинации. Социальная основа для появления препиджина в данных населенных пунктах, как нам представляется, была создана классическая, поскольку оба соприкасающихся друг с другом языка по своей природе были изначально гомогенны (русский разговорный язык с элементами просторечия и сибирских диалектизмов и китайский северо-восточный диалект – путунхуа), коммуникативная компетенция участников торговых сделок была на существенно низком уровне (в контакт вступали малообразованные, преимущественно неграмотные местные жители), а языковая ситуация вынуждала обе стороны активно и быстро усваивать «ситуативную грамматику» с тем, чтобы максимально облегчить речевое общение. Известно, что «препиджин возникает как компромисс между плохо усвоенным вторым языком начинающих билингвов и “регистром для иностранца”, который создается теми, для кого этот язык является родным. Выбор языка, на базе которого формируется препиджин, определяется сугубо прагматическими причинами: основой его становится тот язык, редуцированная форма которого по тем или иным причинам оказывается более эффективной для коммуникации. В результате большая часть лексики пиджина обычно восходит к одному из контактирующих языков; такой язык в креолистике называется **лексификатором**» [Беликов, Крысин, 2001: 116–117]. В нашем случае языком-лексификатором на языковом пространстве Кяхта – Маймачен выступил русский разговорный язык, в силу объективных социально-экономических показателей: в развитии и активизации торговли прежде всего были заинтересованы китайские купцы и мелкие торговцы. Многочисленные примеры из кяхтинского пиджина, исследованные и приведенные в работах лингвистов прошлого по данной проблематике, научно подтверждают, что языком-лексификатором выступил редуцированный русский разговорный язык с элементами просторечия и забайкальских диалектизмов. Цитируем одно из первых упоминаний этого пиджина в «Московском Телеграфе», № 21 за 1831 г.

«Для многих странным покажется, что наши купцы, имея пребывание в Кяхте, с самого открытия пограничного торга, в **1728 году** (выделено мною. – Я.Ц.), доселе не обращали внимания на Китайский язык. Но сие удивление скоро рассеется, когда представим себе, что сей язык, в правилах своих будучи совершенно противоположен нашему, недоступен к изучению без хорошего учителя, а Правительство не могло их снабдить оным, потому, что само имело недостаток в переводчиках, образовавшихся в Пекине. Зато изворотливые Китайцы не долго думали о трудностях нашего языка. Они сделали у себя постановление, чтобы каждый мальчик, предназначенный для торговых дел в Кяхте, по прибытии сюда, непременно обучался русскому языку. На сей конец в каждой лавке находится небольшой Китайский словарь, с Русским переводом, написанным китайскими буквами. Но как Китайский язык не имеет изменения в словах по окончаниям, и, сверх того, нет в нем созвучных слов, для тонического переложения наших слогов, имеющих по две и по три согласных букв, то из перевода приятелей образовалось особое Русское наречие, в кото-

² Необходимо отметить, что встречающееся в русской традиции именование поселка *Маймачин*, а вслед за ним и пиджина *маймачинским*, ошибочно. Китайское название должно передаваться как *Маймачен* (в дословном переводе: «город по продаже лошадей»), где последний слог обозначается по-китайски 城 ('город'), по принятой в русской китаистике транскрипции он должен передаваться как *чен*, в транскрипции пиньинь – *cheng*.

ром наши слова, обезображенные произношением, употребляются в том виде, как были внесены в словарь, без малейшего изменения по окончаниям».

«Хотите-ли видеть образчик торговых сношений на сем ново-Русском языке? Вот он:

1. Э-дин лю-ди бо-ли-ше-лэ
2. Ти-би, бу-ли-я-ти-л, я не ше-на-лэ
3. Ти-би ду-ва-л гао-ху-да хо-ди.
4. Ву-чи-ла бо-ли-ше-лэ
5. Ти гэ-кай ду-ва-л е-сы
6. Я ся-кэ ду-ва-л е-сы
7. Ти гэ-кай ду-ва-л на-ду
8. Э-ди-ка ду-ва-л я ня-на-ду
9. Ху-лао-ши ду-ва-л э-дай
10. Цай-на гао-ву-ли
11. Ли-ши-ка на-бу-ло-си
12. Э-дин ду-ва сы-лао-ву
13. Да-ляо-ка гао-ву-ли
14. Бу-ляо-ма цай-на гао-ву-ли
15. Ти ма-ла ма-ла бу-ли-бэй-вэй

Поняли ли вы что-нибудь? Вот вам буквальный перевод:

1. Один человек пришел.
2. Тебя, приятель, я не знаю.
3. У тебя товары когда придут?
4. Вчера пришли.
5. Ты (у тебя) какой товар есть?
6. Я (у меня) всякой товар есть.
7. Ты (тебе) какой товар надобно?
8. Этого товара я (мне) не надобно.
9. Хорошего товара подай.
10. Цену говори.
11. Лишка не проси.
12. Одно, два слова.
13. Далеко говоришь.
14. Прямую цену говори.
15. Ты мало-мало прибавь.

Хотя все почти Кяхтинские жители говорят с Китайцами на сем странном наречии, но вообще объясняются с затруднением, даже о предметах обыкновенных, от чего нередко происходят недоразумения и споры при совершении торговых сделок. В сем отношении открытие казенного училища для Китайского языка необходимо нужно в нашем месте» (цит. по [Скачков 1977: 141–144]).

Автор этого письма в журнале не представлен. П.Е. Скачков указывает на принадлежность данного (и других писем в редакцию журнала) о. Иакинфу (Бичурину)³. Он же обращает внимание на то, что один из упомянутых о. Иакинфом словариков «сохранился (Архив Ленинградского отделения ИВАН) и описан К.К. Флугом в “Кратком обзоре небуддийской части китайских рукописей Азиатского музея” (Библиография Востока. М., 1934, № 7, с. 92). Флуг пишет следующее: “Из рукописных словарей и пособий для переводчиков занимателен китайско-русский тематический словарь *Элосы фань юй*, предназначавшийся, вероятно, для китайских купцов. Вторая его часть состоит из отдельных русских фраз, переданных при помощи китайских знаков, причем значение этих фраз уловить иногда довольно трудно. Так, например, фраза, звучащая в пекинском произношении: *Ду-лу-гуай ма-нянь-эр нянь-ду*, означает *Другой манер (сорт) нету*, а *Ди-бя гэ-дао-эр-ли чи-лао-вэй-кэ* (Тебе который человек) – соответствует, вероятно, русскому *Откуда ты родом* и т.д.”» [Скачков 1977: 109, 315–316].

³ Никита Яковлевич Бичурин, в монашестве Иакинф, – известнейший российский китаевед, словесник, философ, его работы по истории и этнографии Китая также переведены и опубликованы на Западе.

Итак, китайско-европейские пиджины (южный пиджин-инглиш, северный кяхтинский пиджин) могли зародиться только при благоприятствующих языковых условиях, и хронологически кяхтинский пиджин старше своего собрата пиджин-инглиш, причем, старше не менее, чем на 100 лет. Это языковое явление вполне уместно охарактеризовать как «**очень похожий** на русский, на китайский язык, но ни тот, ни другой». Осмелимся высказать гипотезу, что именно здесь китайское словосочетание 逼真 *пиджен / пичжэн* («очень похожий, прямо как настоящий») впервые было применено для характеристики контактного языка.

Завершив изыскания о происхождении слова *пиджин*, перейдем собственно к исследованию заявленного в заголовке работы современного новообразования: *забайкальско-маньчжурского препиджина*.

Немного об историко-экономических предпосылках возникновения препиджина. В конце 80-х – начале 90-х годов XX века, в связи с улучшением отношений между Китаем и Россией и связанной с ними торгово-экономической ситуации, на довольно протяженной российско-китайской границе (около 4000 км) были образованы пункты пропуска российских и китайских граждан с целью продажи-покупки товаров повседневного спроса. 1992–1993 гг. были временем быстрого роста сначала бартерной, а позднее и денежной китайско-российской торговли, объем которой достиг 7,67 миллиардов долларов. В 1993 г. Китай стал вторым торговым партнером России, Россия стала седьмым торговым партнером Китая, а к осуществлению торговых операций с российской стороны приступили бывшие учителя, врачи, рабочие и служащие обанкротившихся в стихии рынка российских государственных предприятий и учреждений. В дальнейшем люди, занимающиеся данным видом деятельности, стали именоваться в русском языке «челноками», а этот тип бизнеса – «челночным». Обменивать товары российского и китайского производства разрешалось только в строго отведенных местах по обе стороны границы, такими территориями по реализации товаров в соответствии с международными соглашениями, подписанными правительствами КНР и РФ, в первое время стали населенные пункты: поселок Забайкальск (Читинская область) – г. Маньчжурия (Автономный район Внутренняя Монголия); г. Благовещенск (Амурская область) – г. Хэйхэ (пров. Хэйлуцзян); станция Гродеково (Приморский край) – поселок Суйфэньхэ (пров. Хэйлуцзян).

Осуществление торговли, зародившейся в данных населенных пунктах, требовало обязательного, хотя бы минимального, речевого общения «челноков» с обеих сторон, естественно, не владеющих языками друг друга. Немногочисленные переводчики, набранные в спешном порядке с прилегающих к границе территорий, не могли удовлетворить все более нараставший спрос, да и в силу предшествующего «холодного периода» в отношениях между СССР и КНР и связанного с ним погасшего интереса к взаимному изучению китайского и русского языков, их квалификация оставляла желать лучшего. Поэтому на первых порах в качестве переводчиков нередко использовались люди, знающие всего несколько слов и устойчивых разговорных конструкций по-китайски с российской стороны и сообразно данным обстоятельствам – с китайской. Почва для возникновения препиджина оказалась весьма благоприятной.

В данной работе (как видно из заголовка статьи) мы сосредоточимся на частичном исследовании только одного варианта из зародившихся на стыке русского и китайского языковых сообществ новообразований, дав ему название от номинации сопредельных населенных пунктов российско-китайской границы: *забайкальско-маньчжурского препиджина*, опыт полевого изучения которого мы и приведем ниже. Дальнейшие исследования, проведенные нами, убеждают нас в том, что и в других, означенных выше городах и поселках, происходили идентичные процессы формирования пиджина, а в результате перемещения вдоль границы субъектов речевого общения («челноков»), условной смежности торговых пунктов (купля-продажа разрешалась исключительно в данных точках), коммуникативного пересечения и смешения закупочных интересов (не продал в Маньчжурии, попытаюсь продать в Хэйхе и т.д.) как с российской, так и с ки-

тайской стороны, в этих населенных пунктах возник единый, с точки зрения социолингвистики, разговорный пиджин, обладающий схожими характеристиками. Почему же мы решили квалифицировать его как *препиджин*, а не *пиджин*? На наш взгляд, несмотря на относительную стабилизацию исследуемого языкового феномена, временной отрезок еще недостаточно велик для отнесения его к более продвинутой стадии развития контактного языка, нет и полной уверенности в его единообразии.

Учитывая то, что как с китайской, так и с российской стороны в речевое общение вступали прежде всего представители коренного населения близлежащих к границе населенных пунктов, обладающие в основной своей массе показателями смешения кодов: разговорных языков с местными диалектизмами, частичной интерференции языковой нормы, преобладания элементов просторечия в словаре участников коммуникации, но при этом изначально имеющих с каждой стороны гомогенную языковую основу, забайкальско-маньчжурский препиджин получил все классические признаки, определенные в работах лингвистов-креолистов.

Какие же это признаки? Во-первых, функциональное назначение препиджина, как средства для поддержания коммуникации между носителями его различных этнолектов, выполнило за пятнадцать лет свою основную коммуникативную задачу и конвергировалось в достаточно устойчивую структуру со своим неизменным лексическим набором языковых единиц, а процесс стабилизации, пройдя стадию сближения этнолектов с унификацией каждого из идиолектов (русского и китайского) под единый субстрат – препиджин, приобрел черты стойкого узуального стандарта. Во-вторых, напротив, отличительные знаки, отделяющие пиджины от языков с непрерывной историей, на поверку являются очевидными: структурные черты забайкальско-маньчжурского препиджина, которые свойственны практически всем известным, описанным в лингвистике пиджинам, имеют самые общие характеристики – упрощенный состав фонем и правил их применения в речевом общении, неотчетливо выраженная морфология и поверхностный, неглубокий синтаксис. Практические изменения в общей триаде, организующей язык в целом, коснулись лишь звуковой и лексико-фразеологической системы, оставив почти нетронутой грамматическую структуру в описываемом препиджине.

Проиллюстрируем сказанное на примерах. В забайкальско-маньчжурском препиджине довольно часто применяется обращение к девушке: *куня*. Говорит русский предприниматель в городе Маньчжурия, в ресторане «Марина» (по опросу – русский работает в торговом бизнесе данной зоны с 1991 г., китайский язык не знает, но использует, по его мнению, некоторые китайские слова и выражения): *Эй, куня! Гэй менэ тады кружку* (*Эй, девушка! Поддай мне большую кружку*). *Менэ* (мне – дат. падеж) – наиболее употребительная форма притяжательного местоимения в препиджине. Здесь и далее в примерах – все опрошенные участники коммуникации считают, что не владеют языками друг друга, а лишь «знают некоторые слова» из противоположных идиоэтнических языков, естественно, не подразумевая, что используют в речи словарный состав препиджина. Данное условие необходимо оговорить, руководствуясь принципом «чистоты опыта». Также следует сказать, что мы не стали останавливаться на подробном исследовании заимствований из лексического состава препиджина по принадлежности их к тому или иному языковому коду, поскольку данные изыскания потребовали бы дополнительного фактологического материала.

Китайский продавец (по опросу – не владеет русским языком, частично понимает русскую речь) обращается на рынке к русской покупательнице одежды, женщине 40–50 лет: *Куня! Ды дала менэ мало юань! Ната сто юань, женьминьби* (*Девушка! Ты мне дала мало юаней! Надо сто юаней, китайских денег*). *Юань* – китайская денежная единица, *женьминьби* – общее название китайской национальной валюты, оба слова произнесены в соответствии с нормами китайского разговорного языка.

Русский водитель микроавтобуса, работающий в торговой зоне более 10 лет, спрашивает у знакомого китайца о руководителе своей туристической группы – русской женщине: *Моя капитана – молодца, клёвая куня, а?* (*Мой руководитель группы красивая девушка, а?*). *Капитана* (от русского – капитан) – применяемое в забайкальско-мань-

чжурском препиджине название всех руководителей, начальников разных уровней, независимо от занимаемых ими должностей. *Молодцá* (от русского – *молодец* – хорошая, добрая, отзывчивая) – забайкальский диалектизм. *Клёвая* (красивая, обаятельная) – русский жаргонизм. Девриантное применение местоимения *моя* русским носителем языка использовано в соответствии с вариантами неустоявшегося окончательно стандарта препиджина: притяжательные местоимения мужского, женского, среднего родов и множественного числа произносятся как *мой/моя ъфу* (одежда), *мой/моя кѳузы* (брюки), *твой/твоя дру́га* (друг), *ваш/ваша капитáна* (начальник), *наш/наша маши́на*.

Китаец в шутку рассказывает о забайкальской (п. Забайкальск) девушке-подруге русскому приятелю: *Моя ку́ня вчера напи́лась, бу чжидáo гыдэ сыпáла* (*Моя девушка вчера напи́лась, не знаю где спáла*). *Вчера́сь* – забайкальский диалектизм; орфоэпически ударение у глаголов *напи́лась* и *спáла* применено сообразно русскому просторечию. В использованных иллюстрациях просматривается, что по лексическому составу, фонологическим, неустойчивым грамматическим нормам и синтаксису языком-лексификатором выступает интерферированный сибирскими диалектами (в большей степени – забайкальским) русский разговорный язык с вкраплениями китайской лексики, взаимно релевантный для субъектов двусторонних речевых актов. Участники коммуникации с российской и китайской сторон: «челноки» с многолетним стажем, водители микроавтобусов и грузовиков, владельцы и обслуживающий персонал гостиниц, ресторанов, баров и кафе, местные торговцы и бизнесмены (контингент которых постоянен) – используют слово *ку́ня* в конкретных речевых актах регулярно и повсеместно, за исключением общения в этнически однородных группах. Необходимо заметить, что *ку́ня*, восходящее к кит. 姑娘 – *гунянь* (*guniang*), означает ‘девушка’, но в китайской традиции в соответствии с нормами языкового этикета считается невежливым, а значит неприемлемо, адресовать данное обращение к незнакомой девушке. Нельзя сказать: «Девушка, дайте мне пачку сигарет», «Принесите, пожалуйста, свежее полотенце, девушка!», используя слово *гунянь*. В китайском языке принято называть молодую девушку *сяомей* (*xiaomei*) 小妹, *сяоцзе* (*xiaojie*) 小姐 и никак иначе. «Сяомей (сяоцзе), дайте мне пачку сигарет» – синтаксически обращение находится исключительно в начале предложения. Однако же в русском языке такая форма апелляции допустима: «Девушка, покажите мне вот эту кофточку», «Девушка, будьте добры, подайте мне соль», «Замените мне, пожалуйста, постельное белье, девушка» и т.д. В данной иллюстрации характерна одна деталь, подмеченная автором: некоторые впервые прибывшие в город Маньчжурию китайцы, следуя примеру своих опытных соотечественников, проживших в конвергентной зоне (в торговом районе по обе стороны государственной границы) много лет, также начинают использовать в разговоре данную форму обращения, подразумевая, что она относится к разновидности местного китайского диалекта. На самом деле, ни фонологически, ни орфоэпически, ни с точки зрения китайской грамматики не предусмотрено применение слова *ку́ня* в данном употреблении, по-китайски оно звучит совершенно по-другому.

Еще один пример диалога на препиджине. Говорит китаец, ведущий торговлю в контактной зоне около пяти лет, обращаясь к русскому коллеге по бизнесу: «*Моя щас ходила лесто́лан, ела кытаски то́фу, ля́нцáй, мя́са, пи́лоски, пи́ла цю-цю́ть водка – усие укусно, хэнь хаотии. Лесто́лан та ули́са, ко́да мы гуля́ли да́вно, чжидáo-ма? Я зы́нала – твоя́ лю́бит кытаски ку́хня. Можит сие́дне вецелом погуля́ем – та́ма мно́го луский ку́ня, кы́ласива*» (Я сейчас ходил в ресторан, кушал китайский соевый творог, овощной салат, мясо, пирожки, немного выпил водки – все вкусно. Ресторан находится на той улице, где мы раньше с тобой отдыхали, помнишь? Я знаю – ты любишь китайскую кухню. Может быть, сегодня вечером посидим в этом ресторане – там много красивых русских девушек). Русский отвечает: «*Сёдня вецелом мене надо ехать Забайкальск, капитана сказала, завтра погуляем, хао-ма?*» (Сегодня вечером мне нужно ехать в Забайкальск – начальник приказал, завтра посидим в ресторане, хорошо?). Кроме обсуждавшегося выше слова *ку́ня*, в диалоге использованы следующие единицы китайского происхождения: *то́фу* – соевый творог; *ля́нцáй* – китайский овощной салат; *хэнь хаот-*

ши – ‘очень вкусно’; *чжидао* – ‘знаешь, помнишь’; *хао* – ‘хорошо’; *ма* – вопросительная частица. Остальной словарный состав заимствован из русского языка в искаженном, редуцированном виде, а грамматически речевое общение строится без применения союзов, предлогов, частиц и с редким использованием междометий. Надо заметить, что поскольку в китайской фонетической системе отсутствует звук «р», то в препиджине он лабиализован, причем существует одна характерная деталь: некоторые носители русского языка в контактах с китайцами также употребляют лабиализованный согласный «р», оформляя его «под препиджин», в соответствии с узуальным стандартом данного пиджина.

Завершая наше исследование забайкальско-маньчжурского препиджина, необходимо сказать, что в дальнейшем в ближайшие несколько лет автором будет продолжена работа по проведению тщательного изучения заявленной темы по всем социолингвистическим направлениям с целью детального исследования всей языковой структуры данного новообразования. Автору представляется, что уже оформившийся в некий узуальный стандарт, но находящийся в настоящий момент на стадии раннего пиджина «новояз» может подвергнуться, с одной стороны, устойчивой стабилизации и последующей нативизации, а с другой стороны (если изменится нынешняя языковая картина), напротив – уходу в небытие. Однако, рассматривая складывающуюся ныне политико-экономическую ситуацию между КНР и Россией и связанные с ней социально-языковые условия на данном коммуникативном пространстве, можно предположить, что процесс пиджинизации получит дальнейшее развитие и расширение, поскольку в контакты начинают вступать представители более молодого поколения, которые выросли в забайкальско-маньчжурской конвергентной зоне и, в силу сложившихся жизненных обстоятельств, иного языка общения (за исключением родных идиолектов, которые применимы лишь для внутреннего пользования, но не за пределами русских и китайских языковых и этнических сообществ) они не знают, а возникновение двуязычия затруднено в связи с ограниченностью проникновения в данную зону обширного культурного влияния с обеих сторон, масштабного притока новых коммуникантов, обладающих знанием контактирующих языков и способных трансформировать пиджин в континуум или, наоборот, подвергнуть новообразование дивергенции. В первую очередь это связано с явлениями экономической конкуренции: постоянно действующие торговые партнеры с китайской и русской сторон крайне недоверчиво и ревниво относятся к новым предпринимателям, «выталкивают» последних с обжитых местными жителями торговых территорий, всячески препятствуя им в организации бизнеса, при этом предоставляя льготные условия для своих родственников, детей и знакомых, которые в свою очередь стремятся поскорее стать «своими», в том числе и через овладение препиджином. Но тем не менее при всех имеющихся трудностях все-таки постепенно происходит увеличение количества членов данного языкового сообщества за счет пополнения извне (вновь прибывающие также активно стремятся быстрее овладеть пиджином), что вселяет надежду на дальнейшее развитие забайкальско-маньчжурского препиджина, перехода его на более высокие стадии эволюции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Беликов, Крысин 2001 – В.И. Беликов, Л.П. Крысин. Социолингвистика. М., 2001.
Виноградов 1990 – В.В. Виноградов. Пиджины // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
Скачков 1977 – П.Е. Скачков. Очерки истории русского китаеведения. М., 1977.
Фицджеральд 2004 – Ч.П. Фицджеральд. История Китая. М., 2004.
Holm 1988 – J.A. Holm. Pidgins and creoles. V. 1. Theory and structure. Cambridge, 1988.

© 2007 г. С.С. САЙ

**ПРАГМАТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
«ОПУЩЕННОГО ОБЪЕКТА» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ***

В современном русском языке активизировалась возвратная конструкция, характеризующаяся тем, что «за кадром» оказывается нерелевантный участник, который мог бы занять позицию прямого дополнения в конструкции с соотносительным (исходным) невозвратным переходным глаголом. Рассматриваемая возвратная конструкция оказывается своего рода компромиссом в ситуации, когда и эксплицитная переходная конструкция, и конструкция с простым опущением прямого дополнения при переходном глаголе являются прагматически нежелательными для говорящего. Опускание участника происходит с опорой на активацию определенного фрейма, в рамках которого этот участник оказывается предсказуемым. Использование рассматриваемой конструкции отражает распределение прагматического веса между компонентами выражаемого смысла. То, что условия использования конструкции лежат в дискурсивно-прагматической плоскости, а не в области синтаксиса или каких-либо жестких семантических параметров, свидетельствует о грамматикализационной молодости явления.

I. ВВЕДЕНИЕ

В современном русском языке, прежде всего, разговорном, наблюдается значительная активизация таких конструкций с возвратными глаголами, которые могут быть проиллюстрированы следующими зафиксированными в речи высказываниями:

- (1) *Ну что, попробуйте сейчас запуститься.* (= Запустить компьютерную программу)¹.
- (2) *Если хочешь ткнуть, то ткнишь вон туда.* (= «Ткни» зарядное устройство мобильного телефона в ту розетку).
- (3) *Ты что, будешь ксериться?* (= «Ксерить» свои бумаги).
- (4) *То есть все равно вечером нужно отщелкнуться, даже если ты остаешься на ночь.* (= «Отщелкнуть» магнитную карточку). {О системе контроля присутствия на рабочем месте. До этого говорится, что когда выходишь с работы, нужно «отщелкнуть» карточку, т.е. поднести ее к считывающему устройству, которое издает щелкающий звук}.
- (5) *Мы уже подались в Тарту.* (= Подали свои тезисы на конференцию в Тарту).

* При подготовке текста статьи автору помогли своими замечаниями и советами Ю.П. Князев, В.П. Недеялков, Е.А. Рахилина, А.Ю. Русаков, М.В. Русакова и В.С. Храковский, читавшие различные варианты этого текста и обсуждавшие с автором высказываемые здесь положения. Также хотелось бы выразить благодарность многочисленным коллегам и друзьям, помогавшим мне в сборе материала.

¹ Здесь и далее используется следующий формат представления русских высказываний. Обсуждаемое высказывание набирается курсивом; во многих случаях в нем выделяется полужирным шрифтом ключевой для анализа фрагмент, чаще всего это возвратная форма глагола. В круглых скобках после знака равенства (=) приводится, там, где это необходимо, контекстное значение высказывания или его фрагмента. В фигурных скобках в случае необходимости дается комментарий к высказыванию, например, описывается экстралингвистическая конситуация, приводится левый или правый контекст и т.д.

Для адекватного анализа проиллюстрированного явления необходимо сформулировать его конституирующие свойства. Эти свойства можно выявить путем сопоставления исследуемых возвратных конструкций с конструкциями, в которых используются соотносительные невозвратные глаголы. Так, например, высказывание (1), по всей видимости, можно соотнести со следующим:

(6) *Ну что, попробуйте сейчас запустить компьютерную программу*².

При сопоставлении двух денотативно синонимических конструкций выявляются следующие ключевые свойства обсуждаемой конструкции с возвратным глаголом: 1) субъекты двух конструкций совпадают; 2) производная конструкция (1), как и (почти) все возвратные конструкции в русском языке, является непереходной, исходная же конструкция (6) – переходна; 3) в производной конструкции никак не выражен участник, соответствующий прямому объекту исходной конструкции, хотя он и представлен семантически.

Суммируя выявленные свойства высказываний, подобных (1)–(5), можно отметить, что они в целом соответствуют «широкому» пониманию **антипассивной конструкции** (ср. определение М. Полинской: «Необходимый и достаточный признак АК [антипассивной конструкции. – С.С.]: название партиципанта, претендующего на статус Дп [прямого дополнения. – С.С.], получает статус ниже Дп» [Полинская 1986: 9])³. Далее исследуемые конструкции будут обозначаться как **антипассивные возвратные конструкции (АВК)**.

Нельзя, однако, не согласиться с тем, что «[a]ny characterization of ANTI [антипассивной конструкции. – С.С.] in terms of demotional and/or promotional properties does not reveal its *raison d'être*, but, rather, establishes a mode of description» [Kozinsky et al. 1988: 698]. В самом общем виде цель предлагаемого ниже анализа – выявить «*raison d'être*» русских АВК, т. е. выяснить, как и для чего они используются в речи.

Вообще говоря, активизация обсуждаемой модели – это следствие расширения модели образования возвратных глаголов, традиционно называемых «посессивно-рефлексивными возвратными глаголами» [Князев, Недялков 1985] или «возвратными глаголами включенного неодушевленного объекта» [Кретов 1978]. При этом в большинстве работ, где так или иначе затрагивались «возвратные глаголы включенного неодушевленного объекта» (а упоминаются они почти во всех основных работах по русским возвратным глаголам, например, помимо уже названных, в [Янко-Триницкая 1962; Gerritsen 1990; Князев 2005: 182–183]), в сферу рассмотрения попадали в основном лишь наиболее устоявшиеся образования такого рода, т. е. такие глаголы, как, например, *зажмуриться* ‘зажмурить глаза’, *упаковаться* ‘упаковать вещи’, *потратиться* ‘потратить деньги’, *строиться* ‘строить жилье, дом, домашние постройки’, *заправиться* ‘заправить транспортное средство (например, бензином)’, *сосредоточиться* ‘сосредоточить внимание’, *печататься* ‘печатать свои сочинения’. Неэксплицированный участник таких лексикализованных возвратных образований, как неоднократно отмечалось в литературе, идиосинкратически закреплен за конкретной лексемой; например, действительно, «*тратиться* можно деньги, зарплату, стипендию, бумагу, (переносно) силы, слова и т.п. – *тратиться* обозначает только ‘тратить деньги, средства’» [Янко-Триницкая 1962: 175]. Однако в ходе расширения этой модели (а единственной известной мне работой, где это расширение было отмечено, является недавняя статья Б.Ю. Нормана [Норман 2004]),

² Именная группа *компьютерную программу* выбрана мною условно, как в принципе подходящая для передачи требуемого смысла. Подразумеваемый объект может быть обозначен и другими референтными выражениями, например, названием конкретной программы, словосочетанием *эту штуковину* и т.д.

³ Предельным случаем понижения партиципанта, претендующего на статус Дп, М. Полинская считает и его удаление из синтаксической структуры.

наблюдаемого в спонтанной речи и проиллюстрированного высказываниями (1)–(5), жесткая связь между возвратной лексемой и характером неназванного участника ситуации нарушается, что подтверждается хотя бы возможностью различной интерпретации неназванного участника в разных высказываниях с одним и тем же антипассивным возвратным глаголом (далее – АВГ):

- (7) *Ну давай, Ленка, закрывайся.* (= Закрывай дверь). {Адресат (NB!) этого высказывания только что покинул квартиру, на пороге которой находится говорящий}.
- (8) *Уже закрываться пора.* (= Пора закрывать компьютерные программы). {Произнесено в офисе при приближении времени, на которое было назначено отключение электроэнергии}.
- (9) *Ну что, закрываемся?* (= Закроем карты?). {«Закреть карты» или «играть втемную» – такой способ розыгрыша, при котором карты не кладутся на стол}.

Таким образом, правильная интерпретация рассматриваемых употреблений, в отличие от лексически закрепленных «возвратных глаголов включенного объекта», невозможна без обращения к конкретной ситуации речи. Другими словами, подобные возвратные глаголы не вполне корректно называть глаголами **включенного** объекта, ведь здесь семантика неэксплицированного участника не включена в значение возвратного глагола на уровне словаря (как в случае с глаголами типа *зжмуриться, упаковаться, потратиться* и т.п.); эти глаголы точнее было бы, наверное, называть возвратными глаголами **опущенного** объекта.

По всей видимости, для таких конструкций верно достаточно общее утверждение о том, что «sentence constituents may be omitted provided that the information conveyed by that part of the sentence is self-evident in the particular context so that the communicative process is unimpaired» [Brecht, Levine 1985: 122–123]. Проблеме невербализации компонентов семантики высказывания посвящена значительная литература; из недавних исследований такого рода на материале русского языка следует отметить обсуждение в [Падучева 2004: 427–428]. При этом на уровне аргументной структуры предиката выделяются по крайней мере три типа причин возможной невербализации участника, которые являются едва ли не универсальными, а именно, i) генерализованное прочтение, ii) семантическая инкорпорация в лексическое значение эксплицитно выраженных компонентов высказывания и iii) опущение (а значит, и интерпретация) с опорой на контекст/конситуацию. Так, например, все три типа причин невербализации в принципе возможны для безобъектного использования русских переходных глаголов, ср. *Петя медленно читает* (генерализованное прочтение), *Он в последнее время много пьет* (инкорпорировано значение объекта ‘алкогольные напитки’), *Ну что, прочитал?* (опущение с опорой на контекст, высказывание может сопровождаться дейктическим жестом). Исследователями отмечался определенный параллелизм между типами потери переходности в русских конструкциях с непереходными употреблениями словарно переходных глаголов и в конструкциях с возвратными глаголами, образованными от переходных глаголов [Янко-Триницкая 1962: 72–76, 172–174]. Также хорошо известно, что существуют возвратные конструкции с генерализованным прочтением объекта (абсолютивные глаголы, например, *кушаться в собака кусается*) и с семантической инкорпорацией объекта (возвратные глаголы «включенного неодушевленного объекта» – *зжмуриться, упаковаться* и т.д.), т.е. возвратные глаголы, относящиеся к названным выше типам i) и ii) соответственно. Таким образом, конситуативные АВГ опущенного объекта, безусловно относящиеся к типу iii, оказываются своего рода недостающим звеном для традиционных описаний русских возвратных глаголов, ведь в этих описаниях обычно не рассматривается возможность интерпретации устраненного объекта при возвратном глаголе с опорой на контекст/конситуацию.

При этом при обсуждении случаев синтаксической невыраженности, по крайней мере, применительно к русским возвратным глаголам, чаще всего задача состоит в том, чтобы правильно выбрать способ **интерпретации** эксплицитно невыраженной семанти-

ки; в каком-то смысле такой подход соответствует позиции **слушающего**. Рассмотрение в этом ключе русских возвратных глаголов – это, помимо всего прочего, основной подход к классификации некоторых подклассов этих глаголов (ср. традиционное противопоставление абсолютных возвратных глаголов и возвратных глаголов включенного объекта, а также попытку более четкого противопоставления лексических и ситуативных АВГ в [Say 2005]).

Вопрос же, который ставится гораздо реже – опять же, по крайней мере, применительно к русским возвратным конструкциям, – это вопрос о функциональной противопоставленности структурно несовпадающих конструкций, имеющих сходное семантическое наполнение; в каком-то смысле такой подход больше соответствует позиции **говорящего**, выбирающего одну из нескольких доступных структур, при помощи которых в принципе может быть выражено необходимое когнитивное содержание.

Основная цель предлагаемого здесь обсуждения как раз и заключается в том, чтобы выявить дискурсивные и прагматические предпосылки использования АВК без ущерба для протекания коммуникации, позволяющие говорящему предпочесть АВК другим, в частности, более эксплицитным способам выражения необходимого смысла. Эти прагматические предпосылки максимально отчетливо прослеживаются в конструкциях с наиболее конситуативно-ориентированными, т.е. нелексикализованными АВГ, на которые и будет в основном опираться дальнейшее изложение.

Материалом предлагаемого обсуждения явился корпус высказываний, содержащих АВК. По большей части в корпусе фиксировались именно инновативные, наиболее отчетливо требующие контекстной поддержки и часто кажущиеся ненормативными высказывания. В среднем мне удавалось зафиксировать одно окказиональное антипассивное образование в день, что свидетельствует о достаточно высокой распространенности этой модели. После того, как количество собранных высказываний превысило 100, я стал регистрировать только те АВК, которые оказывались диагностическими для уточнения какого-то аспекта анализа. На данный момент корпус насчитывает около 250 высказываний, в нем представлено около 180 различных АВГ. В тех случаях, когда это было возможно, – а такая возможность была, разумеется, далеко не всегда, – я старался получить у говорящего, породившего высказывание с АВК, интроспективный комментарий о предполагаемом значении высказывания и о причинах, заставивших его породить высказывание именно в такой форме.

Следует особо подчеркнуть, что среди этих комментариев мне не встретилось ни **одного** указания на то, что обсуждаемая форма была произнесена по ошибке, т.е. вследствие сбоя при порождении высказывания. Также мною не было зафиксировано ни одного случая, когда говорящий заменил бы произнесенную АВК на более эксплицитную конструкцию. Другими словами, анализируемые высказывания, по крайней мере, их подавляющее большинство, были порождены в соответствии с речевым планом говорящего. Этот факт указывает на то, что эта конструкция входит в арсенал доступных языковых средств даже для тех носителей языка, которые оценивают ее как окказиональную, ненормативную, и связывают ее с «небрежностью» разговорной речи. Сказанное еще раз подтверждает, что «возвратный антипассив» является продуктивным грамматическим явлением, занимающим свое место в морфосинтаксическом устройстве современного русского языка.

II. КОНСИТУАТИВНЫЕ АВГ КАК ДИСКУРСИВНЫЙ КОМПРОМИСС

Представляется, что у любой конситуативной АВК есть два основных «конкурента» – обычная переходная конструкция с эксплицитным указанием на «подразумеваемый» объект и конструкция с исходным переходным глаголом, позиция прямого дополнения при котором просто оказывается незаполненной. Так, для реально зафиксированного высказывания (10) можно сконструировать парафразы (11) и (12), при этом в плане пропозициональной семантики все три высказывания оказываются денотативно идентичными:

(10) *Вы там сами завернетесь?* (= Завернете свою покупку?). {Продавщица обращается к покупательнице в магазине, выясняя таким образом, может ли она переключить свое внимание на следующего покупателя}.

(11) *Вы там сами завернете свою покупку?* (см. примечание 2)

(12) *Вы там сами завернете \emptyset_{ref} ?*

При этом существенно то, что выбор АВК не является лексически закрепленным, ведь любой переходный глагол может быть, естественно, использован в переходной конструкции и почти любой – в конструкции с \emptyset_{ref} , т.е. с контекстно опущенным прямым дополнением (по крайней мере, в достаточно «сильном» контексте)⁴. Таким образом, использование АВК в первую очередь определяется дискурсивно-прагматическими факторами, которые заставляют говорящего предпочесть ее двум другим конкурирующим конструкциям.

Другими словами, (почти) всегда, когда в речи фиксируется конструкция с конситуативным АВГ, в принципе можно представить себе, что на ее месте была бы использована любая из двух конкурирующих конструкций⁵. Какие же дискурсивные функции выполняют АВК, в каких случаях в речи используются они, а не конкурирующие с ними и в целом более частотные конструкции?

Предлагаемый ответ на этот вопрос в целом сводится к тому, что как обычная переходная конструкция, так и конструкция с ненасыщенной валентностью переходного глагола имеют дискурсивные импликации, которые не всегда желательны для говорящего. В этом смысле конситуативные АВК – это своего рода компромисс, позволяющий говорящему избежать тех нежелательных «побочных эффектов», с которыми связано использование двух других конструкций.

Рассмотрим сначала соотношения между АВК и переходной конструкцией. Следует заметить, что привычной прагматической импликацией использования переходной конструкции является то, что «the change / preservation of the state of the DO [direct object. – S.S.] referent is pragmatically relevant» [Kozinsky et al. 1988: 675]; вообще говоря, наблюдения о прагматической выделенности позиции прямого дополнения делались в литературе неоднократно, см., например, обсуждение – уже на русском материале – в [Апресян 1983: 7 и далее].

При этом из типологических исследований хорошо известно, что антипассивизация, т.е. удаление участника из приоритетной позиции прямого дополнения, – это операция, которая часто «highlights the activity, and thereby takes some weight off its effect upon the object» [Cafford 1976: 169]. Именно такая функция, если понимать ее в прагматической, а не в семантической плоскости, является ключевой для АВГ.

⁴ Вопрос о том, следует ли трактовать это явление как эллипсис или как (глубокую) нулевую анафору, выходит за рамки предлагаемого обсуждения. Символ \emptyset_{ref} здесь и далее используется условно вслед за [Kozinsky et al. 1988].

⁵ Из высказанного утверждения о принципиальной заменимости конситуативных АВГ на другие две обсуждаемые конструкции не следует, впрочем, делать вывод о том, что и всякий переходный глагол заменим на конситуативный АВГ. В целом, конечно, конситуативные АВК имеют гораздо более ограниченную дистрибуцию, чем переходные конструкции и конструкции с контекстно незаполненной валентностью переходного глагола. Разумеется, ключевым фактором, существенно понижающим заменимость переходных конструкций и конструкций с \emptyset_{ref} на АВК, является стилистический фактор: для многих носителей языка и для многих ситуаций и регистров речи использование АВК неприемлемо. Однако этот фактор в дальнейшем не будет учитываться: дискурсивно-прагматические свойства АВК будут рассматриваться только для ситуации, когда их использование не «блокировано» по стилистическим соображениям. Помимо этого, наблюдаются и лексические ограничения на образование АВК, однако, как будет показано ниже, эти ограничения являются своеобразным преломлением более общих дискурсивно-прагматических свойств этой конструкции.

Другим обобщением, имеющим отношение к использованию переходных конструкций, является то, что «the majority of languages conform to a principle of discourse organisation according to which the newly introduced referent is preferably put in DO position» [Kozinsky et al. 1988: 673]; см. также дальнейшие отсылки к целому ряду работ, в том числе к [Givón 1979: 51–83]. Это предположение в последние годы интенсивно обсуждается в рамках гипотезы о так называемой «preferred argument structure»; обзор обширной литературы по этой гипотезе см. в [Du Bois et al. 2003].

Имея в виду все сказанное о переходной конструкции, обратимся к обсуждению интересующей нас конкуренции конструкций на примере высказываний (10) и (11). Итак, если бы говорящего, породившего высказывание (10), интересовало состояние имплицитного референта (покупки) и/или этот референт имел бы высокие шансы быть упоминаемым в последующем дискурсе, то говорящий, скорее всего, предпочел бы переходную конструкцию (11). Это, например, практически неизбежно произошло бы при следующей прагматической установке говорящего: {Я знаю, что ваша покупка – ценный и требующий бережного обращения предмет. Я хочу понять, сможете ли вы завернуть его должным образом.}. Использование АВК (10) в таких прагматических условиях кажется, напротив, совершенно неприемлемым.

Действительный контекст, в котором было зафиксировано высказывание (10), был совершенно иным; прагматика этого высказывания заключалась в том, чтобы установить, кто из двух участников диалога выполнит действие (заворачивание покупки), сам характер которого находится в пресуппозиции (ср. употребление слова *сами*). По всей видимости, установка говорящего была примерно следующей [= Вашу покупку надо завернуть, это понятно. Это должен сделать кто-то из нас. У меня есть другие дела: я должна обслужить следующего клиента. Поэтому я надеюсь, что вы сделаете все сами, без моего участия].

Что же касается другого конкурента АВК, т.е. конструкции с ненасыщенной валентностью на прямое дополнение переходного глагола (\emptyset_{ref}), то ее использование в основном ограничивается теми случаями, когда референция или родовая принадлежность⁶ соответствующего участника уже установлена в предшествующем дискурсе, обычно – на основе эксплицитного упоминания. Особенно характерно такое нулевое выражение для участника с высокой топиальностью, для **темы** сообщения (ср. «[u]ninterrupted theme [in Russian. – S.S.] is zero. (...). The theme is overtly marked on its first occurrence. Thereafter it is marked with anaphoric zeroes» [Nichols 1985: 173]). Примером высказывания с \emptyset_{ref} является, например, следующее предложение:

(13) *Я тут накупил супов растворимых – так хорошо! Даже варить \emptyset_{ref} необязательно. Разбавил в воде \emptyset_{ref} , и всё.*

В приведенном высказывании кажется возможным употребление обычной, ненулевой, анафоры⁷; представить же себе на месте переходных глаголов соотносительные АВГ в подобных контекстах, по всей видимости, совершенно невозможно.

Таким образом, несмотря на денонативную «синонимичность», все три обсуждаемые конструкции имеют свои особые прагматические побочные эффекты, которые можно условно представить на примере реально зафиксированного высказывания (16) и его «конкурентов» (14) и (15):

⁶ Не во всех случаях, когда используется знак \emptyset_{ref} , можно говорить о референции подразумеваемого объекта; точнее будет сказать, что этот знак используется тогда, когда необходимый смысл мог бы быть выражен при помощи полной именной группы, не обязательно являющейся референтной, ср. следующие высказывания: – Ты когда-нибудь видел живого слона? – Нет, никогда не видел \emptyset_{ref} ! Здесь \emptyset_{ref} соотносимо с именной группой *живого слона*, но имеет нереферентное прочтение.

⁷ Вопрос о выборе между нулевой и местоименной анафорой в русском языке требует отдельного рассмотрения и здесь обсуждаться не будет.

- (14) *Ты уже сдал экзамен по диалектологии?* {«Дефолтная» переходная конструкция. Неестественна перед дверьми аудитории, откуда студенты выходят после экзамена. Напротив, естественна в ситуации обсуждения между двумя студентами успехов в сдаче зачетно-экзаменационной сессии}.
- (15) *Ну что, сдал \emptyset_{ref} ?* {Типовая импликация / конситуация: «Я знаю, что у тебя был сложный и важный экзамен. Мне не было вполне очевидно, что ты можешь его успешно сдать. Я вижу, что ты выходишь из аудитории. Я хочу узнать, удалось ли тебе сдать экзамен. Мне это небезразлично»}.
- (16) *Ну что, сдался?* {Типовая импликация / конситуация: «Мы давно договорились с тобой пойти после твоего экзамена туда-то и туда-то. Результат твоего экзамена меня, в общем-то, интересует мало. Я звоню тебе по телефону, чтобы узнать, свободен ли ты наконец»}.

Иногда в случаях использования АВГ возникает ощущение, что референция подразумеваемого объекта все-таки создается именно левым контекстом, как, например, в следующем высказывании:

- (17) – *Ты уже снимаешь кассу?* – *Да нет, рано еще сниматься.*

В действительности же, однако, в этом примере значение АВГ не полностью соответствует значению исходного переходного глагола с предупомянутым референтом в позиции прямого дополнения. Так, говорящий, породивший вторую реплику в примере (17), выражает мысль о том, что в принципе еще слишком рано для того, чтобы совершать обсуждаемое действие, так сказать, «заниматься кассосниманием», т.е. подразумеваемый объект здесь имеет генерический статус. Если бы имелась в виду конкретная касса, о которой и был задан вопрос, то скорее всего была бы употреблена конструкция с \emptyset_{ref} или с анафорическим местоимением: *Да нет, (мне) рано еще \emptyset_{ref}/ee_{ref} снимать.*

Теперь можно подвести предварительные итоги обсуждения прагматических свойств трех обсуждаемых типов конструкций. Представляется, что АВК схожа с конструкцией с нулевой анафорой в том, что они обе являются по природе контекстными (эллиптическими в широком смысле слова), а также тем, что они не фокусируют внимание слушающего на изменениях в состоянии объекта. С другой стороны, АВК отличается от конструкций с нулевой анафорой тем, что «опущение» объекта в АВК не опирается на предшествующие эксплицитные упоминания определенного референта; скорее оно обуславливается нерелевантностью и/или очевидностью соответствующего участника. Наконец, АВК отличаются как от переходной конструкции, так и от конструкции с нулевой анафорой тем, что их подразумеваемый объект практически никогда не упоминается эксплицитно в последующем дискурсе. Схематично дискурсивные свойства имплицитного участника АВК по сравнению со свойствами соответствующего участника двух других конструкций представлены в Таблице 1:

Таблица 1

Дискурсивные свойства объектов в переходной конструкции, АВК и конструкции с \emptyset_{ref}

	Переходная конструкция	АВК	\emptyset -анафора
Контекстность интерпретации	–	+	+
Прагматическая релевантность изменения состояния O	вероятна	–	маловероятна
Предшествующее упоминание O	маловероятно	очень маловероятно	вероятно
Последующее упоминание O	возможно	–	возможно

Как представляется, распределение свойств, отраженных в двух нижних строках Таблицы 1, соответствует схематичному представлению относительной топиальности Агенса и Пациенса в конструкциях разных типов, предложенному Т. Гивоном при обсуждении антипассивных конструкций на материале эргативных языков (Таблица 2 с незначительными изменениями воспроизводится по [Givon 1984: 164]):

Таблица 2

Относительная топиальность Агенса и Пациенса в конструкциях разных типов

Clause type	relative topicality of Agent (AGT) and Patient (PAT)
Ergative	AGT > PAT
Antipassive	AGT >> PAT
Passive	PAT >> AGT

Учитывая то, что в качестве двух мер топиальности Т. Гивон использует количество упоминаний в предшествующем и последующем дискурсе, предложенное выше представление дискурсивных свойств русских АВК (Таблица 1, точнее две ее нижние строки) оказывается замечательно параллельно типологическому обобщению Т. Гивона, согласно которому антипассивные конструкции регулярно используются в языках мира в ситуации особенно низкой топиальности второго участника.

По всей видимости, особым распределением внимания говорящего между участниками ситуации при использовании АВК определяются и некоторые ограничения на их образование, связанные с одушевленностью, а именно то, что не фиксируются такие АВК, где позиция подлежащего заполнена неодушевленным именем (18), а также такие АВК, где «подразумеваемый» объект является одушевленным (19):

(18) **Это ведро вместится* (предполагаемое значение: 'вместит то, что в него хотят налить').

(19) **Ну что, побился?* (предполагаемое значение: 'побил мальчишек во дворе' и т.п.).

Запрет на образование АВК в такого рода ситуациях, по всей видимости, связан с перевернутой корреляцией синтаксических и дискурсивных рангов – здесь в позиции потенциального прямого дополнения находится одушевленный референт, т.е. референт, тяготеющий к более высокой топиальности, чем референт подлежащего, – мощнейшая корреляция топиальности и одушевленности хорошо известна.

Сформулированные предположения о природе АВК в их соотношении с конкурирующими конструкциями хорошо ложатся на имеющиеся наблюдения о существовании своего рода промежуточной зоны в известном противопоставлении «данного» и «нового». Так, например, в известной работе Дж. Дюбуа, наряду с традиционными понятиями «данное» («given») и «новое» («new»), вводится понятие «доступного» («accessible»), «I classified a mention as ACCESSIBLE (a) if it was part of a previously evoked, entity-based frame (...), although previously unmentioned; or (b) if it had been mentioned previously, but more than 20 intonation units previously ... – a situation that arose rarely» [Du Bois 1987: 816]; аналогичное тройственное противопоставление, хотя и в несколько иных терминах обсуждается и в [Chafe 1987] – «доступные» референты Дж. Дюбуа в целом соответствуют «полуактивированным» в терминологии У. Чейфа.

Используя подобный понятийный аппарат, можно отметить, что в русском языке н о в ы е референты в конструкции с переходным глаголом тяготеют к позиции эксплицитного ПД, выраженного полной ИГ, анафора (и, в частности, нулевая анафора) типична для д а н н ы х референтов, а АВК употребительны в случае, когда аргумент, претендующий на статус ПД, находится в промежуточной зоне, является только «доступным» в терминах Дж. Дюбуа, см. обсуждение реально зафиксированного высказывания (16) и его «конкурентов» (14) и (15).

Подводя итоги всему сказанному по поводу дискурсивных свойств АВК, можно заключить, что их основная функция связана с 1) стремлением говорящего избежать нежелательного фокусирования внимания слушающего на состоянии или изменении состояния прагматически нерелевантного участника с макроролью Пациентива – отсюда нежелательность переходной структуры – и 2) с нетопикальным статусом этого участника и его недоступностью для анафорического восстановления.

Следует, однако, особо подчеркнуть, что в выдвинутой здесь гипотезе речь идет именно о **прагматической нерелевантности** участника и изменения его состояния, которая не полностью идентична его референциальному статусу (референтности/нереферентности, определенности/неопределенности). Для того чтобы это проиллюстрировать, приведем АВК, в которых опущенные прагматически нерелевантные объекты занимают различное положение на шкале референтности/определенности. Можно начать с наиболее ожидаемого – если судить по типологически установленным функциям антипассива – контекста, а именно со случая, где невербализован нереферентный участник:

(20) *Нельзя макать!* (= Нельзя – т.е. негигиенично – макать еду в баночку с соусом).

Интересно, однако, то, что подобные АВК с нереферентным подразумеваемым объектом составляют явное меньшинство в корпусе высказываний. Гораздо чаще опускается в конструкциях с АВК референтный участник – неопределенный, как в высказываниях (21)–(22), или определенный, как в высказываниях (23)–(24):

(21) *Мне нужно там переписаться.* (= Переписать файлы). {Говорящий объясняет свое стремление попасть к компьютеру}.

(22) *Вы что, обменяться?* (= Обменять валюту). {Вопрос задан охранником обменного пункта входящему клиенту}.

(23) *Ты уже завелся?* (= Завел машину). {Пассажир задает вопрос водителю}.

(24) *Сейчас давай переложимся туда.* (= Переложим собранные грибы из корзины в короб).

Несмотря на то, что в высказываниях (20)–(24) представлены неэксплицированные участники с различными референциальными статусами, все эти участники имеют то общее свойство, что их «доступность» определяется активацией определенного экстралингвистического фрейма (например, знаний о том, что клиенты приходят в обменный пункт для того, чтобы обменять деньги).

III. ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВК

Теперь, когда основная дискурсивная функция АВК была определена, целесообразно привести несколько групп примеров, отражающих различные преломления этой функции.

1. Заранее установленное соответствие пары участников ситуации

Часто прагматическая нерелевантность объекта, вызывающая использование АВК, возникает тогда, когда само соответствие пары Принципал-Пациентив установлено до того, как произносится соответствующее высказывание; как было упомянуто выше, чаще всего такое соответствие устанавливается с опорой на доступный и говорящему, и слушающему «культурный фрейм»⁸, как в следующем примере:

⁸ Ср. понятие «frames-based generic reference», используемое Т. Гивоном: «A culture is much like an organism. Its generically-shared knowledge presumably stored in the permanent semantic memory, is hierarchically organized, with smaller sub-frames ('nodes') fitting into larger frames (...). When a particular frame is activated (...), its subframes, including potential referents, are automatically also activated (...). The availability of referents through cultural frames is not restricted to definite referents, nor even to referring nominals» [Givón 1990: 926–927].

(25) *Сейчас Екатерина Иванова будет перезаряжаться.* (= Перезарядить свою винтовку).

В этом высказывании, зафиксированном в репортаже с соревнований по биатлону, имплицитный объект 'винтовка' ожидаем: спортсмены, участвующие в соревнованиях, совершают весьма ограниченное число типовых действий, перезарядка винтовки – одно из них. Таким образом, характер подразумеваемого объекта здесь очевиден и для комментатора, и для слушателей. Можно привести и другие примеры, схожие с (25) по свойствам конситуации:

(26) *Сейчас наеду, укрупнюсь.* (= Укрупню изображение). {Говорящий держит в руках цифровой фотоаппарат, подразумеваемый объект очевиден}.

(27) *А, стабилизиемся!* (= Стабилизи́ем выигрыш). {Зафиксировано в телевизионной интеллектуальной игре, в которой по правилам игрок может *стабилизировать* свой выигрыш, т.е. сделать его «несгораемым»; поскольку правила игры известны участникам речевого акта, подразумеваемый объект также оказывается очевидным}.

(28) *Как-то ты плохо выставился.* (= Плохо, т.е. неудобно для говорящего, выставил бильярдный шар на поле). {Как и в примере (27), описываемое действие – выставление неправильно забитого шара на поле – регламентировано правилами игры, в данном случае, игры на бильярде}.

Как видно из примеров (25)–(28), использование АВК очень типично для таких ситуаций, которые связаны с **четко отрегулированными сферами человеческого поведения**, в которых набор ожидаемых действий лица-субъекта (и объектов этих действий) строго ограничен, например, для различных игр и соревнований, которые характеризуются наличием правил, регламентирующих типовые действия участников. Так, например, ситуацией, провоцирующей регулярное использование АВК, является ситуация игры в карты – в рамках этого фрейма сами 'карты' часто оказываются ожидаемым, очевидным объектом того или иного типового действия. Если говорящему необходимо каким-либо определенным образом идентифицировать определенную карту или несколько карт (например, назвать ее масть и/или достоинство), то, конечно, должна быть использована полноценная переходная конструкция (*клади пикового валета, скидывай червей* и т.п.); однако, если такая идентификация не необходима, то систематически регистрируются АВК:

(29) *Не кладись, сейчас не твой ход.* (= Не клади карты).

(30) *Теперь можешь скидываться.* (= Скидывать ненужную карту).

(31) (...) *еще до того, как он начал выкладывать.* (= Выкладывать карты).

(32) *Ну что, откроемся?* (= Откроем карты), ср. высказывание (9) выше.

Можно заметить, что переходная конструкция, т.е. эксплицитное название подразумеваемого объекта (*карты* или *карт*) в ситуациях, подобных приведенным под номерами (29)–(32), оказывается избыточным, а контекстных оснований для использования конструкции с \emptyset_{ref} здесь нет. Так, например, наряду с зафиксированным высказыванием (30), в принципе допустима и эллиптическая конструкция:

(33) *Теперь можешь скидывать \emptyset_{ref} .* (= Скидывать ненужную карту).

Однако для того, чтобы высказывание (33) стало контекстно адекватным, необходимо, чтобы был активирован конкретный референт (например, такое высказывание возможно, если слушающий уже продемонстрировал ту карту, которую он собирается *скидывать*), а не общий фрейм, сама возможность обозначаемого действия, т.е. скидывания карт в данный момент игры.

Другим примером отрегулированных сфер поведения являются различные типовые профессиональные действия. Образование соответствующих АВГ можно проиллюстрировать примерами, приводимыми Б.Ю. Норманом: *сниматься* ‘снимать кассу’ (в речи кассирш), *перегоняться* ‘перегонять материал по спутниковой связи’ (в речи телевизионщиков), *загружаться* ‘загружать информацию’ (в речи компьютерщиков) [Норман 2004: 404].

С обсуждаемым свойством ситуаций использования АВК, т.е. активизированностью определенного фрейма, связана и другая особенность этих конструкций – то, что они используются почти исключительно по отношению к запланированным и контролируемым действиям; только при кодировании ожидаемых действий говорящий теоретически может обойтись без эксплицитного упоминания объекта. В собранном корпусе высказываний не фиксируются АВГ, сопровождаемые наречиями типа *случайно*, *нечаянно* и т.д., – когда то или иное действие является неожиданным, незапланированным, оно само и его объект представляют новую информацию и говорящий вынужден использовать полную переходную конструкцию.

На этом этапе можно вспомнить, что при рассмотрении (нормативных) глаголов с включенным объектом (лексических АВГ) в литературе неоднократно указывалось на наличие между их субъектом и (невербализованным) объектом посессивных отношений, чаще всего – отношений неотчуждаемой или квазиотчуждаемой принадлежности [Янко-Триницкая 1962; Кретов 1978; Gerritsen 1990]. Интересно то, что в учитывающей материал конструкций, называемых мной конситуативными АВК, статье [Норман 2004] мысль об обязательном наличии посессивных отношений между субъектом и объектом этих конструкций не отвергается эксплицитно, но несколько корректируется. Б.Ю. Норман утверждает, что «объект, включаемый в семантику новообразованного возвратного глагола, находится не в случайных, но в **системных отношениях** с субъектом этого действия» [Норман 2004: 405; выделение наше. – С.С.]. В качестве иллюстрации этого тезиса, наряду с традиционными примерами, где подразумеваемый объект связан с субъектом именно посессивными отношениями («*Он вложился* – это значит ‘он вложил свои средства’...» [Норман 2004: 405]), приводятся и единичные примеры, не укладывающиеся в идею о посессивности в собственном смысле слова: «*Она убирается* – ‘она убирает квартиру’ (не случайную, а одну и ту же, в каких-то своих целях)» [Норман 2004: 405].

Высказанное выше предположение о роли когнитивных фреймов при использовании конситуативных АВК позволяет по-новому взглянуть на вопрос о связи этих конструкций с семантикой посессивности. По всей видимости, посессивные отношения между действующим лицом и имплицитным объектом АВК – это лишь **частный случай** тех отношений, которые могут связывать в единый фрейм двух участников ситуации, описываемой при помощи АВК. Действительно, среди высказываний с конситуативными АВГ фиксируется довольно много таких конструкций, для которых парафразы с посессивным притяжательным местоимением кажутся невозможными или очень неестественными:

(34) *Я залился сегодня на сто рублей.* (= Залил бензин в бак машины). Ср. ^{???}*Я залил мой бензин на сто рублей.*

(35) *Надо скопироваться здесь.* (= Скопировать кусок текста из одного файла в другой). Ср. ^{???}*Надо скопировать мой кусок текста.*

При этом, разумеется, сама по себе невозможность эксплицитного выражения посессивных отношений в соотносительной переходной конструкции не свидетельствует о том, что такие отношения не связывают действующее лицо и подразумеваемый объект АВК на уровне семантики, ведь, если понимать посессивные отношения расширительно, то такие отношения обычно, вообще говоря, наблюдаются в АВК, в частности, и в высказываниях (34)–(35). Однако, можно заметить, что в общем-то любой объект сознательного целенаправленного действия оказывается связан посессивными отноше-

ями в расширенном понимании с субъектом этого действия⁹. Получается, что при расширенном понимании посессивности встречаемое в литературе утверждение о том, что АВГ **выражают** посессивные отношения, не имеет реального содержания, поскольку при таком подходе любой объект в обычной переходной конструкции оказывается связан с Агенсом именно такими отношениями. Что же касается принадлежности как таковой, т.е. узко понимаемых посессивных отношений, то они характеризуют конситуативные АВК далеко не всегда, что иллюстрируется, и примерами (34)–(35), и – еще более ярко – следующим высказыванием:

(36) *Я не всегда, но в большинстве случаев тоже **повторюсь**. (= Повторяю заявку предшествующего игрока).*

Высказывание (36) зафиксировано при игре в преферанс; отметим, что правилам этой игры иногда можно повторять заявку **другого** игрока, **свою** же заявку повторять нельзя никогда. Таким образом, глагол *повторяться* употреблен здесь не в привычном значении, в котором компонент посессивности в обычном понимании, действительно, присутствует ('повторять **свое** высказывание или **свое** действие'). Высказывание (36) еще раз подтверждает и то, что возможность образования конситуативного АВГ связана не с языковой «устойчивостью глагольно-именных сочетаний» (это предположение, напомню, было высказано Б.Ю. Норманом [Норман 2004: 404]), а с **внеязыковой** заданностью соответствия действия и его возможного объекта в рамках определенного ситуативно активированного фрейма.

Что же касается тезиса Б.Ю. Нормана о необходимости **системных** (противопоставленных случайным) отношений между объектом, включаемым в семантику АВГ, и субъектом этого действия [Норман 2004: 404], то этот тезис в целом подтверждается с тем, однако, нюансом, что если **случайными** такие отношения, по всей видимости, действительно, быть не могут никогда, то степень их **системности** различна для разных конструкций. Для употребления в речи АВК необходимо, чтобы в **конкретной речевой ситуации** эти отношения были тем или иным образом фиксированы, заданы. То же, насколько эти отношения являются собственно системными, т.е. устойчивыми, внеконтекстными, влияет не столько на возможность употребления конкретного АВГ в речи, сколько на вероятность его закрепления в узусе. Если определенная АВК опирается на такой фрейм, который оказывается актуализован лишь в не вполне типичной ситуации, то соответствующий АВГ едва ли станет использоваться в речи регулярно – многие из приводившихся выше высказываний с АВК могли быть употреблены и адекватно поняты лишь в своей конситуации. Если АВК опирается на такой фрейм, который регулярно актуализуется лишь при языковом оформлении какой-то специфической сферы деятельности, то соответствующий АВГ может стать частотным именно для таких ситуаций и для носителей языка, которые регулярно сталкиваются с такими ситуациями (отсюда, например, упоминавшиеся выше профессионализмы). Наконец, АВГ может опираться на крайне устойчивые внеситуативные фреймы и в таком случае для этого образования велика вероятность закрепления в системе языка. Именно поэтому, как представляется, среди лексически закрепленных АВГ очень много таких, в которых инкорпорируемым объектом является та или иная часть тела субъекта: в отличие от, например, ситуации «игрок и (повторяемая им) заявка предыдущего игрока при игре в преферанс» – см. высказывание (36), – когнитивный фрейм «человек и (типовое действие направленное на) его часть тела» является универсальным и внеситуативным. Та-

⁹ Такое грамматическое осмысление внешней действительности проявляется – среди прочего – в том, что при помощи базовой посессивной конструкции во многих языках зачастую могут быть выражены самые разные типы отношений между объектом и лицом («посессором»), которое осуществляет с этим объектом какие-либо действия, не обязательно являясь «обладателем» в собственном смысле слова, см. об этом, например [Koptjevskaja-Tamm 2002].

ким образом, **вероятность закрепления** в узусе АВГ связана со степенью **стабильности** тех фреймов, на основе которых они образуются; понятно, что наиболее стабильными являются фреймы, связанные с отношениями (квази)неотчуждаемой принадлежности.

2. Конситуативные АВК и (хронологическое) упорядочивание действий

Частным следствием предложенной выше общей прагматической характеристики конситуативных АВК является также и то, что эти конструкции особенно частотны в тех контекстах, когда сам характер обозначаемого глаголом действия и набор его участников доступны коммуникантам заранее и единственное, что устанавливается в высказывании, – это относительная или абсолютная характеристика **порядка** выполнения действий, как, например, в следующем высказывании:

(37) *Вы уже заказались?* (= заказали то, что хотели). {Официантка выясняет у посетителей кафе, сделали ли они уже заказ}.

Установление порядка действий очень часто служит планированию, при этом речь может идти и о собственных действиях говорящего (38), и о действиях слушающего (39), и об их совместных действиях (40); некоторые примеры такого типа приводились и выше:

(38) *А потом я подамся.* (= Подаю документы на изготовление нового паспорта). {Перед этой репликой говорящий выяснял, когда он сможет получить необходимые для паспорта фотографии}.

(39) *Ты иди пока, открывайся.* (= Открывай файл). {Говорящий обещал слушающему помочь в редактировании некоего файла. Теперь говорящий понимает, что у него мало времени, и просит слушающего ускорить процесс, заранее открыв нужный файл на компьютере}.

(40) *Ну что, убираемся?* (= Убираем посуду со стола, чтобы освободить на нем место). {= Пора ли уже убирать посуду со стола?}.

Неудивительно, что наречные выражения, отражающие взаимное упорядочивание действий, такие как *потом* (38), *еще не* (41) и особенно *уже* (37), (42)–(43) регулярно используются в конструкциях с конситуативными АВГ. Последнее наречие, *уже*, обнаруживается примерно в 12% всех высказываний с конситуативными АВГ:

(41) *Ты что, видел, что я еще не заводилась?* (= Еще не заводила машину).

(42) *Ну что, уже начали сдаваться?* (= Сдавать работы). {Диалог между двумя членами жюри на олимпиаде для школьников. Говорящий входит в аудиторию, где уже сидит слушающий, и хочет узнать, начали ли дети сдавать свои работы}.

(43) *Ты уже завязалась?* (= Завязала шнурки). {Говорящий собирается выйти из дома вместе со слушающим и ждет, пока тот завяжет специальные шнурки на верхней одежде}.

Можно заметить, что высказывания (37), (42)–(43) содержат общие вопросы, т.е. вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет». Сам характер события, о котором говорится в этих высказываниях, заранее известен говорящему, и он только хочет узнать, произошло ли уже это ожидаемое событие или нет. Так, например, в речевом акте, в рамках которого было порождено высказывание (42), коммуниканты разделяли то априорное знание, что участники олимпиады, выполнив задания, сдадут свои работы. Эксплицитное указание на «сдаваемый» объект не является необходимым для выполнения основной коммуникативной задачи высказывания, а именно, для выяснения того, начался ли уже нетерпеливо ожидаемый процесс сдачи работ.

3. АВК как альтернатива неинформативной номинации объекта

В некоторых случаях из тех, когда объект, претендующий на статус прямого дополнения, прагматически нерелевантен, говорящие к тому же не обладают знаниями об этом объекте, достаточными для того, чтобы осуществить его полноценную номинацию. Единственно возможный тип номинации в таких случаях – это тавтологическая экспликация того, что речь идет об объекте, над которым Агенс собирался произвести (должен был произвести, точно произвел и т.п.) действие, обозначенное глаголом, как в следующих примерах:

- (44) *Ну что, **выгрузись**, и пойдём.* (= Выгрузи то, что ты мне принес). {Слушающий пришел навестить говорящего в больнице; они вместе собираются выйти на прогулку. Говорящий хочет, чтобы слушающий сначала вынул из рюкзака то, что там лежит. При этом говорящий точно не знает, что находится в рюкзаке}.
- (45) *Здравствуйтесь, раздевайтесь, **доставайтесь**, **раскладывайтесь**.* (= Доставайте то, что вы принесли, раскладывайте эти вещи).

Отчасти примыкает к приведенным высказываниям и следующее:

- (46) *Сейчас **продам**ся и пойду скажу девочкам, чтобы вам курочки принесли.* {Говорящий – женщина, продающая пассажирам поезда съестное во время долгой остановки. *Сейчас **продам**ся и...* означает примерно следующее: ‘когда я закончу свои дела...’}.

Сам говорящий, породивший высказывание (46), скорее всего, знает, что он собирается продавать, но справедливо полагает, что **слушающему** это неизвестно и, в общем-то, абсолютно безразлично. Поэтому адекватной перифразой этой АВК, как и в случаях с высказываниями (44)–(45), могла бы быть, пожалуй, только переходная конструкция с весьма громоздким и неинформативным ПД, например, *когда я продам то, что хочу продать*.

Итак, использование АВК позволяет говорящим избегать неинформативных тавтологических номинаций. На примерах, приведенных под номерами (44)–(46), особенно хорошо видно, что функция АВК заключается в контекстной интранзитивации, необходимой из-за того, что подобранная для вербализации внешней действительности глагольная лексема является (сильно)переходной, а название объекта, с точки зрения говорящего, является избыточным или малоинформативным. Таким образом, здесь можно говорить об иконическом уподоблении синтаксической структуры высказывания его прагматической структуре. Как представляется, приведенные примеры ставят под сомнение высказанное Б.Ю. Норманом предположение о том, что возможность образования АВГ, называемых им посессивно-возвратными глаголами, связана с «устойчивостью глагольно-именных сочетаний» [Норман 2004: 404] – в случаях, подобных представленным под номерами (44)–(46), «исходные» переходные употребления не только не являются устойчивыми, но даже и восстанавливаются с некоторым трудом.

IV. ВЫВОДЫ

Итак, конситуативная АВК используется в русском языке в ситуации, когда и синтаксически переходная структура, и структура с незаполненной валентностью на прямое дополнение переходного глагола оказываются прагматически нежелательны. В частности, использование конситуативной АВК отражает 1) стремление говорящего избежать фокусирования внимания на прагматически нерелевантном референте, претендующем на статус ПД, с одной стороны, и 2) нетематичность и неактуализированность этого референта, ведущая к его недоступности для анафорического восстановления по контексту, с другой стороны. В целом использование русских АВК является своего рода ком-

промиссом в ситуации конфликта между семантическими параметрами высказывания, обуславливающими выбор исходной переходной глагольной лексемы для лексикализации ситуации, и его прагматическими параметрами, а именно, низким дискурсивным рангом опускаемого участника. Общее функциональное своеобразие АВК отвечает за их более частные дискурсивные свойства и за характер тех ситуаций, в которых они регулярно фиксируются.

Еще одной стороной конситуативных АВГ, которая, как представляется, была в некоторой степени прояснена выше, является проблема ограничений на их образование. По всей видимости, такого рода ограничения по сути дела не являются лексическими в собственном смысле слова, а оказываются лишь лексическим проявлением тех дискурсивно-прагматических свойств, которые характеризуют АВК. Действительно, прагматические свойства конситуативных АВК предполагают, что эти конструкции могут использоваться тогда, когда речь идет о контролируемом действии одушевленного лица, направленном на прагматически нерелевантный (неодушевленный) объект; таким образом, АВГ не образуются от таких переходных глаголов, которые по своим субкатегоризационным свойствам задают одушевленность прямого дополнения (*обрадовать; побить* в недистрибутивном прочтении) и/или неодушевленность подлежащего (*вместить*); также не фиксируются АВГ, образованные от глаголов, обозначающих состояния, в частности, от экспериенциальных глаголов (*видеть, любить*), и от глаголов, в семантику которых входит компонент непреднамеренности (*задеть*).

Наконец, следует отметить, что русские конситуативные АВГ оказываются не совсем обычными в свете известного типологического обобщения, относящегося к функциям антипассивных конструкций. Речь идет о связи антипассива с параметрами, обобщенными П. Хоппером и С. Томпсон в рамках макропараметра (семантической) Переходности [Hopper, Thompson 1980]. В классической статье П. Хоппера и С. Томпсон был предложен список из 10 взаимно скоррелированных параметров (см. Таблицу 3) и было показано, что в самых различных языках отклонения от прототипических для переходной конструкции значений этих параметров (см. левый столбец Таблицы 3) регулярно отражаются на уровне морфосинтаксиса тем или иным отклонением от собственно переходной конструкции.

Таблица 3

Параметры Переходности по [Hopper, Thompson 1980: 252]

	HIGH	LOW
A. PARTICIPANTS	2 or more participants	1 participant
B. KINESIS	action	non-action
C. ASPECT	telic	non-telic
D. PUNCTUALITY	punctual	non-punctual
E. VOLITIONALITY	volitional	non-volitional
F. AFFIRMATION	affirmative	negative
G. MODE	realis	irrealis
H. AGENCY	A high in potency	A low in potency
I. AFFECTEDNESS OF O	O totally affected	O not affected
J. INDIVIDUATION OF O	O highly individuated	O non-individuated

Неудивительно, что использование антипассивных конструкций – т.е. одного из способов детранзитивации – во многих языках систематически отражает пониженную семантическую Переходность; в наиболее ярком виде этот тезис отстаивался в посвященной типологии антипассива статье Э. Коореман [Cooreman 1994], в которой для каждого

из 10 параметров был обнаружен по крайней мере один такой язык, в котором понижение Переходности по этому параметру отражалось бы при помощи мены переходной (эргативной) конструкции на антипассивную.

Интересно при этом, что четкой связи между использованием русских конситуативных АВК и понижением Переходности в целом не прослеживается; некоторые из этих 10 параметров, как представляется, нерелевантны для АВК (С, D, F, G, I, J), другие же параметры (А, В, Е, Н – все эти свойства так или иначе обсуждались выше) связаны с использованием АВК неожиданным с типологической точки зрения образом: конситуативные АВК возможны только при **Переходных** значениях этих параметров. Таким образом, в каком-то смысле получается, что русские конситуативные АВК коррелирует с высокой, а не с низкой Переходностью.

Как представляется, объяснение такой несколько парадоксальной картины связано с тем, что функции русских АВК следует интерпретировать скорее на уровне прагматики, чем на собственно семантическом уровне. В каком-то смысле, использование конситуативных АВК связано с параметрами I и J, если их переформулировать в прагматических терминах: подразумеваемый объект в АВК в принципе может быть вполне индивидуализированным и полностью вовлеченным в действие, но по каким-то причинам индивидуализированность и вовлеченность объекта оказываются несущественными для говорящего. В каком-то смысле можно считать, что расширение модели, представленной лексически закрепленными АВГ, приведшее к образованию конситуативных АВГ, отражает своего рода прагматическое переосмысление параметра J – индивидуализированности объекта. Действительно, семантически инкорпорированные объекты лексических АВГ (части тела и другие посессумы) по самой своей природе референциально не независимы от референции субъекта, т.е. обладают пониженной индивидуализированностью в любом контексте, где присутствует их посессор. «Опускаемые» же объекты конситуативных АВГ оказываются референциально зависимы от других участников ситуации лишь в рамках определенного прагматического контекста и именно в таких ситуациях могут не выражаться при помощи полноценного референциального выражения.

Следует заметить, что в работе П. Хоппера и С. Томпсон было показано, что сами выделенные ими параметры являются своего рода семантическим преломлением дискурсивного противопоставления приоритетных (*foregrounded*) и фоновых (*backgrounded*) клауз. В каком-то смысле можно признать, что, таким образом, русские конситуативные АВК отражают само это базовое дискурсивно-прагматическое противопоставление, а не его конкретные семантические корреляты: по всей видимости, употребление конситуативных АВК в целом отражает фоновость той части выражаемой клаузой информации, которая связана с изменением состояния Пациентива.

Подводя итоги всему обсуждению функций конситуативных АВК, следует заметить, что использование этой конструкции связано с нетривиальным распределением прагматического «веса» между различными компонентами выражаемого смысла. Такая ориентация на прагматическую, а не на собственно семантическую составляющую высказывания, как известно, свойственна «молодым» грамматическим явлениям¹⁰, т.е. категориям и конструкциям, которые являются слабо грамматикализованными и не являются обязательными для каких-то определенных семантических контекстов. С грамматикализационной молодостью русских АВК и связано, вероятно, то, что они не обнаруживают характерной для более грамматикализованных антипассивных конструкций других языков жесткой корреляции с пониженной Переходностью и низким референциальным статусом объекта.

¹⁰ О том, что чувствительность к прагматической важности участника, а не к его референциальным характеристикам является свойством «молодых» грамматических средств, см. например [Wright, Givón 1987].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян 1983 – Ю.Д. *Апресян*. Синтаксические средства выражения посессивности // Категория притяжательности в славянских и балканских языках. М., 1983.
- Князев 2005 – Ю.П. *Князев*. Проблемы описания грамматической семантики: Дисс. ... док. филол. наук. СПб., 2005 (рпк.).
- Князев, Недялков 1985 – Ю.П. *Князев*, В.П. *Недялков*. Рефлексивные конструкции в славянских языках // В.П. Недялков (ред.). Рефлексивные глаголы в индоевропейских языках. Калинин, 1985.
- Кретов 1978 – А.А. *Кретов*. Особенности семантики возвратных глаголов включенного неодушевленного объекта в русском языке // В.И. Собишников (ред.). Материалы по русско-славянскому языкознанию. Воронеж, 1978.
- Норман 2004 – Б.Ю. *Норман*. Возвратные глаголы-неологизмы в русском языке и синтаксические предпосылки их образования // В.С. Храковский, А.Л. Мальчуков, С.Ю. Дмитренко (ред.). 40 лет Санкт-Петербургской типологической школе. М., 2004.
- Падучева 2004 – Е.В. *Падучева*. Диатеза как метонимический сдвиг // В.С. Храковский, А.Л. Мальчуков, С.Ю. Дмитренко (ред.). 40 лет Санкт-Петербургской типологической школе. М., 2004.
- Полинская 1986 – М.С. *Полинская*. Диффузные глаголы в синтаксисе эргативных языков: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 1986.
- Янко-Триницкая 1962 – Н.А. *Янко-Триницкая*. Возвратные глаголы в современном русском языке. М., 1962.
- Brecht, Levine 1985 – R.D. *Brecht*, J.S. *Levine*. Conditions on voice marking in Russian // M.S. Flier, R.D. Brecht (eds.). Issues in Russian morphosyntax. Columbus, 1985.
- Catford 1976 – J.C. *Catford*. Ergativity in Caucasian languages // Papers from the 6th meeting of the North Eastern linguistic society. [Montreal working papers in linguistics] / A. Ford, J. Reighard, O.E. Pfeiffer (eds.). Montreal, 1976.
- Chafe 1987 – W.L. *Chafe*. Cognitive constraints on information flow // R.S. Tomlin (ed.). Coherence and grounding in discourse. Amsterdam; Philadelphia, 1987.
- Cooreman 1994 – A. *Cooreman*. A functional typology of antipassives // B. Fox, J.P. Hopper (eds.). Voice: Form and function. Amsterdam, 1994.
- Du Bois 1987 – J.W. *Du Bois*. The discourse basis for ergativity // Language. V. 63. № 4. 1987.
- Du Bois et al. 2003 – J.W. *Du Bois*, L.E. *Kumpf*, W.J. *Ashby* (eds.). Preferred argument structure. Grammar as architecture for function. Amsterdam; Philadelphia, 2003.
- Gerritsen 1990 – N. *Gerritsen*. Russian reflexive verbs. Amsterdam; Atlanta, 1990.
- Givón 1979 – T. *Givón*. On understanding grammar. New York; San Francisco; London, 1979.
- Givón 1984 – T. *Givón*. Syntax. A functional-typological introduction. V. I. 1984; V. II. 1990. Amsterdam; Philadelphia, 1984.
- Hopper, Thompson 1980 – P.J. *Hopper*, S.A. *Thompson*. Transitivity in grammar and discourse // Language. V. 56. № 2. 1980.
- Koptjevskaja-Tamm 2002 – M. *Koptjevskaja-Tamm*. Adnominal possession in the European languages: form and function // Sprachtypologie und Universalienforschung. V. 55. 2002.
- Kozinsky et al. 1988 – I.Š. *Kozinsky*, V.P. *Nedjalkov*, M.S. *Polinskaja*. Antipassive in Chukchee: oblique object, object incorporation, zero object // Masayoshi Shibatani (ed.). Passive and voice. Amsterdam, 1988.
- Nichols 1985 – J. *Nichols*. The grammatical marking of theme in literary Russian / M.S. Flier, R.D. Brecht (eds.). Issues in Russian morphosyntax. Columbus, 1985.
- Say 2005 – S. *Say*. Antipassive *Sja*-verbs in Russian: Between inflection and derivation // W.U. Dressler, D. Kastovsky, O.E. Pfeiffer, F. Rainer (eds.). Morphology and its demarcations. Amsterdam; Philadelphia, 2005.
- Wright, Givón 1987 – S.S. *Wright*, T. *Givón*. The pragmatics of indefinite reference. Quantified text-based studies // Studies in language. V. 11. 1987.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- АВГ – Антипассивный возвратный глагол
АВК – Антипассивная возвратная конструкция
ИГ – Именная группа
О – Пациенсоподобный актанта переходного предложения
ПД – Прямое дополнение

© 2007 г. К.И. КАЗЕНИН

О НЕКОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ЭЛЛИПСИС В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассматриваются синтаксические ограничения на эллипсис в русском языке. Демонстрируется, что, при общей тенденции языка избегать повторов одного и того же материала, в русском языке действует ряд запретов на сокращение, связанных с синтаксической позицией сокращаемого элемента (а в одном случае – также и его antecedента). На материале конструкций различных типов обосновываются три запрета на эллипсис: Запрет на сокращение линейно противоположных вершин, Запрет на сокращение промежуточной вершины, Запрет на сокращение левосторонней вершины. Обсуждаются исключения из этих запретов.

1. ВВЕДЕНИЕ

Возможность сократить совпадающий материал – одно из базовых свойств языка. При этом эллипсис, то есть образование синтаксической неполноты, ограничен как дискурсивно-прагматическими, так и синтаксическими факторами. Первым посвящена весьма обширная литература (см., например [Givón (ed.) 1983; Levinson 1987; 1991; Evans 1993; Huang 1994; Nariyama 2003] и многие др.). Собственно синтаксические ограничения на сегодняшний день изучены в меньшей степени. Данная статья пытается хотя бы в некоторой степени восполнить этот пробел для русского языка¹.

В статье предложены три ограничения на эллипсис, связанные не с прагматическим статусом сокращаемого материала, а с его позицией в синтаксической структуре. Эти ограничения проверяются на словосочетаниях различных категорий. Общим выводом статьи станет существование запретов на эллипсис, действующих независимо от прагматических факторов и, в частности, иногда приводящих к тому, что опущение некоторого элемента не допускается, хотя совпадающий с ним элемент находится линейно весьма «близко». Например, в предложении (1) требуется повтор существительного и м е н и в рамках сочинения двух предложных групп: (1) *Сдается, что в России в ее нынешнем состоянии более нужна оппозиция, твердо помнящая и об уроке царям, и об уроке обществу* (*и об уроке царям, и об ~~уроке~~ обществу). Ниже будет показано существование в русском языке нескольких синтаксических запретов на эллипсис. Предлагаемый их список заведомо не полон и в дальнейшем потребует расширения.

2. ТРЕБОВАНИЕ ТОЖДЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ ПОЗИЦИЙ ЗАВИСИМЫХ

2.1. «Неправильный» порядок именных определений при сочинении

В сочинительных конструкциях, как правило, требуется идентичность синтаксических категорий сочиняемых элементов. Например, хотя русский глагол *сказать* в качестве прямого дополнения может присоединять как именную группу, так и придаточное изъяснительное, сосуществовать дополнения этих двух категорий при одном глаголе не

¹ Среди наиболее значимых работ, обсуждающих проблемы русского эллипсиса, упомянем здесь [Булыгина, Шмелев 1990; Санников 1989; Ширяев 1986; Adames 1995; Мельчук 1995].

Далее в скобках приводится структура составляющих сочиненной группы, зачеркиванием отмечается эллиптический пробел.

могут: (2) *Петя сказал, что придет завтра*. (3) *Петя сказал глупость*. (4) **Петя сказал, что придет завтра, и глупость*². Однако в ряде случаев сочинительный союз располагается между зависимыми разных категорий. Ср.: (5) *Вскоре и Потапов погасил настольную лампу, переложил [свои и Хороброва секретные дела] на стол к Булатову и средним шагом, совсем безобидно, прохромал к выходу* (Солженицын). В этом предложении союз и соединяет притяжательное местоимение *свои* и генитивное зависимое *Хороброва*, которые при этом определяют одно и то же существительное (*дела*). Оба зависимых располагаются при этом по одну сторону (слева) от своей вершины. В (6) союз точно так же располагается между притяжательным местоимением и именем в генитиве, в этом случае оба эти элемента находятся справа от существительного, которое они определяют: (6) *Все [друзья мои и Маши], как русские, так и американские, любили приезжать к нам на дачу*. С предложениями типа (5)–(6) связана некоторая объяснительная проблема. Мы сначала изложим ее, а затем попытаемся показать, что она может быть решена путем введения одного ограничения на сочинительное сокращение.

Как известно, зависимые в русском языке, вообще говоря, могут как следовать за вершиной, так и предшествовать ей. Ниже мы будем говорить соответственно о **правосторонних** и **левосторонних** зависимых. Позиция зависимого относительно вершины определяется, наряду с прочими факторами, категорией этого зависимого и его вершины. Например, именная группа, в свою очередь зависящая от имени, располагается справа от этого имени: (7) *дом отца / *отца дом*, (8) *ход конем / *конем ход* и т.д.³ Напротив, прилагательные и притяжательные местоимения располагаются слева от имени⁴: (9) *большой дом / *дом большой*, (10) *свой дом / *дом свой*. Справа от имени располагается зависящая от него предложная группа: (11) *поездка в Москву / *в Москву поездка*, однако предложная группа, зависящая от глагола, может быть и справа, и слева от него: (12) *Я не поеду в Москву / В Москву я не поеду* (подробно об оппозиции правосторонних и левосторонних зависимых см. [Yngve 1961; Hawkins 1983]). Проблема с предложениями (5)–(6) состоит в том, что там по одну сторону от определяемого имени находятся зависимые, которые, вне контекста сочинения, находились бы по разные стороны от этого имени. Так, в (5) притяжательное местоимение, вне сочетания с определением в родительном падеже, располагалось бы слева от имени: (13) *свои секретные дела / ??секретные дела свои*. Генитивное зависимое, напротив, располагается справа от имени и в том случае, когда не соседствует там с зависимыми других типов: (14) *секретные дела Хороброва / *Хороброва секретные дела*. Однако в (5), при сочинении притяжательного местоимения и ИГ в родительном падеже, происходит изменение канонического порядка слов: ИГ в родительном падеже предшествует имени. Более того, при восстановлении «правильного» порядка, с ИГ в родительном падеже после имени, предложение становится неграмматичным: (15) **...переложил свои секретные дела и Хороброва на стол к Булатову...*

Возможно также «выравнивание» канонически правостороннего и канонически левостороннего зависимого в позиции справа от имени (а не слева, как в (4)). Именно это

² О некоторых систематических нарушениях требования совпадения категорий сочиняемых элементов см. [Sag et al. 1985]. В некоторых славянских языках, включая русский, данное требование регулярно нарушается при сочинении вопросительных групп, ср. сочинение именной и предложной группы (ИГ; ПГ): (i) *Кто и в какой город поехал?* (см. [Санников 1989; Kazenin (in press)]). См. также некоторое обсуждение этой проблемы ниже в данной статье.

³ Здесь и далее в качестве грамматически правильных приводятся предложения, засвидетельствованные в реальной письменной речи. Что касается «отрицательного языкового материала», мы базируемся в его оценках преимущественно на интроспекции – систематического опроса информантов с целью выделить неприемлемые предложения или словосочетания нами не проводилось.

⁴ Регулярное исключение составляют именные группы, являющиеся названиями элементов классификации: *человек разумный* и проч.

происходит в (6). Ср. также: (16) *Пусть твоя доброта обернется счастьем твоим и твоей дочки*. Без сочинения имеем здесь зависимые с противоположными позициями относительно вершины: (17) *твоим счастьем / ??счастьем твоим*, (18) *счастьем твоей дочки / *твоей дочки счастьем*. Однако если в (16) «вернуть» посессивное местоимение *твоим* в его каноническую позицию, предложение станет неграмматичным: (19) **Пусть твоя доброта обернется твоим счастьем и твоей дочки*. Проблема состоит в том, чтобы объяснить, почему в предложениях типа (5)–(6) и (16) становится грамматичной линейная позиция зависимого, которая в других случаях для него невозможна, а также почему неграмматичны предложения (15) и (19), отличающиеся соответственно от (5) и (16) только порядком слов. Ниже мы постараемся показать, что неграмматичность предложений типа (15) и (19) есть следствие достаточно общего ограничения, которое состоит в следующем: **если сочиняются составляющие, у которых вершины совпадают, а зависимые находятся по разные стороны от вершин, сокращение вершины невозможно, за исключением того случая, когда вершина сокращается при согласуемом зависимом**. Назовем данное ограничение **Запретом на сокращение линейно противоположных вершин**. Если такой запрет действительно существует, то нетипичная линейная позиция генитива в (5) и притяжательного местоимения в (16) может рассматриваться как следствие этого запрета: зависимые в этих предложениях становятся в «неканоническую» позицию, чтобы избежать нарушения этого запрета. Изложим эту гипотезу подробнее применительно к (16). В неграмматичном аналоге этого предложения (19) цепочка *твоим счастьем и твоей дочки* не может быть рассмотрена как сочинение двух зависимых – *твоим* и *твоей дочки* – при одной вершине *счастьем*, поскольку в этом случае два сочиненных зависимых находились бы по разные стороны от вершины, и нарушалось бы требование проективности. Стало быть, мы имеем здесь сочинение двух полных именных групп с сокращением вершины во второй по порядку ИГ: (20) **[твоим счастьем] и [счастьем твоей дочки]*. Однако здесь не соблюдается Запрет на сокращение линейно противоположных вершин: в первой из сочиненных составляющих зависимое слева от вершины, во второй – справа, причем сокращаемая вершина имеет при себе несогласуемое зависимое. Для того, чтобы сокращение стало возможным, и требуется изменение линейной позиции местоимения *твоим*, что наблюдается в (16): *[счастьем твоим] и [счастьем твоей дочки]*⁵.

В (21) мы имеем сочинение тех же именных групп, но в противоположном порядке, и предложение грамматично: (21) *Пусть твоя доброта обернется [счастьем твоей дочки] и [твоим счастьем]*. Здесь вершина сокращается при согласуемом зависимом, и поэтому не нарушается предложенный выше Запрет на сокращение линейно противоположных вершин. Именно поэтому не требуется и изменение линейной позиции какого-либо из зависимых, как оно требуется в (4) и (15). Разумеется, предложенное объяснение верно только в том случае, если Запрет на сокращение линейно противоположных вершин действительно соблюдается в русском языке. В подтверждение этому ниже мы покажем, что он действует во всех случаях при сочинении именных групп и групп прилагательного.

⁵ Как видно, предложенное объяснение предполагает, что в (16) имеет место сочинение именных групп с последующим сокращением вершины одной из них. Альтернативная гипотеза состоит в том, что два зависимых – *твоим* и *твоей дочки* – соподчинены одной и той же вершине: *счастьем* *[[твоим] и [твоей дочки]]*. Мы не принимаем эту гипотезу, так как с ней связана очевидная проблема: сочиняются элементы разных категорий – именная группа *твоей дочки* и местоимение *твоим*, имеющие синтаксические свойства прилагательного. Как уже отмечалось выше, в общем случае сочинение составляющих разных категорий запрещено. Прямой запрет на сочинение составляющих разных категорий присутствует в большинстве современных теорий синтаксиса (см. [Neijt 1979] для порождающей грамматики, [Steedman 2000] для категориальной грамматики и др.).

2.2. Сочинение именных групп

Рассмотрим пары зависимых, которые находятся по разные стороны от вершины в составе ИГ.

2.2.1. Прилагательное – ИГ в родительном падеже

При канонических позициях – ИГ справа от вершинного имени, прилагательное слева – сокращение вершины невозможно, как уже было проиллюстрировано в (15) и (19). Рассмотрим еще несколько примеров. В (22)–(23) генитив и прилагательное находятся по одну сторону от имени, то есть одно из зависимых – в неканонической позиции. В (22')–(23') попытка «вернуть» зависимое в каноническую позицию ведет к неграмматичности:

(22) После бесланской трагедии сюда берут детей осетинских и погибших офицеров спецназа «Вымпел»; (22') *После бесланской трагедии сюда берут осетинских детей и погибших офицеров спецназа «Вымпел» ([[осетинских] детей] и [~~детей~~] [погибших офицеров спецназа «Вымпел»]]).

(23) А когда все захмелели, некий человек по имени Максим, бывший Ирин и Платона Лебедева сослуживец, сказал: «Зря они так. Они еще пожалеют об этом. Не такие проблемы мы решали»; (23') *бывший Ирин сослуживец и Платона Лебедева ([[Ирин] сослуживец] и [~~сослуживец~~] [Платона Лебедева]]).

2.2.2. Прилагательное – относительное предложение

Придаточные с относительным местоимением в русском языке регулярно располагаются справа от имени: (24) [человек, [который смеется]] / *[[который смеется] человек]. При сочинении ИГ с относительным предложением и ИГ с прилагательным сокращение вершины при относительном предложении невозможно:

(25) *Сюда берут осетинских детей и чьи родители были офицерами спецназа ([[осетинских] детей] и [~~детей~~, [чьи родители были офицерами спецназа]]]); (26) *Народ поддержит честных политиков и которые действуют в интересах правды ([[честных] политиков] и [~~политиков~~, [которые действуют в интересах правды]]).

Неграмматичность (25)–(26) подтверждает Запрет на сокращение линейно противоположных вершин. Отметим, что сокращение вершины при прилагательном в этом случае не нарушает Запрета (поскольку прилагательное – согласуемое зависимое) и как будто более приемлемо: (27) (?) Сюда берут детей, чьи родители были офицерами спецназа, и осетинских ([детей, [чьи родители были офицерами спецназа]], и [[осетинских] ~~детей~~]). При этом следует заметить, что примеров вида (27) в текстах обнаружить не удалось. «Выравнивание» зависимых по правую сторону от вершины здесь, в отличие от случая, описанного в 2.2.1, не всегда делает предложение приемлемым: (25') ??Сюда берут детей осетинских и чьи родители были офицерами спецназа⁶. Данный факт, указывая на ограниченную применимость «выравнивания» зависи-

⁶ По оценкам ряда опрошенных, предложение становится лучше, если существительное вынесено в начало: (i'') Детей сюда берут осетинских и чьи родители были офицерами спецназа. Данный эффект мы оставляем здесь без объяснения, как и факт низкой приемлемости (27).

мых, тем не менее, никак не противоречит самому по себе Запрету на сокращение линейно противоположных вершин⁷.

2.2.3. Прилагательное – предложная группа

Предложная группа при каноническом порядке слов находится справа от определяемого имени, а прилагательное – слева. При сочинении именных групп, сокращение имени при предложной группе невозможно:

(28) *Я покупаю исторические книги и о войне ([[исторические] книги] и [~~книги~~ [о войне]]);

(29) *Об этом заявил глава международного офиса и ~~офиса~~ по политическим вопросам армянской партии «Дашнакцутюн» Киро Маноян ([[международного] офиса] и [~~офиса~~ [по политическим вопросам]]).

Отметим, что «выравнивание» здесь как будто не восстанавливает грамматичность, например:

(30) ??Я покупаю книги исторические и о войне ([книги [исторические]] и [~~книги~~ [о войне]]). Сокращение имени при прилагательном может быть грамматичным, что не нарушает предложенного ограничения: (31) Я покупаю книги о войне и исторические ([книги [о войне]] и [[исторические] ~~книги~~]).

2.2.4. Прилагательное – сравнительная степень прилагательного

Если обычное прилагательное располагается слева от имени, то несогласуемое прилагательное в сравнительной степени – как правило, справа: (32) низкие цены / цены ниже 20 долларов. При сочинении ИГ, содержащей прилагательное без сравнительной степени, и ИГ со сравнительной степенью прилагательного сокращение вершинного имени при сравнительной степени невозможно: (33) *Самые низкие цены и выше 50 долларов за баррель в данном прогнозе не рассматриваются ([[самые низкие] цены] и [~~цены~~ [выше 50 долларов за баррель]]). Приемлемость сокращения повышается, если имя находится по одну сторону от обоих зависимых, хотя это и ведет к неканонической (постпозитивной) позиции прилагательного без сравнительной степени по отношению к имени: (34) Цены [самые низкие] и [выше 50 долларов за баррель] в данном прогнозе не рассматриваются. Здесь, таким образом, как и в случае, рассмотренном в 2.2.1, «выравнивание» влияет на приемлемость предложения. Если сокращению подвергается имя при прилагательном без сравнительной степени, сокращение возможно, несмотря на разницу в линейных позициях вершин: (35) Цены выше 50 долларов за баррель и самые низкие в данном прогнозе не рассматриваются ([цены [выше 50 долларов за баррель]] и [[самые низкие] ~~цены~~]). Очевидно, что Запрет на сокращение линейно противо-

⁷ Если (25') иллюстрирует запрет на «выравнивание» двух рассматриваемых типов зависимых справа от имени, то (i) – запрет на «выравнивание» слева: (i) *Сюда берут осетинских и чьи родители были офицерами спецназа детей. Такой линейный порядок явно неграмматичен, несмотря на соблюдение в (i) Запрета на сокращение линейно противоположных вершин. Неграмматичность может быть объяснена обоснованным в [Hawkins 1990] Принципом раннего распознавания составляющих – Early immediate constituents (см. о нем также [Гестелец 2001: 700–714]). Данный принцип объясняет, среди прочего, неприемлемость линейных порядков, при которых «тяжелое», то есть состоящее из большого числа словоформ, зависимое располагается между «легким» зависимым и вершиной. Именно это, очевидно, происходит в (i), поскольку относительное предложение – классическое «тяжелое» зависимое – находится там между «легким» зависимым – прилагательным и вершиной.

положных вершин здесь не нарушается, так как вершина сокращается при согласуемом определении – прилагательном без сравнительной степени.

2.2.5. Прилагательное – изъяснительное предложение

Если изъяснительное предложение зависит от имени, оно стоит справа от своей вершины: (36) *подозрение, что денег не хватает* / **что денег не хватает* *подозрение*. Если в одной из сочиняемых ИГ от имени зависит прилагательное, а в другой – изъяснительное предложение, сокращение имени при изъяснительном предложении невозможно: (37) **Подтвердились Петины подозрения и ~~подозрения~~, что денег не хватает* ([[*Петины*] *подозрения*] и [~~*подозрения*~~, [*что денег не хватает*]]). «Выравнивание» в данном случае, по-видимому, не ведет к грамматичности: (38) **Подтвердились подозрения Петины и что денег не хватает* ([[*подозрения*] [*Петины*]] и [~~*подозрения*~~, [*что денег не хватает*]])⁸.

Итак, мы рассмотрели сочинение ИГ вида «прилагательное + имя» с ИГ вида «имя + постпозитивное определение». Во всех случаях обнаружилось, что, даже если вершины сочиняемых ИГ совпадают, нельзя сократить вершину при постпозитивном определении. Легко проверить, что то же самое верно, если вместо прилагательного в сочиняемой ИГ находится какое-либо другое препозитивное определение – указательное местоимение или причастие. Обнаруженные факты подтверждают предложенный выше Запрет на сокращение линейно противоположных вершин.

Другим видом препозитивного определения в русском языке является местоимение в родительном падеже (*ее дом; их ребенок*). Рассмотрим сочинение ИГ вида «местоимение в родительном падеже + имя» с ИГ вида «имя + постпозитивное определение».

⁸ Таким образом, на основании наших наблюдений в 2.2.1–2.2.5 можно заключить, что «выравнивание» зависимых по одну сторону от вершины не всегда ведет к грамматической правильности. Здесь мы специально не исследуем вопрос о том, какие факторы влияют на возможность «выравнивания». Нашей задачей является лишь показать, что возникновение неканонических порядков с «выравниванием» зависимых по одну сторону от вершины в принципе возможно там, где порядок без «выравнивания» вел бы к нарушению предложенного в этом разделе запрета на эллипсис. Сам этот запрет, таким образом, нужен не только для того, чтобы объяснить неприемлемость определенных видов эллипсиса, но и для того, чтобы объяснить некоторые случаи «неканонического» порядка слов. Что касается тех случаев, где «выравнивание» не повышает приемлемости (они упомянуты в пп. 2.2.2; 2.2.3; 2.2.5), то они требуют отдельного объяснения. Здесь мы ограничимся лишь предположением, что в русском языке некоторые сочетания составляющих разных категорий по одну сторону от вершины приемлемы, а некоторые – нет. Это можно видеть и в тех случаях, когда порядок двух зависимых по одну сторону от вершины – исходный, а не возникает в результате «выравнивания». Очевидно, приемлемыми могут быть, например, сочетания именной группы (посессора) и предложной группы: (i) *книги* [_{ИГ} *Пушкина*] и [_{ПГ} *о Пушкине*]. Неприемлемо сочетание относительного предложения с местоимением *который* и причастного оборота: (ii) ??*Да – политикам, [чьи руки чисты] и [действующим в интересах правды]* (газета «Вечерний Кизилюрт», Дагестан, март 2003 г.). Если принимать общий запрет на сочинение составляющих различных категорий, то в сочетаниях вида (i) мы имеем сочинение именных групп с сокращением вершины (если бы сочинялись зависимые, было бы сочинение составляющих различных категорий): (iii) [*книги*] [_{ИГ} *Пушкина*] и [~~*книги*~~] [_{ПГ} *о Пушкине*]]. Такой анализ заставляет нас констатировать, что в русском языке есть ограничения, в ряде случаев запрещающие эллипсис вершины, если зависимые при сокращаемой вершине и вершине-«антецеденте» не совпадают (подобное ограничение действует в (i), но не в (ii)). Это было бы разновидностью «параллелизма», предложенного для сочинительных конструкций в [Goodall 1987]. Но поскольку (i) грамматично, а (ii) – нет, ясно, что данный параллелизм требуется не всегда. Можно предположить, что «выравнивание» может быть запрещено для таких пар зависимых, чье сосуществование в сочиненных ИГ запрещает эллипсис вершины любой из этих ИГ, наподобие (ii).

2.2.6. Местоимение в родительном падеже – именная группа в родительном падеже

Сокращение вершины возможно в том случае, если в результате два зависимых в родительном падеже – полная ИГ и местоимение – оказываются по одну сторону от вершинного имени. В противном случае сокращение вершины нежелательно:

(39) *События, которые привели к аресту его и Иванова, открывают окно в неуловимый мир*; (39') **События, которые привели к его аресту и Иванова, открывают окно в неуловимый мир* ([[его] аресту] и [~~аресту~~ [Иванова]]).

(40) *Несмотря на то, что ребенок родился в таких условиях, состояние его и мамы хорошее*; (40') **Несмотря на то, что ребенок родился в таких условиях, его состояние и мамы хорошее* ([[его] состояние] и [~~состояние~~ [мамы]]).

(41) *Ему, с учетом его и брата прошлых заслуг, доверяли предприниматели, с ним считались*; (41') **Ему, с учетом его прошлых заслуг и брата, доверяли предприниматели, с ним считались* ([[его] прошлых заслуг] и [~~прошлых заслуг~~ [брата]]).

(42) *На следующий день были ее и матери именины, на которых и было объявлено о помолвке*; (42') **На следующий день были ее именины и матери* ([[ее] именины] и [~~именины~~ [матери]]).

В (39)–(40) генитивное местоимение находится в позиции справа от вершины, и поэтому Запрет на сокращение линейно противоположных вершин не нарушается. В (39')–(40') местоимение – слева от вершинного имени, Запрет нарушается, и предложения неприемлемы. В (41)–(42) полная ИГ в родительном падеже занимает позицию слева от определяемого имени, недоступную для нее за пределами сочинения, и таким образом запрет соблюдается. Если же полная ИГ в родительном падеже находится справа от имени, как в (41')–(42'), эллипсис невозможен. Тем самым «выравнивание» может идти двумя способами: либо местоимение в результате «выравнивания» оказывается справа от имени, либо полная ИГ в родительном падеже – слева от имени.

2.2.7. Местоимение в родительном падеже – предложная группа

Предложная группа всегда находится справа от имени, от которого она зависит. Если сочиняются две ИГ с совпадающими вершинами, и одна из них осложнена предложной группой, а другая – местоимением в родительном падеже, то это местоимение оказывается, как и предложная группа, справа от вершины:

(43) *Я сохранил свою переписку с Верой Александровной и уже накопил объемистую папку, содержащую ее воспоминания, копии публикаций, газетные статьи ее и о ней*.

При сохранении канонического порядка, то есть предшествования местоимения в родительном падеже вершине, сокращение вершины было бы невозможно:

(44) *[[ее] статьи] и [~~статьи~~ [о ней]].

Итак, конфигурация с местоимением и полной ИГ в родительном падеже также показывает действие в русском языке предложенного запрета. В данном случае, как и в ряде рассмотренных выше, грамматически правильным может оказаться порядок слов, вне сочинительной конструкции невозможный («полная ИГ в родительном падеже + имя», «имя + местоимение в родительном падеже»). Такой порядок позволяет соблюсти Запрет на сокращение линейно противоположных вершин.

2.3. Сочинение групп прилагательного

Рассмотрим теперь сочинение групп прилагательного с асимметричным расположением вершины и зависимого.

2.3.1. Наречие – сравнительный оборот

Наречие стандартно располагается слева от прилагательного, а сравнительный оборот – справа: (45) *слегка пьяный*; (46) *пьяный как сапожник*. При сочинении таких групп прилагательного сокращение вершины невозможно: (47) **За руль нельзя садиться, ни [пьяным [как сапожник]], ни [[слегка] пьяным]*.

2.3.2. Наречие – предложная группа

Предложная группа стандартно располагается справа от прилагательного: (48) *короче на один метр*. Если сочиняются группы прилагательного, одна из которых осложнена предложной группой, а вторая – наречием, находящимся слева от прилагательного, то сокращение вершины невозможно: (49) **Нам нужны доски [[чуть-чуть] короче] и [жороче [на один метр]]*⁹.

2.3.3. Наречие – наречная группа

Если наречие, в свою очередь, осложнено зависимыми, то оно располагается справа от прилагательного: (50) *сравнительно дешевые* vs. (51) *дешевые сравнительно с импортными*. При сочинении группы прилагательного типа (50) и группы прилагательного типа (51) сокращение вершины невозможно: (52) **Они покупают [[[совсем] дешевые] и [дешевые [сравнительно с импортными]]] товары*. Таким образом, сформулированный выше Запрет на сокращение линейно противоположных вершин действует в русском языке по крайней мере при сочинении именных групп и групп прилагательного¹⁰. Данный запрет является примером синтаксического ограничения на сокращение совпа-

⁹ Данный случай требует дополнительного изучения, поскольку предложная группа в принципе может располагаться и слева от наречия: (i) *Нам нужны доски на один метр короче*. Проблема в том, что эллипсис, по-видимому, невозможен и в этом случае: (ii) ??*Нам нужны доски чуть-чуть и на один метр короче* ([[чуть-чуть] ~~жороче~~] и [[на один метр] короче]). Отметим, что наречные группы в целом редко оказываются в контекстах сочинения, и поэтому поиск релевантных примеров по текстам был здесь затруднен.

¹⁰ Наряду с именными группами и группами прилагательного в русском языке есть еще один тип составляющих, в котором бывают как левосторонние, так и правосторонние зависимые и в котором, следовательно, возможна проверка действия Запрета на сокращение линейно противоположных вершин – это глагольная группа. Проблема, однако, состоит в том, что большинство зависимых глагольной группы достаточно свободно могут располагаться как справа, так и слева от глагола: (i) *построил дом / дом построил*, (ii) *нашел его/его нашел*, (iii) *построил быстро / быстро построил*, (iv) *говорил о Пете / о Пете говорил*, (v) *хочу уйти / уйти хочу*. При сочинении глагольных групп с зависимыми этих категорий эллипсис глагола всегда возможен, и всякий раз можно считать, что позиция зависимого в глагольной группе с эллипсисом – такая же, как позиция зависимого в сочиненной с ней глагольной группе, так что запрет не действует. Например, в предложении (vi) *Я о нем говорил и о Пете* можно постулировать такую структуру: (vii) *Я [[[о нем] говорил] и [[о Пете] ~~говорил~~]]* – очевидно, что зависимые здесь по одну сторону от глагола. Напротив, во всех парах сочиняемых словосочетаний в 2.2–2.3 (за исключением 2.3.2, что было отдельно оговорено) хотя бы одна из двух зависимых, вне сочинения, не может менять своей позиции относительно имени, что и делало там возможным проверку запрета. По-видимому, единственным зависимым в составе глагольной группы, которое располагается строго по одну сторону (справа) от глагола являются придаточные изъяснительные предложения: (viii) *Я помню, что Петя уехал* [??*Я, что Петя уехал, помню* (допустимый порядок (ix) *Что Петя уехал, я помню* – предположительно, результат топикализации зависимого предложения, т.е. его выноса за пределы глагольной группы). Сочинение в (x) как будто плохо: (x) ??*Я это помню и что Петя уехал* ([[это] помню] и [~~помню~~ [что Петя уехал]])]. Поиска подобных конструкций по текстам нами, однако, не проводилось.

дающего материала. Кроме того, Запрет объясняет нестандартный порядок слов, в ряде случаев возникающий при сочинении.

3. ЗАПРЕТ НА СОКРАЩЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ВЕРШИНЫ

Другое ограничение на сокращение совпадающего материала в русском языке состоит в следующем: если сочиняются составляющие, у которых не совпадают вершины и наиболее «глубоко вставленные» зависимые, однако совпадает один или несколько элементов, занимающих промежуточное между ним положение в дереве зависимостей, сокращение этих элементов невозможно. Иными словами, при сочинении невозможно **сокращение промежуточной вершины, если сохраняются вышестоящий и нижестоящий по отношению к ней элементы**. Схематически запретная в дереве зависимостей конфигурация показана в (53):

(53) $*[X_1 [Y [Z_1]]] \& [X_2 [Y [Z_2]]]$,

где Y может быть как единичной вершиной, так и последовательностью из нескольких доминирующих одна над другой вершин. Данный запрет назовем **Запретом на сокращение промежуточной вершины**. В общем случае он не зависит от линейного расположения вершин и зависимых в сочиняемых составляющих, а также от направления сокращения (если не принимать во внимание одно из исключений, которое будет сформулировано ниже и впоследствии несколько уточнено).

Запрет не действует в двух случаях. Во-первых, сокращение промежуточной вершины возможно, если сохраняется зависящий от нее элемент, согласуемый с ней по падежу. Во-вторых, сокращение промежуточной вершины возможно, если ее линейная позиция – с правого или левого края сочиняемой составляющей. Иными словами, запрет распространяется только на сокращение промежуточной вершины, линейная позиция которой – между ее зависимым и вышестоящей вершиной. Покажем действие запрета на примере составляющих различных типов.

3.1. Инфинитивные обороты

Если совпадают имена, зависящие от инфинитивов, но при этом не совпадают зависимые этих имен, а также сами инфинитивы, сокращение имени невозможно: (54) **Если [не расширить [права [Рады]]] и [не ограничить [~~права~~ [президента]]], Украина так и не станет нормальным государством*. Если инфинитивные обороты зависят от разных предикатов и при этом инфинитивы совпадают, то невозможно сокращение инфинитива при сохранении его зависимого: (55) **[В российской политике вообще не принято [отвечать [за сделанное]]] и [никому не придет в голову [отвечать [за сказанное]]]*. Для наглядности представим фрагмент структуры зависимых предложения (55):

(56) *придет → отвечать → за → сказанное*

3.2. Глагольные группы

При сокращении элементов глагольной группы в главном предложении запрет на сокращение промежуточной вершины проявляется двояким образом.

Во-первых, если в состав глагольной группы входят вспомогательный и смысловый глаголы, невозможно сократить смысловый глагол, сохранив его зависимое и вспомогательный глагол: (57) **Корпорация [не будет [заниматься [информационной политикой]]], но информационная политика обязательно [будет [~~заниматься~~ [корпорацией]]]*.

Во-вторых, невозможно сокращение имени, зависящего от глагола, если сохраняется глагол и зависимое этого имени: (58) **Я [знаю [сына [Пети]]] и [помню [~~сына~~ [Васи]]]*; (59) **Этот футболист [хорошо освоил [игру [левой ногой]]] и [совершенствует [~~игру~~ [левой ногой]]]*.

[головой]). Из последнего правила, однако, имеется одно систематическое исключение: именная промежуточная вершина может сокращаться, если ее зависимое согласуется с ней по падежу, являясь прилагательным или причастием: (60) *Компания [экспортирует [[российские] автомобили]] и [импортирует [[корейские] ~~автомобили~~]]].*

Возможно, однако, сокращение наречия при сохранении глагола-вершины и другого наречия, зависимого от сокращаемого: (61) *Одни [вливают [[очень] ~~сильно~~]], другие – просто сильно.* Здесь сокращаемая промежуточная вершина линейно не находится между вышестоящей вершиной и своим зависимым, тем самым (61) не подпадает под действие запрета.

3.3. Именные группы

Если у двух именных групп совпадают элементы, непосредственно зависящие от главного имени, но у этих элементов, в свою очередь, сохраняются свои зависимые, то сокращение невозможно: (62) **[необходимость [купить [машину]]] и [желание [купить [дом]]]; (63) *[[начало [Евангелия [от Матфея]]] и [эпизод [Евангелия [от Иоанна]]]; (64) *[[разрешение [на [въезд [в Германию]]]]] и [запрет [~~на [въезд [в Иран]]]]].~~* Исключения составляют те случаи, когда зависимое сокращаемого имени согласуется с ним по падежу – в таком случае сокращение имени возможно: (65) *[наличие в паспорте [[немецкой] визы]] и [отсутствие [[иранской] ~~визы~~]].*

Запрет не действует, если сохраняется вершинное имя, а в зависимой составляющей, находящейся справа от него, сохраняется начальный (левосторонний) элемент – например, наречие: (66) *У [десяти процентов [[наиболее] ~~обеспеченных~~] групп населения] и [десяти процентов [[наименее] ~~обеспеченных~~] групп населения] этот разрыв превышает 14 раз.* Здесь, как и в (61), линейное расположение элементов не такое, которое подпадает под действие запрета. Заметим, что если зависимое имени находится слева от него, то эллипсис, сохраняющий наречие, но уничтожающий остальные элементы этого зависимого, невозможен: (67) **[[На основе оценок своих экспертов журнал Consumer Reports ежегодно публикует перечень [[наиболее] ~~надежных~~] моделей] и [[наименее] ~~надежных~~] моделей].* Во втором конъюнкте, очевидно, запрет нарушен, так сокращается промежуточная вершина, линейно находящаяся между вышестоящей вершиной и своим зависимым.

3.4. Предложные группы

Невозможно сокращение имени, непосредственно зависящего от предлога, при сохранении предлога и зависимого этого имени: (68) **[[на [высоте [менее 50 метров]]] и [на [~~высоте~~ [более 200 метров]]]; (69) *[[против [партии [Рогозина]]] и [за [~~партию~~ [Жириновского]]].* Запрет не действует, если сокращается вершина именной группы, но сохраняется ее зависимое, которое линейно предшествует вершине. В (70) сокращается субстантивированное прилагательное, но сохраняется наречие: (70) *У [[наиболее] ~~обеспеченных~~] и [у [[наименее] ~~обеспеченных~~]] этот разрыв составляет 14 раз.* В этом случае в первом конъюнкте не возникает той линейной конфигурации элементов, относительно которой действует запрет – сокращаемая вершина не находится линейно между своим зависимым и вышестоящей вершиной. Точно так же запрет не действует в (71), где сокращаемому имени предшествует его предложное зависимое в родительном падеже: (71) *Она беспокоится [за [[моих] ~~детей~~]] и [за [[его] ~~детей~~]].* В (72) действие запрета заблокировано как линейным фактором, так и морфологическим – зависимое промежуточной вершины согласуется с ней по роду, числу и падежу: (72) *Я беспокоюсь [за [[ее] ~~детей~~]] и [за [[своих] ~~детей~~]].*

3.5. Причастные обороты

Рассмотрим теперь случай, когда сочиняются именные группы с причастными оборотами, причем совпадают причастия, но не совпадают вершины именных групп и зависимые причастий. Здесь действуют различные ограничения в зависимости от линейного порядка элементов.

- Причастный оборот предшествует имени, зависимое причастия предшествует причастию:

(73) *Критик *опять в ударе*: посылает гневные стрелы в адрес [[[давно и безуспешно] ненавидимого им] Г.П.] и [[[столь же давно и столь же безуспешно] ~~ненавидимого~~] Е.Х.].

(74) *Можно вспомнить [[[недавно] построенный] завод «Тойоты»] и [[[ранее] ~~построенный~~] завод «Форда»]. Сокращение причастия, как видим, невозможно. Отметим, что и при сокращении «в противоположном направлении», то есть в первом конъюнкте, грамматичность не восстанавливается.

- Причастный оборот предшествует имени, зависимое причастия следует за причастием:

(75) *Критик посылает гневные стрелы в адрес [[ненавидимого им [за свободу мысли]] Г.П.] и [[~~ненавидимого им~~ [за правдивость]] Е.Х.]. (76) Можно вспомнить [[построенный [четыре года назад]] завод «Форда»] и [[~~построенный~~ [год назад]] завод «Тойоты»]. При таком порядке сокращение причастия также невозможно. При этом сохранение причастия во втором конъюнкте с сокращением в первом также не разрешено. Предложения (75)–(76) представляют проблему в том отношении, что в них сокращаемая промежуточная вершина линейно не располагается между вышестоящей вершиной и своей зависимой. Следовательно, надо ожидать, что на эти предложения не распространяется действие запрета. Тем не менее, они неграмматичны. На данный момент мы можем выдвинуть лишь одну гипотезу в объяснение этому факту. Все прочие случаи, когда сокращение промежуточной вершины возможно в силу ее не-серединной линейной позиции – а именно, случаи, проиллюстрированные примерами (61), (66), (70), (71) – таковы, что в них самая «высокая» вершина занимает в конъюнкте крайне левую позицию, за ней следует самый «глубоковставленный» элемент, а за ним – промежуточная вершина. Для подтверждения рассмотрим еще раз структуру конъюнкта в (66): (77) [десяти процентов [[наиболее] ~~обеспеченных~~] групп населения]. В (75)–(76) реализуется противоположный линейный порядок: сначала промежуточная вершина, затем ее зависимое, затем – «главная» вершина. Можно предположить, что сформулированное нами в начале данного раздела исключение из Запрета на сокращение промежуточной вершины должно быть уточнено: если промежуточная вершина линейно не располагается между «главной» вершиной и своим зависимым, то ее сокращение возможно (как вправо – ср. (70), (71), так и влево – ср. (61), (66)) в конфигурации (78):

(78) $[X_1 [[Y_1] Z]] \& [X_2 [[Y_2] Z]]$, но невозможно в конфигурации (79):

(79) * $[[X [Y_1]] Z_1] \& [[X [Y_2]] Z_2]^{11}$.

- Причастный оборот следует за именем, зависимое причастия предшествует причастию:

(80) *Критик посылает гневные стрелы в адрес [Г.П., [[давно и безуспешно] ненавидимого им]], и [Е.Х. [[столь же давно и безуспешно] ~~ненавидимого им~~]]. (81) *Можно вспомнить [завод «Форда», [[недавно] построенный в России]], и [завод «Тойоты», [[довольно давно] ~~построенный в России~~]].

Как видно из (80)–(81), сокращение причастия невозможно во втором конъюнкте. Однако в первом конъюнкте сокращение возможно, как видно из (82)–(83):

¹¹ Помимо конструкций с относительными предложениями, запрет на конфигурацию (79) подтверждается сочинением именных групп со сравнительными оборотами: (i) *[[длинные, [как летом]], дни] и [[~~длинные~~, [как зимой,]] ночи].

(82) *Критик посылает гневные стрелы в адрес [Г.П., [[давно и безуспешно] ненавидимого им]], и [Е.Х. [[столь же давно и безуспешно] ненавидимого им]].* (83) *Можно вспомнить [завод «Форда», [[недавно] построенный в России]], и [завод «Тойоты», [[довольно давно] построенный в России]].*

В (80)–(83) реализуется конфигурация, показанная в (78). Как только что было отмечено, данные об эллипсисе в составляющих разного типа продемонстрировали нам, что такая конфигурация в русском языке разрешена. Проблема состоит в том, как объяснить неграмматичность (80)–(81). На данный момент объяснением этому факту мы не располагаем.

- Причастный оборот следует за именем, зависимое причастия следует за причастием:

(84) **Критик посылает гневные стрелы в адрес [Г.П., [ненавидимого им [за свободу мысли]]], и [Е.Х., [ненавидимого им [за правдивость]]].* (85) **Можно вспомнить [завод «Форда», [построенный [четыре года назад]]], и [завод «Тойоты», [построенный [год назад]]].* Здесь сокращение причастия невозможно; легко проверить, что, как и в первом и втором случае (но в отличие от третьего), предложения остаются грамматически неправильными и тогда, когда сокращается причастие в первом конъюнкте. Также очевидно, что неграмматичность (84)–(85) следует из Запрета на сокращение промежуточной вершины и не подпадает под указанные выше исключения из него.

3.6. Адъективные группы

Если адъективные группы при разных именах возглавляются одним и тем же прилагательным, но при этом имеют разные зависимые (напр., наречия), сокращение прилагательного невозможно: (86) **На посту ругались [[[сильно] пьяный] гаишник] и [[[слегка] пьяный] водитель].* Как уже было отмечено (см. сноску 11), невозможно сокращение прилагательного при сохранении сравнительного оборота, зависимого от него, и имени, от которого зависит прилагательное. Покажем это для разных порядков адъективной группы относительно имени: (87) **[[длинные, [как летом]], дни] и [[длинные, [как зимой,]] ночи];* (88) **[дни, [длинные, [как летом]]], и [ночи, [длинные, [как зимой]]].*

3.7. Границы действия запрета

Таким образом, Запрет на сокращение промежуточной вершины, схематически представленный в (53), действует в составляющих различных категорий, с учетом исключений, указанных в начале данного раздела. Он, однако, не действует в том случае, если зависимое сокращаемой промежуточной вершины согласуется с ним по падежу¹², а также в конфигурации, показанной в (78).

¹² Наличие согласуемого определения (прилагательного или причастия), таким образом, является основанием для нарушения как Запрета на сокращение промежуточной вершины, так и Запрета на сокращение линейно противоположных вершин – (31), (35). Одним из возможных объяснений этого факта является следующее: прилагательное и причастие в соответствующих предложениях подвергается субстантивации и само возглавляет именную группу, так что эллипсиса не происходит. При таком подходе, например, в (31) субстантивированное прилагательное возглавляет именную группу, сочиняющуюся с ИГ *книги о войне*: (31') *Я покупаю [ИГ книги [о войне]] и [ИГ исторические].* Очевидно, что если, как предлагается в (31'), субстантивированное прилагательное возглавляет одну из сочиняемых именных групп, не может быть нарушен Запрет на сокращение линейно противоположных вершин. Аналогично субстантивацию можно постулировать в (65): (65') *[наличие в паспорте [[немецкой] визы]] и [отсутствие [ИГ иранской]].* Если от имени отсутствие в (65') зависит ИГ, возглавляемая субстантивированным прилагательным, то, очевидно, в данном словосочетании также не будет иметь места эллипсис, поэтому оно и не будет подпадать под действие Запрета на сокращение промежуточной вершины. Поскольку несогласуемые зависимые не могут подвергаться субстантивации, для них недоступен и данный способ «обойти» запреты на эллипсис.

Запрет на сокращение промежуточной вершины, по-видимому, может рассматриваться как эмпирическое подтверждение идеи, высказанной в [Lobeck 1995] и состоящей в том, что кореферентное сокращение может быть двух типов. Первый тип, называемый в [Lobeck 1995] «эллипсисом», обязательно воздействует на целую составляющую, а второй тип, называемый там «разрывом» (gapping), обязательно воздействует на самую «высокую» вершину конъюнкта и факультативно захватывает какой-то зависимый от нее материал. Примером «разрыва» в [Lobeck 1995] является сокращение глагола: (89) *Я поеду в Москву, а Петя ~~поедет~~ в Санкт-Петербург*. Пример эллипсиса – сокращение глагольной группы: (90) *I read this book, but Pete didn't [~~read this book~~]*. Таким образом, теория [Lobeck 1995] предсказывает, что сокращение обязательно должно либо «начинаться сверху», либо «доходить до низа» конъюнкта. Предложенный нами на базе русского языка Запрет на сокращение промежуточной вершины созвучен данной идее, хотя своей формулировкой ограничивает ее применимость. Запрет на сокращение промежуточной вершины может нарушаться и тогда, когда вышестоящая вершина, либо зависимое сокращаемой вершины, либо оба эти элемента подвергаются прагматическому выделению в контексте сопоставления. Происходит это как минимум в следующих случаях.

Во-первых, сокращение промежуточной вершины возможно в предложениях с контрастным выделением, если базой для сопоставления является вышестоящая вершина, а фокусом контраста – зависимое сокращаемой вершины: (91) *Расширить надо права Рады, а ограничить – ~~права~~ президента* – ср. (54); (92) *Петя не будет заниматься химией, но будет ~~заниматься~~ физикой*; (93) *Янукович хотел встретиться с Ющенко, но готов был ~~встретиться~~ и с Ехануровым*; (94) *В футболе разрешают игру головой, но запрещают ~~игру~~ рукой* – ср. (59). При этом возможно и такое, что база сопоставления и фокус контраста относятся к одной именной группе: (95) *Начало я помню Евангелия от Матфея, а эпилог ~~помню Евангелия~~ от Марка* – ср. (63). Во всех этих предложениях вершины, вышестоящие по отношению к сокращаемой, находятся друг с другом в отношении сопоставления, на что указывают, в частности, противительные союзы. Если смысл сопоставления отсутствует, сокращение промежуточной вершины становится невозможным: (96) **Янукович хочет встретиться с Ющенко и готов ~~встретиться~~ с Ехануровым*.

Во-вторых, сокращение промежуточной вершины возможно, если ее зависимое, являясь базой для противопоставления, находится в начале предложения: (97) *Отвечать за сделанное он был готов, а ~~отвечать~~ за сказанное готов не был* – ср. (55). По-видимому, объяснение этих фактов существенным образом зависит от анализа конструкций с сопоставлением. Мы оставляем этот вопрос за пределами данной статьи. Также следует подчеркнуть, что сформулированный в этом разделе запрет касается только тех случаев, когда промежуточные вершины совпадают в составляющих, сочиняемых в рамках одного предложения. Например, в диалоге, если антецедент находится в предыдущей реплике, сокращение промежуточной вершины бывает возможным: (98) – *Стоит ли рассказывать об этом Васе и Пете? – Не стоит ~~рассказывать~~ ни тому, ни другому*.

Тем не менее, ограничение, во многом подобное Запрету на сокращение промежуточной вершины, действует и за пределами сочинения отдельных составляющих. Если у сочиняемых предложений общей является некоторая составляющая, она, как правило, должна полностью сохраняться в одном предложении и полностью сокращаться в другом (в других), а не присутствовать разными своими элементами в разных конъюнктах. Часто это ограничение запрещает именно сокращать промежуточную вершину при сохранении вышестоящей вершины и его зависимого. Так происходит, например, при сокращении инфинитивного оборота: его можно полностью сократить в первом (100) или в последнем (99) предложении, но нельзя сократить частично в первом и частично в последнем, как в (101). При этом легко видеть, что в (99) мы имеем как раз конфигурацию с сокращением промежуточной вершины: (99) *Я хочу [уехать в Москву], но не могу [~~уехать в Москву~~]*; (100) *Я хочу [~~уехать в Москву~~], но не могу [уехать в Москву]*; (101) **Я хочу [уехать в ~~Москву~~], но не могу [~~уехать~~ в Москву]*. То же самое наблюдается при

сокращении именной группы: (102) *Петя написал [статью о Грузии], а газета опубликовала [статью о Грузии]*; (103) *Петя написал [статью о Грузии], а газета опубликовала [статью о Грузии]*; (104) **Петя написал [статью о Грузии], а газета опубликовала [статью о Грузии]*. Наконец, запрет на «перекрестное» сокращение зависимого предложения также не позволяет сокращать промежуточную вершину при сохранении ее зависимого – в неграмматичном (107) сокращаются союз и глагол при сохранении прямого дополнения этого глагола: (105) *Петя хочет, [чтобы ему заплатили \$10 000] а Вася не хочет, [чтобы ему заплатили \$10000]*; (106) *Петя хочет, [чтобы ему заплатили \$10000], а Вася не хочет, [чтобы ему заплатили \$10000]*; (107) **Петя хочет, [чтобы ему заплатили \$10000], а Вася не хочет, [чтобы ему заплатили \$10000]*. Интересно, что если одним из сокращаемых компонентов является самая «высокая» вершина предложения (например, глагол), то «перекрестное» сокращение часто возможно: (108) *Некоторым стали уменьшать ~~квоты~~, а некоторым ~~стали~~ увеличивать квоты*. Очевидно, что в этом случае ни в первом из сочиненных предложений, ни во втором не возникает конфигурации с сокращением промежуточной вершины. Тем не менее, в ряде случаев «перекрестное» сокращение разрешено, хотя оно и не привело бы к сокращению промежуточной вершины. Так, часто не разрешается, чтобы одно из зависимых глагольной группы сокращалось в первом предложении, а другое – во втором (или в последнем, при множественном сочинении): (109) *Я помогаю тем, кому [считаю [нужным] [помочь]], и не помогаю тем, кому [не считаю [нужным] [помочь]]*; (110) **Я помогаю тем, кому [считаю [нужным] [помочь]], и не помогаю тем, кому [не считаю [нужным] [помочь]]*. В (110) сокращаемые элементы соподчинены друг другу, и сокращения промежуточной вершины, очевидно, не происходит. Ср. также хорошо известный запрет сокращения дополнения в первом из сочиненных предложений при сокращении глагола во втором: (111) **Вася читает ~~книгу~~ и Петя ~~читает~~ книгу*. Таким образом, в общем случае запрет на «перекрестное» сокращение, границы которого еще предстоит установить, не сводим к запрету сокращать промежуточную вершину при сохранении ее зависимого и вышестоящей вершины.

4. ЗАПРЕТ НА СОКРАЩЕНИЕ ЛЕВОСТОРОННЕЙ ВЕРШИНЫ

Еще один запрет на эллипсис, приводящий в ряде случаев к обязательному повтору совпадающего материала, может быть сформулирован следующим образом: **невозможно сокращение вершины, которая линейно предшествует выраженному зависимому**. Рассмотрим следующие предложения: (112) *У Псковской области на сегодняшний день нет ни залежей нефти, ни залежей редкоземельных металлов*; (113) *Ни имени потерпевшего, ни имени оборотня не называется*. В этих предложениях совпадают вершины именных групп, сочиняемых двойными союзами. Их сокращение, тем не менее, невозможно: (114) **...ни залежей нефти, ни ~~залежей~~ редкоземельных металлов*; (115) **ни имени потерпевшего, ни ~~имени~~ оборотня*.

Аналогичный запрет наблюдается при двойных союзах и в том случае, когда от имени зависит предложная группа: (116) **Передайте и привет от Николая, и ~~привет~~ от меня*; (117) **Я отложил и поездку в Лондон, и ~~поезду~~ в Париж*. Также невозможно сокращение имени при двойном союзе, если от имени зависит относительное предложение – со словом *который* (118) или причастное (119): (118) **Мы пропустили и поезд, который шел в Москву, и ~~поезд~~, который шел в Санкт-Петербург*; (119) **Мы пропустили и поезд, идущий в Москву, и ~~поезд~~, идущий в Санкт-Петербург*.

Как показывают нижеследующие предложения, глагол также не может сокращаться при двойном союзе, если справа от него находятся зависимые: (120) **Мы или занимаемся математикой, или ~~занимаемся~~ русским языком*; (121) **Маша и вытерла чашки, и ~~вытерла~~ ложки*; (122) **Ни открывать двери, ни ~~открывают~~ окна там не разрешают*. Также невозможно сокращение предлогов при двойных союзах: (123) **Он не поехал ни в Москву, ни в Петербург*. Как показывает (124), невозможно при двойном союзе также сокращение предлога и вершины зависящей от него ИГ с сохранением зависимого этой

ИГ: (124) *В случае принятия соответствующих поправок, в Думе не будет необходимости ни в комитете по муниципальной собственности, ни ~~в комитете~~ по ЖКХ, ни ~~в комитете~~ по благоустройству.

С другой стороны, сокращение вершины при двойном союзе возможно в следующих случаях:

- при сочинении именных групп – когда зависимое предшествует имени, ср. (113) vs. (125) Ни Петин~~ой фамилии~~, ни Колиной фамилии названо не было; (112) vs. (126) У Псковской области нет ни нефтяных запасов, ни газовых; (116) vs. (127) Передайте и от Николая привет, от меня ~~привет~~; (119) vs. (128) Я заметил и идущий ~~поезд~~, и стоящий на месте поезд;
- при сочинении глагольных групп – когда зависимое в обоих конъюнктах предшествует глаголу, ср. (120) vs. (129) Мы или математикой занимаемся, или русским языком ~~занимаемся~~; (121) vs. (130) Машиа и чашки вытерла, и ложки ~~вытерла~~; (122) vs. (131) Ни двери открывать, ни окна ~~открывать~~ там не разрешают.

Замеченные контрасты подтверждают, что для эллипсиса вершины важна линейная позиция зависимого: сокращение вершины блокируется, если выраженное зависимое находится справа от нее. Данное обобщение, скорее всего, проверяемо только в контексте двойных союзов. Дело в том, что двойные союзы однозначно указывают на границы сочиняемых составляющих. Так, в (112), если бы оно было грамматично, необходимо было бы усматривать сочинение именных групп с вершиной *залежей*, а, например, не сочинение посессоров при слове *залежей* – на границы сочиняемых элементов здесь однозначно указывает позиция первого (левого) элемента двойного союза. Напротив, в соответствующем предложении с одинарным союзом *и* возможно считать, что сочиняются посессоры при одном имени, и тем самым сокращения не происходит: (132) У Псковской области на сегодня нет [*залежей* [[нефти] и [редкоземельных металлов]]]. Поскольку присутствует такая возможность анализа, данное предложение не может считаться контрпримером к сформулированному в этом разделе обобщению. Возможность такого же анализа, как в (132), присутствует, и когда зависимыми имени являются относительные предложения: (133) Мы пропустили [поезда, [которые шли в Москву] и [которые шли в Санкт-Петербург]]. Аналогичная возможность возникает в предложных сочетаниях: (134) Передай [привет [[от Николая] и [от меня]]] и в глагольных группах: (135) Мы [занимаемся [[математикой] и [русским языком]]] и т. д.¹³ Более того, в ряде случаев при замене двойного союза на одинарный вершинное имя обязательно переходит во множественное число, тем самым однозначно указывая, что сочиняются его зависимые и сокращения не происходит, ср. (113) vs. (136) *Имен потерпевшего и оборотня не называется*. Если бы здесь сочинялись «большие» именные группы с вершиной *имя*, то, очевидно, вершина была бы в единственном числе: (137) *[[Имени [потерпевшего]] и [~~имени~~ [оборотня]]] никто не знает. Неграмматичность последнего

¹³ Необходимо указать на одно ограничение действия обсуждаемого в этом разделе запрета. В разделе 2 рассматривались случаи «выравнивания» линейного положения зависимых, в том числе и справа от вершины, как в повторяемом здесь предложении: (22) *После бесланской трагедии сюда берут детей осетинских и погибших офицеров спецназа «Вымпел»*. Исходя из того, что зависимые разных категорий (в данном случае – группа прилагательного и ИГ в родительном падеже) не могут сочиняться друг с другом, мы вынуждены были усмотреть здесь сочинение именных групп с сокращением вершины одной из них: (i) [*детей* [осетинских]] и [~~детей~~ [погибших офицеров спецназа «Вымпел»]]. Очевидно, что в (i) сокращается вершина, занимающая левую позицию в своем словосочетании. Вопрос о том, как следует ограничить действие Запрета на сокращение левосторонней вершины, чтобы под него не подпадало (i), требует отдельного изучения. Возможно, формулировку запрета надо дополнить оговоркой, что он действует, если зависимые в сочиняемых составляющих – одной и той же категории.

предложения показывает, что в данном случае сочинение зависимых (а не сочинение именных групп с последующим сокращением вершины) является единственной возможностью.

Таким образом, двойные союзы, в отличие от одинарных, создают конструкции, при анализе которых необходимо постулировать сокращение вершины. Запрет на сокращение вершины в таких конструкциях указывает на определенное ограничение на эллипсис.

5. ВЫВОДЫ

В настоящей статье было показано, что эллипсис в русском языке подчинен ряду ограничений, которые могут быть сформулированы в терминах линейных и структурных позиций сокращаемого материала и его антецедента. Эти ограничения могут «заблокировать» сокращение материала даже в том случае, когда антецедент находится достаточно «близко», в этом же предложении, и эллипсис не привел бы к неоднозначности или неинтерпретируемости. Это заставляет предположить, что, помимо прагматических условий, русский эллипсис подчиняется также нетривиальным синтаксическим запретам. Их более полное обнаружение и объяснение, а также выявление их возможной связи с ограничениями на эллипсис прагматического характера, составляют предмет дальнейшего исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Булыгина, Шмелев 1990 – *Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев*. Синтаксические нули и их референциальные свойства // В.С. Храковский (ред.). Типология и грамматика. М., 1990.
- Мельчук 1995 – *И.А. Мельчук*. Русский язык в модели «Смысл ↔ Текст». М., 1995.
- Санников 1989 – *В.З. Санников*. Русские сочинительные конструкции. Семантика. Прагматика. Синтаксис. М., 1989.
- Тестелец 2001 – *Я.Г. Тестелец*. Введение в общий синтаксис. М., 2001.
- Ширяев 1986 – *Е.Н. Ширяев*. Бессоюзное сложное предложение. М., 1986.
- Adames 1995 – *P. Adames*. Семантическая интерпретация «значимых нулей» в русских предложениях // Х. Бирнбаум, С. Флайер (ред.). Язык и стих в России. М., 1995.
- Evans 1993 – *N. Evans*. Code, inference, placedness and ellipsis // W. Foley (ed.). The role of theory in linguistic description. Berlin, 1993.
- Givón (ed.) 1983 – *T. Givón* (ed.). Topic continuity in discourse: a quantitative cross-linguistic study. Amsterdam; Philadelphia, 1983.
- Goodall 1987 – *G. Goodall*. Parallel structures in syntax: Coordination, causatives, and restructuring. New York, 1987.
- Hawkins 1983 – *J. Hawkins*. Word order universals. New York, 1983.
- Huang 1994 – *Y. Huang*. The syntax and pragmatics of anaphora. Cambridge, 1994.
- Kazenin (in press) – *K. Kazenin*. On coordination of Wh-phrases in Russian (in press).
- Levinson 1987 – *S. Levinson*. Pragmatics and the grammar of anaphora: a partial pragmatic reduction of binding and control phenomena // Journal of linguistics. V. 23. 1987.
- Levinson 1991 – *S. Levinson*. Pragmatic reduction of the binding conditions revisited // Journal of linguistics. V. 27. 1991.
- Lobeck 1995 – *A. Lobeck*. Ellipsis. Oxford, 1995.
- Nariyama 2003 – *S. Nariyama*. Ellipsis and reference tracking in Japanese. Amsterdam; Philadelphia, 2003.
- Neijt 1979 – *A. Neijt*. Gapping: A contribution to sentence grammar. Dordrecht, 1979.
- Sag et al 1985 – *I. Sag, E. Klein, Th. Wasow, S. Weiser*. Coordination and how to distinguish categories // Natural language and linguistic theory. V. 3. 1985.
- Steedman 2000 – *M. Steedman*. The syntactic process. Cambridge (Mass.), 2000.
- Yngve 1961 – *V. Yngve*. The depth hypothesis // Proceedings of symposia in applied mathematics. V. 12: Structure of language and its mathematical aspects, providence, 1961 [русский перевод: *В. Ингве*. Гипотеза глубины // Новое в лингвистике. Вып. IV. М., 1965].

© 2007 г. А.В. САХАРОВА

**СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ
КРАТКИХ ПРИЧАСТИЙ В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛЕТОПИСИ
ДЛЯ НЕКОТОРЫХ СТАТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ**

Предложен подход к изучению критериев распределения предикативных единиц на оформляемые финитными глаголами и краткими причастиями (фактически уже деепричастиями) в древнерусской летописи. Так как употребление нефинитных форм традиционно считают обусловленным дискурсивно-прагматическими факторами (они маркируют предикации, принадлежащие заднему плану повествования), для нескольких близких по значению глаголов подробно проверяется, какие способы оформления используются в контекстах, характеризующихся различными значениями и дискурсивных и синтаксических параметров.

Выясняется, что изучаемые критерии близки критериям разграничения основных и фоновых для нарратива предикаций, но не все содержательные закономерности употребления причастий объяснимы дискурсивными факторами.

Функционирование причастий в средневековых восточнославянских текстах – один из вопросов, которому традиционно уделяется серьезное внимание в исторической русистике. Хорошо известно, что восточнославянские краткие (нечленные) причастия прошли по пути изменения своих синтаксических функций от подчиненности имени к подчиненности финитному глаголу, потеряв при этом склонение, а позднее и согласование по роду; уже для раннедревнерусского периода данные формы терминологически не корректно называть причастиями, так как они не использовались в качестве синтаксических определений [Зализняк 2004: 134, 184–185]. Правильнее было бы говорить о деепричастиях и деепричастных оборотах, но в русистике давно сложилась традиция использовать термины «краткое причастие» и «причастный оборот» (видимо, потому что согласование форма в некоторых более древних текстах сохраняла), и в данной работе не будем ее нарушать.

Но прежде чем перейти к дальнейшему описанию функционирования древнерусских кратких причастий действительного залога, необходимо дать некоторые общие сведения по поводу особенностей функционирования деепричастий (или причастий в обстоятельном употреблении).

**1. СИНТАКСИС И ДИСКУРСИВНЫЕ ФУНКЦИИ ДЕЕПРИЧАСТИЙ И ПРИЧАСТИЙ
В ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННОМ УПОТРЕБЛЕНИИ**

Обычно, когда говорят о деепричастии (или о причастии в обстоятельном употреблении), его определяют как глагольную форму, чья функция – маркирование обстоятельно подчиненной синтаксической группы, т. е. такой, которая не обозначает актанта глагола и не является определением [Haspelmath 1995: 3; Nedjalkov 1995: 97]. При этом синтаксические единицы, возглавляемые деепричастиями, считают подчиненными именно на том основании, что там употреблена нефинитная репрезентация глагола. (Напомним, что для языков европейского стандарта нефинитными называются глагольные формы, не имеющие показателей личного согласования, времени, наклонения.)

Глагольные репрезентации, в которых не выражены некоторые грамматические категории, обязательно выражаемые в независимых предикациях, также называют ино-

гда редуцированными [Naiman, Thompson 1984; Naiman 1985: 196 и далее]. Однако в первую очередь этот термин следует отнести к таким деепричастиям агглютинативных языков (некоторых северокавказских, тюркских и др.), которые имеют нулевой аффикс и поэтому могут трактоваться как чистые основы, от которых путем прибавления определенных показателей образуются формы, называемые финитными (таково, например, большинство деепричастий языков из выборки [Калинина 2001: 79–91]). Деепричастия же многих флективных индоевропейских языков (и, конечно, древнерусское краткое причастие) имеют специальные, ненулевые морфологические показатели и, строго говоря, не являются просто редуцированными финитными глаголами.

Считается, что поверхностно-синтаксическое подчинение имеет прагматический, когнитивный смысл. Дискурс имеет ядерную структуру, где одна информация в большей степени соответствует глобальной риторической цели говорящего/пишущего (пересказать, описать, объяснить нечто и т.п.), а другая – в меньшей, и этой менее важной, менее соответствующей цели информации и соответствуют приблизительно подчиненные предикативные единицы [Lakoff 1984; Matthiesen, Thompson 1988]; см. также [Tomlin et al. 1997: 91–92]. Для этого противопоставления основной и второстепенной информации используют обычно термины «foreground» и «background», которые принято переводить как «передний план» и «задний план», или «фон», соответственно.

Цель нарратива – рассказать об определенных изменениях положений дел, причем в той последовательности, в которой они реально и происходили. Поэтому основным, передним планом в нарративе называют собственно линию повествования, т. е. предикации, описывающие эти самые происходившие одно за другим события, где характер следующего события в той или иной степени определен обстоятельствами предыдущего [Nopper 1979; Dry 1981; 1983] – цит. по [Wärvik 2002: 29]. В таком случае простейший критерий деления предикаций нарратива на переднеплановые и фоновые – аспектальный: предикации (в том числе и причастные и деепричастные), обозначающие ситуации, одновременные событиям основной последовательности или иным образом хронологически на них накладывающиеся, и вообще обозначающие незавершенные ситуации, относят к фону повествования. В частности, именно так характеризуют английские причастия на *-ing*, чаще всего обозначающие состояния и неопределенные процессы – *local backgrounding device* [Thompson 1983].

Неоднократно отмечалось, что в нарративе обстоятельственные предикативные единицы могут иметь особую функцию: являться целиком пресуппозиционными (о прагматической пресуппозиции см. [Падучева 2001: 57–60]), привязывающими сообщаемую в главной предикации информацию к уже сообщенному ранее [Longacre 1983: 13–15; Givón 1984: 251; Wärvik 2002: 252]. Такого рода предикации, если они обозначают перфективные ситуации, могут повторять какую-то информацию как о точечных событиях, так и об окончаниях процессов [Thompson 1987]. Обстоятельственные предикации (в том числе и причастные и деепричастные), если они обозначают перфективные ситуации, не представляют собой пресуппозиционных отсылок назад и не инвертированы относительно главных в том смысле, что последовательность событий отражается иконически, таким образом относят к линии повествования – несмотря на то, что они подчиненные, они двигают изложение вперед [Dry 1981; 1983] – цит. по [Wärvik 2002: 29]¹.

Дискурсивные функции принадлежащих линии повествования деепричастных и причастных предикативных единиц разных языков трактуют по-разному. Древнегреческие

¹ Заметим, что существует и несколько иной подход к делению информации в нарративе на уровни, когда принадлежность предикации к переднему плану понимают как ее важность, или выделенность (*importance, saliency*). При этом выделенность может осознаваться как прагматическая характеристика предикации – ее неожиданность, нестереотипность по сравнению с другими; одним из средств языкового кодирования такой прагматической выделенности может быть длина или степень сложности предикативной единицы [Polanyi, Nopper 1981]. При таком, прагматическом подходе к переднему плану повествования также безусловно относят и предикативные единицы, сообщающие центральную, ключевую с точки зрения жанра и сюжета информацию [Polanyi, Nopper 1981; Chafe 1987].

причастные обороты (в том числе обороты с активными аористными причастиями) называют принадлежащими к заднему плану (фону) повествования, так как причастие есть форма, имеющая именные черты; в обстоятельственном употреблении (где у причастий нет артикля и их не считают поэтому определениями) их называют хотя и похожими на финитные формы, но второстепенными, вводящими относящиеся к главной предикации порции поддерживающей информации (*clause-specific background*) [Fox 1983: 31–32].

Употребление деепричастных и обстоятельственных причастных оборотов также называют средством выделения следующей после такого оборота финитной предикации (обозначающей некое ключевое для небольшого фрагмента событие) – такую функцию приписывают причастию в языке древнегреческого Евангелия [Longacre 1983: 30–34]. Употребление деепричастий – редуцированных глагольных форм – также объясняют просто действием механизма экономии языковых средств: в языке есть общая тенденция не повторять информацию, которая предсказуема или известна, поэтому и появление редуцированных предикаций есть результат своеобразного эллипсиса: в случае объединения серии глаголов по каким-то признакам, которые в данном случае оказываются важными, у всех глаголов, кроме одного, эти признаки оказываются не отмечены [Haiman, Thompson 1984]. Но, как уже было сказано, эти соображения прежде всего относятся к таким деепричастиям, которые представляют собой редуцированные буквально по форме финитные глаголы. В целом, можно наблюдать, что интерпретация авторами грамматик и другими исследователями дискурсивной роли той или иной деепричастной формы зависит от ее синтаксиса: как принадлежащие к переднему плану повествования оценивают деепричастия, употребляемые с большой частотой и с меньшим количеством черт синтаксического подчинения и имеющие нулевой морфологический показатель.

2. ДРЕВНЕРУССКОЕ КРАТКОЕ ПРИЧАСТИЕ

Синтаксис древнерусских кратких причастий имел ряд особенностей, издавна привлекавших внимание исследователей. Как известно, претеритное *и*-причастие могло употребляться для обозначения действия, предшествующего обозначенному финитным глаголом, от которого оно зависело, а презентное *иц*-причастие – одновременного [Růžička 1963: 82–83; Борковский, Кузнецов 1965: 318–319; Лопатина 1978: 108–109; Кузьмина, Немченко 1982: 292]. В «гибридных», т.е. соединяющих восточнославянские и церковнославянские элементы, древнерусских текстах были иногда возможны такие употребления кратких причастий, когда не обнаруживалось никакого финитного глагола с тем же подлежащим, от которого их можно было бы считать зависимыми. Например, не было глагола-вершины «традиционного» типа для *и*-причастия, если оно оказывалось из нескольких предикатов, относящихся к одному подлежащему, обозначающим самую последнюю хронологически ситуацию. Также подлежащее причастного оборота могло совпадать не с подлежащим, а с другим актантом финитного глагола; или даже у причастия и у соседних финитных глаголов могли отсутствовать общие актанты. (Фактически простейший критерий подчинения – тот, что предикация имеет не такой вид, какой имела бы, будучи одиночной, – для кратких причастий некоторых памятников XVI–XVII вв. уже не работает: *и*- и *иц*-причастия нормально фигурируют и в одиночных независимых предикациях [Живов 1995])².

² Обороты с краткими причастия в именительном падеже имели ряд и других синтаксических особенностей употребления, почти не характерных для старославянских, которые сближали их с финитными глаголами [Потебня 1958: 185–186; Истрина 1923: 73; Лопатина 1978: 115]. Следует отметить «глагольный» порядок слов, когда подлежащее главной предикации находится внутри составляющей с причастием во главе (типа *на ель ворона взгромоздась*), и наличие сочинительного союза между причастным оборотом и финитным глаголом (*вставъ и рече; иде, а оставивъ*). Причем соединительный союз *и* возможен не во всех случаях, он отмечает только принадлежащие к линии повествования предикации: *иц*-причастие с главной предикацией он соединяет крайне редко, а в случае *и*-причастия не появляется, если причастная предикация инвертирована относительно главной [Алексеев 1987а].

По разным спискам одного текста также видно, что причастия и финитные формы бывали иногда взаимно заменяемы [Алексеев 1987а: 195]. Предполагают, что условия для подобного смешения могло создавать, в частности, сходство *ш*-причастий с претеритами (с аористом (типа *слышавъ—слыша*), во множественном числе – с аористом и имперфектом единственного числа (типа *слышавъше—слышаша—слышаше*)) [Алексеев 1987а; Живов 1995].

Обороты с дательным самостоятельным точно так же обозначали ситуацию, одновременную или предшествующую ситуации, описываемой в главной предикации, в зависимости от того, было ли употреблено там *щ*- или *ш*-причастие. В старославянских текстах существовали синтаксические ограничения на употребления этого оборота: подлежащее его не совпадало с подлежащими ближайших финитных предикаций, однако в древнерусских «гибридных» текстах это синтаксическое ограничение не действовало, и такого рода совпадения были весьма часты [Белоруссов 1899; Сабенина 1978; Борковский, Кузнецов 1965]. Весь этот специфический летописный синтаксис причастий объясняют и тем, что списчик мог недостаточно владеть грамматикой церковнославянского причастия и тем, что подобный синтаксис причастия мог стать осознанно воспринимаемой нормой, свойственной определенному кругу письменных жанров [Алексеев 1987б: 44].

В этой связи следует напомнить, что представляла собой литературная норма для языка средневековой Руси и каковы были специфические механизмы, действовавшие при порождении книжных текстов [Живов 1995; 1998]. Обучение книжному языку (разумеется, достаточно отличному от разговорного на всех уровнях) могло еще включать в себя изучение орфографических правил, но на синтаксическом уровне никакие правила не формулировались. Навыки владения книжным языком формировались опытом чтения, и поэтому, создавая тексты, от которых требовалось хотя бы формальное сходство с образцовыми, авторы переосмыслили специфически книжные элементы и конструкции, не имеющие соответствий в их разговорном языке³, в тех категориях, которые были им доступны. А одно такое переосмысление могло уже стать для последующих читателей подобием прецедента, легализующего это отклонение. Возможно, именно действием этого механизма постепенных переинтерпретаций и объясняется появление и «прогрессирование» синтаксических черт финитного глагола у краткого причастия⁴.

Факторы, могущие обуславливать само распределение предикаций на оформляемые финитными глаголами и оформляемые причастными оборотами, специально не исследовались. Летописные причастные обороты, осознаваемые как особое синтаксическое явление, именно поэтому получили, как известно, специальное название «второстепенные сказуемые». Термин этот стал для большинства отечественных исследователей метафорическим обозначением того, что подобного рода предикации, хотя и похожи на глагол («сказуемые»), но имеют меньшую важность с точки зрения организации дискурса (второстепенны) [Истрина 1923; Борковский 1949; Борковский, Кузнецов 1965; Геор-

³ В современном русском языке употребление и причастий и деепричастий характерно почти исключительно для литературного языка, в разговорном языке единицы аналогичного происхождения представляют собой весьма ограниченно употребляемые прилагательные и наречия [Земская 1973: 160–196]. Впрочем, мы не знаем, верно ли это для разговорного языка Средневековья – в материале берестяных грамот, где отражен более бытовой регистр письменного языка, обороты с краткими причастиями именительного падежа встречаются и имеют в целом такой же синтаксис, как и в летописи [Зализняк 2004: 181–182, 192–193].

⁴ Синтаксис *ш*-причастий объясняют также влиянием отпричастного перфекта, употребление которого могло быть характерно для разговорного языка некоторых из писцов (по данным лингвогеографии он сформировался в западно-великорусских диалектах уже в XII веке) [Горшкова, Хабургаев 1981: 352–357]. Не ясно в таком случае, как быть с писцами, в чьем разговорном языке этого перфекта не было. К тому же для нарратива не характерно употребление перфекта как категории с результативным значением.

гиева 1968; Стеценко 1972; Лопатина 1978; Кузьмина, Немченко 1982]. Второстепенность называли и свойством современных русских деепричастных оборотов [Шахматов 2001]. Дискурсивной функцией дательного самостоятельного в работах последних лет называют маркирование фоновых по отношению к развитию нарратива предикаций (*backgrounding*) и отмечают, что в поздних текстах он теряет это значение и превращается просто в стилистическое средство [Worth 1994: 33; Corin 1995: 259–260].

Говоря о значении восточнославянских причастных оборотов, исследователи обычно также перечисляют те смысловые связи, в которых могут находиться причастная и главная предикации (или, если в повествовательной цепочке трудно выделить главную предикацию, отношения между причастной предикацией и ближайшей финитной): обычный причастный оборот может быть для главной предикации обстоятельством времени, причины, образа действия, условия (см. например [Руднев 1959: 93–100; Večerka 1961: 116–118; Лопатина 1978: 107]), равно как и уточнением или разъяснением уже сообщенной информации; дательный самостоятельный является чаще всего обстоятельством времени или причины [Белоруссов 1899: 78–82; Борковский, Кузнецов 1965: 483; Сабенина 1978: 420; Worth 1994: 39]. Однако очевидно, что наличие этих связей не обязательно, они имеют место просто в силу лексической сочетаемости конкретных слов, а не являются «значениями» причастного оборота как синтаксической трансформации.

Известно также, что существовали лексикализованные конструкции, постоянно оформлявшиеся дательным самостоятельным (*Богу поущьшу, Богу извольшу, солнцу въсходящу, времени минувъшу, дни наставъшу* и некоторые другие [Сабенина 1978: 428]). Их наличие не противоречит всему вышесказанному по поводу семантики и дискурсивно-прагматического значения причастных оборотов: в текстах одного жанра и круга тем определенные лексические элементы могут регулярно оказываться в одном и том же семантическом и прагматическом контексте. Однако это наводит на мысль, что и вообще для разных глаголов закономерности распределения предикаций на причастные и финитные могут отличаться.

В сущности же механизм распределения предикаций на причастные и финитные не изучен. Как уже было сказано, передний и задний планы повествования – это комплексные понятия, критерии выделения их в нарративе могут быть разными. К тому же в исследовании контекстно обусловленных и не всегда выполняемых на 100% дискурсивных закономерностей нельзя продвинуться далеко, пользуясь только теми приемами, с помощью которых изучают морфо-синтаксические закономерности. Так как значения параметров дискурсивного уровня нельзя определить вне контекста (как, например, то, представляет ли собой предикация прагматическую презумпцию или нет, сообщает ли она более или менее ожидаемую информацию и т.п.) и для глаголов разных семантических классов могут быть характерны свои закономерности распределения предикаций, имеет смысл, как уже было сказано, сравнивать причастные употребления с финитными не вообще, а по отдельности для разных глагольных лексем.

Данная статья и представляет собой иллюстрацию такого полексемного подхода: в ней проведен анализ всех употреблений причастных и финитных форм стативных глаголов *быти*, *сѣдѣти* и *стояти* в тех случаях, когда они имеют значения пребывания в определенном месте (локативное значение), и глаголов *сѣдѣти* и *стояти* в тех случаях, когда они имеют значение пребывания в определенной позе, в одном конкретном тексте – Комиссионном списке Новгородской первой летописи младшего извода⁵ по из-

⁵ Разумеется, в текстологическом отношении список достаточно неоднороден, но на данном этапе исследований принимать во внимание эту неоднородность не имеет смысла. Также не являются предметом данного исследования закономерности расхождений между списками в употреблении причастных и финитных форм. Анализ этих расхождений мог бы дать дополнительный интересный материал, но сначала необходимо установить общие, «усредненные» закономерности употребления причастий для одного текста, взятого как целое.

данию [НПЛ 1950]. Он имеет средние размеры, 264 листа в оригинале (т.е. он не настолько велик, чтобы с ним было очень трудоемко работать, и не настолько мал, чтобы употреблений наиболее частотных глаголов было недостаточно, чтобы делать выводы); начальная его часть принадлежит древнейшему периоду истории письменного языка, когда параметры литературного языка и, в том числе, изучаемый, только формировались.

3. КРИТЕРИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДИКАЦИЙ НА ПРИЧАСТНЫЕ И ФИНИТНЫЕ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ СТАТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ

3.1. Глаголы локативного значения

Быти

В исследуемом тексте глагол *быти* появляется в составном именном или глагольном сказуемом (т.е. в значении связки), в локативном значении, когда обязательным участником описываемой ситуации является место пребывания субъекта, и в значении глагола существования, когда у ситуации нет других обязательных участников, кроме самого субъекта⁶. Рассмотрим только те употребления глагола, где он имеет второе, локативное значение.

Тогда, когда предикация с глаголом *быти* является фоновой по аспектуальному критерию, т.е. обозначает ситуацию, одновременную событию нарративной последовательности, и имеет общее подлежащее с предикацией, обозначающей эту ситуацию, исследуемый глагол оформляется *щ*-причастием. Но на данный ситуационный контекст есть всего один пример, глагол в нем имеет значение пребывания в состоянии, а не в определенном месте (по значению приближаясь к связке); и употреблено русское новообразование, *щ*-причастие *будя*, а не *сый* или *суце*:

*...архиепископъ новгородчкыи Феоктистъ выиде изо владычня двора, по своей волѣ своего ради нездравия, благословивъ Новѣгород; иде в монастырь святыя богородица Благовѣщению, изволивъ молчалное житѣе, в немощи будя [1304]*⁷.

Если предикация с данным глаголом является фоновой по аспектуальному критерию, но не имеет общего подлежащего с предикацией, обозначающей одновременную ситуацию, а также если подлежащее глагола *быти* – в единственном числе и имеет статус Данного, т.е. уже фигурировало в изложении раньше, эта предикация оформляется дательным самостоятельным, причем может использоваться как *щ*-, так и *ш*-причастие:

В лѣто 6574 Ростиславу суццю Тмутороканю и емлюцю дань у Касогъ и у иных странъ, сего же убоявшеся Грѣци, послаша с лестию катопана [1066];

(новгородцы) и собращася в ноцъ, исѣкоша Варягы в Поромонѣ дворѣ; а князю Ярославу тогда в ту ноцъ суцу на Ракомѣ. И се слышавъ, князь Ярославъ разгнѣвася на гражаны [1016];

Посем же Половчемъ воюющимъ по землѣ Русѣи, Святославу суцу в Черниговѣ, и Половцемъ воюющимъ около Чернигова, Святославъ же собравъ дружины нѣколико, изиде на нѣх ко Сновьску [1068];

Того же лѣта князь великыи Василии, собравъ вои, и поиде на того же Махмета и приде въ Суздаль; и бывшу ему въ Еуфимьева монастыря, и без вѣсти наидоша Татарове, и бысть сѣча велика [1445] и т.д.

⁶ Конечно, словари (см., например [Срезневский 1903, 1: 204-205]) различают большее число значений глагола *быти*, границы между которыми нечетки, но подчеркнем, в данном случае речь идет только об употреблении глагола в исследуемом летописном тексте.

⁷ Эта дата получена путем механического вычитания 5508 из той, к которой летописец отнес данную запись. Соответствующий эпизод может на самом деле относиться и к другой дате из-за разных дней начала года и т.п., но для лингвистических целей эта разница не важна; следует только помнить, что древнейшая часть летописи, относящаяся к X в., была создана в XI в.

Всего таких примеров девять. Употреблений финитной формы точно в подобном контексте только три:

Приидоша Свѣя и Емь и Сумъ и Дидманъ со своею волостью и множество рати и начаша чинити город на Наровѣ. тогда не бѣше князя в Новѣгородѣ, и послаша новгородци в Низъ ко князю по полкы а сами розослаша по своей волости, такоже копяще полкы. Они же, оканнии, услышавше, побѣгоша за море [1256];

...възведоша и на сѣни честно весь Новѣград, мѣсяца мая въ 7, на Вознесение Господне, на память святого отца Пахомия; не бысть тогда митрополит в Руской земли [1388];

...бысть снемъ въ святѣи Софѣи 6 дни 6 ноци. А цесарь же Исаковичъ бѣше в то время Влахирнѣ и мышляше в себѣ, како бы ввести Фрягы отаи и боярѣ въ градѣ томъ, увѣдавши помышление цесарево, и пакы утолиша его, не даша ему напустити Фрягъ [1204].

Финитные формы также употребляются в контекстах, которые отличаются от вышеописанного хотя бы по одному параметру. Например, если предикация с данным глаголом является фоновой по аспектуальному критерию и не имеет общего подлежащего с предикациями, обозначающими одновременные ситуации, но при этом описываемая ситуация одновременная другой такой же фоновой по аспектуальному критерию, употребляется имперфект:

И погребоша Игоря; и есть могила его близъ града Коростеня въ Дрехех и до сего дни. А Олга же бѣше в Киевѣ съ сыномъ своимъ дѣтскимъ Святославомъ, и кормилецъ его Асмудъ и воевода бѣ Свѣнделдъ, тѣ же отецъ Мъстишинъ. Рѣша же к себѣ Дрѣвляне: «се князя убихомъ рускаго поимемъ жену его Олгу за князь свои Малъ» [945].

Предикация оформляется финитно еще в ряде контекстов, похожих на вышеописанный типичный для дательного самостоятельного, но имеющих от него некоторые отличия. Это, во-первых, те контексты, где подлежащее имеет статус Нового:

В си же времена бысть въ Грѣчкои земли цесарь, именемъ Михаилъ, и мати его Ирина, иже проповѣдаетъ поклонание иконамъ въ прѣвую недѣлю поста. При семъ приидоша Русь на Царьград в кораблех [вступит. часть];

...ту князь Александръ Михаилович со Тфѣри нападе на нь, и князь Юрьи самъ убѣжа въ Плесковъ, а товаръ его разграбиша, а въ Плесковѣ бѣше тогды литовьскыи князь Давыдько; и оттолѣ призваша и новгородци к собѣ по хрестьному цѣлованию, и поставиша в Загородьи, въ Офоновѣ дворѣ, въ диаконовѣ [1322].

Во-вторых, это те контексты, где подлежащее стоит во множественном числе:

Того же лѣта, на зиму, позва Всеволод новгородцовъ на Черниговъ, на Ярослава и на все Олгово племя; и новгородци не отпрѣшася ему, идоша съ княземъ Ярославомъ огнищанѣ и гридба и купцѣ. И быша на Новѣмъ торгу, и приславъ Всеволод, и възврати е съ честию домовъ [1195];

...«идете в зажитья, толко головъ не емлите». И идоша, исполнишася кормомъ, сами и конѣ, и быша верху Волзѣ; осклѣ Святославъ Ржеву, городець Мъстиславъ, с полкы въ 10 тысяць Мъстиславъ же с Володимиром со Плесковьскымъ поиде в борзѣхъ въ 5 сот: [1216] и т. д.

В пяти из этих 12 случаев предикация с глаголом *быти* оказывается внутри придаточного предложения, вводимого союзом *яко*:

...биша их и до рѣцѣ, и ту паде лучьших Нѣмцовъ нѣколько; и яко быша на рѣцѣ на Омовьже Нѣмци, и ту обломшася, и истопе ихъ много [1234] и т. д.

Во всех данных примерах с финитным *быти* речь идет о передвижениях войска во главе с вождем, но о них же может говориться и в примерах с дательным самостоятельным: *Того же лѣта князь великыи Василии, собравъ вои, и поиде на того же Махмета и приде въ Суздаль; и бывшу ему въ Еуфимьева монастыря, и без вѣсти наидоша Татарове, и бысть сѣча велика [1445].*

В-третьих, это те контексты, где не новой является информация о самом месте пребывания субъекта (и поэтому сама предикация носит характер примечания):

Того же дни иде князь Мъстиславъ с новгородци на Чюдъ на Ереву... Мъстиславъ же князь взя на них дань, и да новгородцемъ двѣ чясти дани, а третьюю часть дворяномъ;

бѣше же ту и Плесковскыи князь Всеволод Борисовиць со плесковици; и приидоша вси здрави со множествомъ полона [1241];

А у града того остаа два воеводѣ, Чьгырканъ и Тешюканъ, на Мьстислава и на зять его на Ондрѣа и на Олександра Дубровичскаго: бѣста бо два князя съ Мьстиславомъ. Ту же и бродници с Татары бѣша, и воевода их Плоськыня, и тѣ оканныи воевода цѣлова крестъ честныи къ Мьстиславу и ко обоимъ княземъ како их не избити [1224];

...совокупи всю князю и полку бецисла, и приведе в Новѣгород; и ту бѣше баскакъ великыи володимирскыи, именовъ Амраганъ, и хотѣша ити къ Кольваню [1269];

...доконцаша миръ по старымъ грамотамъ, на всеи воли повгородчкои, и крестъ цѣловаша; а князю даша боръ по волости, а на новоторжцех 1000 рублевъ; бѣше же ту и митрополит; и присла князь намѣстникъ в Новѣгород [1340].

В-четвертых, это те контексты, где в состав предикации входит частица *бо*:

В Новѣградѣ же бысть мятежь великъ: не бѣше бо князя Ярослава, нѣ в Переяславли бысть тогда [1232];

Умершю же ему на Берестовомъ, и потаиша и, бѣ бо Святополкъ в Киевѣ [1015].

Рассмотрим теперь контексты, где предикации с данным глаголом (в значении *находиться*) принадлежат нарративной последовательности и где данный глагол является непоследним в ее фрагменте, относящемся к одному подлежащему (так как причастные формы данного глагола появляются только в них). В тех случаях, когда предикация, следующая за предикацией с *быти*, обозначает ситуацию, так или иначе завершившую это длительное состояние пребывания, предикация с глаголом *быти* оформляется кратким *и*-причастием. Подобных примеров всего шесть:

...множество бецислено людии добрых помре тогда. Сице же бысть знамение той смерти: хракнетъ кровью челоуѣкъ и до треи день бѣвъ да умрет [1351];

Того же лѣта мѣсяца мая въ 22 день, на память святого мученика Василиска, в пятток 4 недѣли по пасцѣ, въ 7 час дни, преставися архиепископъ новгородчкыи Климентъ, бѣвши въ епископи лѣт 23, добрѣ правивъ церковь божию [1299];

Тои же зимы, мѣсяца генваря въ 20, соуде владыка Иоан со владычества, бѣвши въ владычствѣ [30 лѣт безъ трии] [1415];

Преставися посадникъ Юрьи Онцифорович, бѣвши нѣмъ год и 3 мѣсяци [1417] и т.д.

Причем только в одном из этих примеров при глаголе *быти* нет обстоятельства времени: *Того же лѣта прииха митрополит Феогнастъ в Русь, бѣвъ въ Цесариградѣ и в Ордѣ [1333].*

В одном случае в контексте подобного типа употребляется финитная форма:

Того же лѣта, мѣсяца июня въ 15, святого пророка Амоса, преставися архиепископъ новгородчкыи Семеон; бысть владыкою 5 лѣт и 3 мѣсяци безъ пяти дьнии, а всего 6 лѣт [1421].

Можно было бы назвать подобное сочетание ситуаций, когда следующая прекращает описываемую данным глаголом, ожидаемым (раз указаны границы периода пребывания в каком-либо месте, дальше речь должна идти о завершении этого периода). Однако употребление *и*-причастия объясняется проще: ограничение обусловлено самой аспектуальной семантикой данной формы, не могущей обозначать ситуацию, одновременную другой; если следующая ситуация не кладет конец данному состоянию, то, значит, она ему одновременна, происходит на его «фоне», и *и*-причастие употребить нельзя. И, действительно, в контекстах, отличающихся от вышеописанного только тем, что следующая ситуация не прекращает обозначаемой глаголом *быти*, употребляются только финитные формы:

Тои же зимѣ приихаше митрополит Киприянъ в Новѣгород, и владыка Иоан стрѣтѣ его съ кресты съ игумены и с попы и со многыми крестияны у святого Спаса на Ильинѣ улицѣ. И бысть в Новѣгородѣ 2 недѣлѣ; много говоритъ Новугороду, чтобы грамота подрати, что новгородци поконцалѣ к митрополиту не зватися. И Новѣгород слова его не приаише, а грамотѣ не подраша; и митрополит поиха из Новогорода [1391].

Но не ясно, однако, чем объясняется ограничение употребления *и*-причастия случаями, где подлежащее стоит в единственном числе (а для других стативных глаголов оно

не имеет место – см. далее), ведь только финитные формы употребляются в контексте, отличающемся от контекста, в котором возможны *ш*-причастия, только тем, что подлежащее во множественном числе:

И много гадавшие новгородци, и быша безъ владыкы 8 мѣсяць; и възлюбиха весь Новъград от мала и до велика, игумени и попове богомъ назнаменана Григориа Калику мужа добра, кротка и смирена, попа бывша святого Козмы и Дамиана на Холопьи улицы; и пострижеса [1391];

И въста за него Торговая сторона вся, и начаша людши лупити, а перевозниковъ бити от берега, а суды сѣчи и тако быша безъ мира по 2 недѣли, и потомъ сиидошася в любовь и даша посадничьство Василью Евановичю [1388] и т. д.

Отметим еще один случай употребления *ш*-причастия глагола *быти*, где глагол имеет значение близкое к значению связки, подлежащее его отлично от подлежащего соседней финитной предикации:

Въздвиге диаволь котору въ братьи; а сш Ярославци бывши между собою в распрѣ велици: Святославъ со Всеволодомъ на Изяслава. Изиде ис Кыева Изяславъ; Святославъ и Всеволод видоста в Кыевъ [1074].

В данном случае предикация с *быти*, видимо, оказывается обозначает законченное событие (начали быть в распре), но так как представляет собой разъяснение предыдущей фразы, может трактоваться и как не принадлежащая нарративной последовательности.

Статистика употреблений глагола *быти* в тех случаях, когда предикация с ним является и не является фоновой по аспектуальному критерию, показана в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Предикация	Щ-прич.	Дат. сам. с щ-прич.	Дат. сам. с ш-прич.	Финитно
Общее подлежащее				
Фоновая по аспектуальному критерию; значение <i>быти</i> – не непосредственно локативное, а пребывания в определенном состоянии	1	–	–	
Разные подлежащие				
Фоновая по аспектуальному критерию; подлежащее глагола <i>быти</i> – в единственном числе, имеет статус Данного	–	5 (42%)	4 (33%)	3 (25%)
Фоновая по аспектуальному критерию; при этом ситуация одновременна другой такой же фоновой; подлежащее глагола <i>быти</i> – в единственном числе, имеет статус Данного				1
Фоновая по аспектуальному критерию; подлежащее глагола <i>быти</i> (последнего, но не единственного в цепочке) – во множественном числе, имеет статус Данного				7 + 5 придаточных с союзом <i>яко</i>
Фоновая по аспектуальному критерию; подлежащее глагола <i>быти</i> – в единственном числе, имеет статус Данного; место пребывания обозначено анафор. местоимением				4
Фоновая по аспектуальному критерию; подлежащее глагола <i>быти</i> – в единственном числе, имеет статус Данного, есть частица <i>бо</i>				2

Предикация	III-прич.	Дат. сам. с <i>и</i> -прич.	Финитно
Непоследняя во фрагменте нарративной последовательности, относящемся к одному подлежащему; подлежащее в единственном числе; следующая ситуация прекращает данную	7 (88%)	–	1 (12%)
Непоследняя во фрагменте нарративной последовательности, относящемся к одному подлежащему; подлежащее во множественном числе; следующая ситуация прекращает данную			2
Непоследняя во фрагменте нарративной последовательности, относящемся к одному подлежащему; подлежащее в единственном числе; следующая ситуация не прекращает данную			1

Рассмотрим теперь те употребления глаголов *сѣдѣти* и *стояти*, где они имеют значения из некоторой локативной группы (для *сѣдѣти* это «оставаться», «жить», «занимать престол» и т.п. [Срезневский 1903, 3: 889–891], для *стояти* – «оставаться», «занимать место», «стоять лагерем» и т.п. [Срезневский 1903, 3: 527–528]) – в этих случаях обязательным участником описываемой ситуации, видимо, оказывается место пребывания (так же, как и для *быти* в значении *находиться*). В древнейшей части летописи оба глагола в этих значениях не появляются, а только в своем прямом. Но в целом по тексту НПЛ в этих значениях они употребляются чаще, и их *и*-причастия демонстрируют закономерности, сходные с закономерностями употребления *и*-причастий глагола *быти*.

Сѣдѣти

Есть только один пример, где предикация с данным глаголом является фоновой по аспектуальному критерию, при этом общее подлежащее глагол имеет только с предикацией, обозначающей другую такую же фоновую незаконченную ситуацию, и используется финитная форма:

...Игорь же *сѣдяше в Киевѣ* княжа, и воюя на Древяны и на Угличѣ [922].

Таким образом, у данного глагола нет *и*-причастных употреблений, в которых он бы имел локативное значение.

Рассмотрим далее те случаи, где предикации с глаголом *сѣдѣти* принадлежат нарративной последовательности.

В единственном контексте, где возможно употребление *и*-причастия стативного глагола с точки зрения самой семантики этой формы (см. про *и*-причастие глагола *быти*): в таком, где предикация с данным глаголом принадлежит нарративной последовательности, а следующая ситуация так или иначе завершает это длительное состояние, могут использоваться и *и*-причастие и финитные формы. Причастных примеров больше – 13:

...бѣжа Ростиславъ... из Новагорода сентября 1 *сѣдѣвъ въ Новгородѣ 8 лѣтъ и 4 мѣсяцѣ* [1139];

Иде Ростиславъ къ Чернигову ис Кыева *сѣдевъ Киевѣ неделю 1* [1114];

Тогда же иде Ростиславъ ис Кыева, *сѣдевъ недѣлю*, к Чернигову, и побѣдиша и, прельстивше; и *сѣде* Изяславъ Давыдовиць в Киевѣ на столѣ [1154];

Преставися архиепископъ новгородчкыи антонии мѣсяца октября 8... сии блаженныи архиепископъ антонии преже изгнания *сѣдивши въ епископи лѣтъ 8 по митрофанѣ* пребясть же в болезни тои и онѣмѣвъ и ничтоже глагола лѣтъ 6 и 7 мѣсяцѣ [1232];

И идоша съ Ярославомъ, и сѣдѣвше на Лукахъ, и възвратишася опять домовъ, а Всеволод вшедь в землю их; и не вда богъ кровопролитья бошаго, и взяша миръ между собою [1196] и т.д.

Из этих 13 примеров шесть принадлежат списку новгородских князей, данному при статье 989 года.

Финитные формы в аналогичном контексте появляются четыре раза:

...разгнѣвався Всеволод, и прия вся, и епископа и гостя. И сѣдѣша новгородци безъ князя 9 мѣсяць; и призваша изъ Суздаля Судилу [1141];

Приша в Новѣгород князь Володимерь, по зборѣ за недѣлю, и сѣдѣ в Новѣгородѣ до Петрова дни, и поиха прочь [1371];

...введоша Святослава, сына Олгова. И тѣ сѣдѣ два лѣта, и выгнаша и и... введоша Ростислава Юрьевича, внука Володимиря. И тѣ сѣдѣ лѣто и 4 мѣсяци, и бѣжа из города [989];

И бѣша сѣдяще Углицѣ по Днѣпру вѣнизъ, и посемъ приидоша межи Бѣгъ и Днѣстръ, и сѣдоша тамо [922].

В последнем примере употреблен не аорист и отсутствует указание на временные пределы ситуации, но так как следующая предикация обозначает ситуацию, завершающую предыдущую, рассматриваем этот пример вместе с прочими.

Есть также еще один пример подобного типа:

Тогда же даша посадничество Якуну; и сѣдѣша новгородци безъ князя о Семена дни до велика дни о Якунѣ, ждущие от Мьстислава сына [1168].

Но в нем употребление *ш*-причастия данного глагола невозможно – обозначаемая ситуация одновременная другой.

Контекст, который отличается от вышеописанного не содержательно, а синтаксически: ситуацию, описываемую глаголом *сѣдѣти*, следующая ситуация прекращает, но субъект глагола *сѣдѣти* является не подлежащим, а дополнением следующего глагола, пишущие тоже явно стремятся выделить. Поэтому на такой контекст тоже распространяется возможность употребления *ш*-причастий глагола *сѣдѣти*. Таких примеров всего два, оба они также принадлежат перечислению новгородских князей:

...позва его брат Изяславъ в Русь, а сына своего присла Ярослава. И тѣ сѣдивъ лѣто, и выгнаша его новгородци, и введоша Ростислава Мьстиславлича... выгнаша Святослава, и введоша Мьстислава, Юрьевъ внукъ, Ростиславича. И тѣ сѣдивъ год, и выведе его строи волею [989].

Встречая в таком контексте причастие, мы сталкиваемся с уже упомянутым механизмом переинтерпретации такого рода, что тенденция употреблять причастные формы согласно определенной смысловой закономерности «перекрывает» действие синтаксических правил их функционирования⁸.

В двух случаях в подобного типа контекстах предикация с *сѣдѣти* оформляется и дательным самостоятельным с *ш*-причастием:

Прииде от Чернигова къ Новугороду князь Ярополкъ Ярославичъ на вербьницу, мѣсяца марта; и сѣдѣвши ему одну 6 мѣсяць, и выгнаша его из Новагорода, и послаша опять по Ярослава с Новаго торгу в Володимирь, позвани Всеволодомъ. Идоша из Новагорода прежнии мужи и сочкьи и пояша Ярослава со всею правдою и честью; и прииде на зиму по крещении за недѣлю [1197];

Урядися Ростиславъ съ Андрѣемъ о Новѣгородѣ, и выведоста Мьстислава Юрьева внука, сѣдѣвшию ему год безъ недѣль, а Святослава ведоша опять на всеи воли его, мѣсяца сентября въ 28 [1161].

⁸ Причастие таким образом может превратиться в одну из глагольных форм, употребление которой привязано к определенным содержательным контекстам, но не ограничено синтаксически. Следующим этапом этого процесса может быть потеря кратким причастием этой привязки и превращение в форму, употребляющуюся в абсолютно свободном варьировании с финитными. Действием такого механизма, видимо, и объясняется хотя бы отчасти обильное употребление кратких причастий в синтаксических контекстах финитных форм в некоторых текстах более позднего периода.

Таким образом, для данного глагола дательный самостоятельный может оказаться эквивалентом обычного причастного оборота для тех случаев, когда подлежащее оборота отличается от подлежащего следующего финитного глагола.

В других случаях в таком контексте употребляется (в полном соответствии с традиционным синтаксисом) финитная форма:

...введоша Святослава, сына Олгова. И тѣ сѣдѣ два лѣта, и выгнаша и и... введоша Ростислава Юрьевича, внука Володимира [989];

...прииде Святополкъ, и показаша путь Ростиславу; а Святополкъ сѣде на столѣ. И сѣдѣ лѣто, и абие позва его брат Изяславъ в Русь [989];

...всадиша и въ епископлъ дворъ с женою и с дѣтьми и с тѣщею... И сѣдѣ 2 мѣсца, и пустиша из города июля въ 15 [1134].

Статистика для тех употреблений глагола, где предикации с ним являются фоновыми по аспектуальному критерию, показана в таблице 3, прочие – в таблице 4.

Таблица 3

Предикация	III-прич.	Дат. сам. с и-прич.	Финитно
Фоновая по аспектуальному критерию; общее подлежащее глагол имеет только с предикацией, обозначающей другую такую же фоновую незаконченную ситуацию			1

Таблица 4

Предикация	III-прич.	Дат. сам. с и-прич.	Финитно
Непоследняя во фрагменте нарративной последовательности, относящемся к одному подлежащему; следующая ситуация прекращает данную	13 (74%)	–	4 (26%)
Последняя во фрагменте нарративной последовательности, относящемся к одному подлежащему; следующая ситуация прекращает данную	2 (29%)	2 (29%)	3 (42%)

Стояти

Имеется только один пример, где предикация с глаголом *стояти* является фоновой по аспектуальному критерию. При этом общее подлежащее глагол имеет только с предикацией, обозначающей другую такую же фоновую незаконченную ситуацию, и используется финитная форма:

Приступиша же на 40 кораблехъ великихъ; бяху же изременани и межи ими, в нихже людие на конех, въ оружьи, еще же и конѣ их оболчени въ брони; инии же в кораблех и в галѣлях стояху назади, боящися от зажъжения [1204].

Таким образом, данный глагол (так же, как и *сѣдѣти*) не имеет и-причастных употреблений, в которых он бы имел локативное значение.

Рассмотрим теперь случаи, когда предикации со *стояти* принадлежат нарративной последовательности. В таком контексте, который, как уже говорилось, в силу самой аспектуальной семантики и-причастия данного глагола является для этого причастия единственно возможным: а именно тогда, когда предикация с данным глаголом принадлежит нарративной последовательности, а следующая ситуация так или иначе заверша-

ет данное длительное состояние, – предикация с глаголом *стояти* может оформляться и кратким *и*-причастием и финитной формой.

Всего примеров на *и*-причастие четыре:

...[новгородци] *Идоша ис Кыева къ Чернигову, и стоявшие 12 дни, и взяша миръ, и въземше дары, приидоша в Новъгород въси здрави* [1214];

Ходи Ярославъ на Черниговъ ратью [...] пожже Шернескъ и стоявъ под Мосаискомъ възсяптися назадъ истрати обилья много [1231];

Того же лѣта поиде князь великъи Юрьи с новгородци к Выбору, городу Нѣмечкому; и биша и б-ю пороковъ, твердъ бо бѣ, и избиша много Нѣмецъ в городѣ, а и иных извѣшаша, а инии на Низъ поведоша; и стоявшие мѣсяць, приступивъ, и не взяша его [1322];

Того же лѣта, събравшися Нѣмци, местерь со всеми своими вои, пришедше под городѣ под Яму, бивше и пушками, и стоявшие 5 дни, и по Вочкои земли и по Ижерѣ и по Невѣ поплениша и пожгоша; а города ублюде богъ и святъи архистратигъ Михаилъ [1444].

Финитные формы в аналогичном контексте появляются пять раз:

Иде князь Юрьи Андрѣевиць с новгородци и с ростовци Кыеву на Ростиславица и прогнаше ис Кыева, и стояше под Вышегородомъ 7 недѣль, и приидоша в Новъгород вси здрави [1173];

Тои же осенѣ сташа новгородци под Орѣховымъ, въ госпожино говѣнье, и стояша до великаго заговѣнья и приступиша к городу с приметомъ в понедѣльник чистой недѣли [1345];

А новгородци стояша под Тфѣрью 4 дни, и доконцаша миръ на всеи воли князя великаго и на новгородчкои [1375];

Приходи князь Витовтъ Литовьскъи ратью со всею силою своею къ городу Смоленьску, и стоя под городом 3 мѣсяци, и отъиде [1404];

Стоя Витовтъ под Вороначомъ 3 недѣли ратью и отъиде не взя [1426].

В таком ситуационном контексте, где следующая предикация обозначает ситуацию, не завершившую данную, предикация с глаголом *стояти*, как и следовало бы ожидать, оформляется финитно.

Примеров всего шесть:

И бысть тои осени Ляхом и Литвѣ 3 побоища с Нѣмци, а трижда Нѣмецъ избиша; а во всѣхъ тѣхъ побоищехъ много же крестиянъ и Литвы и Ляховъ от Нѣмецъ избиено бысть; а стояша под Марьиным городомъ 8 недѣль и взяша Марьина 2 города охабня, а въшняго третьяго не взяша [1410];

Приходиша же Нѣмци силою великою с пороки ко Изборьску и стояша под городом 11 день, и мало не взяша его [1342];

Ходиша из Новагорода люди молодъи к Новому городку, на Овль на рѣцѣ, к нѣмечкому. И стояша под городомъ много дни, и посадъ весь взяша, и волость всю потравиша [1377];

Того же лѣта ходи князь великъи Дмитрии Ивановичъ съ всѣми князьми и со всею силою рускою на князя Михаила Тфѣрьскаго, и стоя под Тфѣрью 4 недѣли, и волость всю взяша... [1375];

...приидоша к Орлецо городку и стояша под городкомъ 4 недѣль, поставиша пороки и оступиша городокъ, и начаша бити пороки [1398];

Взя князь Литовьскъи Витовтъ плесковьскъи пригород Коложе на миру; а под Воронацемъ стоя два дни, и много повоева волости плесковьскыи [1406].

В одном случае здесь появляется и *и*-причастие: однако в данном случае отличие от всех предыдущих, следующая за данной ситуация имела место непосредственно перед тем, как данному состоянию был положен конец:

Новгородци же всѣдши в носады, погребоша в Ладогу съ княземъ Ярославом... Новгородци же стоявшие в Невѣ нѣколько дни, и створиша вѣче и хотѣша убити Судимира, и скры князь в носадѣ у себе, оттолѣ же възсяптися в Новъгород, а ладожанъ не ждавшие [1398].

Есть также один пример на *и*-причастие, являющееся единственным сказуемым придаточного предложения, вводимого союзом *и*, находящегося к тому же не в самой нарративной последовательности, но внутри прямой речи:

...«*такъ пришедши постоиши у мене в Почаинѣ якоже и азъ у тебе въ Съсуду стоявши то тогда ти дамъ*» и *сиа пакы словеса глаголавши много и абие отпусти послове* [955].

Если все же предполагать вслед за [Горшкова, Хабургаев 1981], что отпричастный перфект разговорного языка мог как-то проявляться в летописи, то в первую очередь примеры подобного рода (прямая речь, результативный контекст) следует считать употреблениями этого перфекта.

Статистика для тех употреблений глагола, где предикации с ним являются фоновыми по аспектуальному критерию, показана в таблице 5, для прочих – в таблице 6.

Таблица 5

Предикация	III-прич.	Дат. сам. с <i>и</i> -прич.	Финитно
Фоновая по аспектуальному критерию; общее подлежащее глагол имеет только с предикацией, обозначающей другую такую же фоновую незаконченную ситуацию			1

Таблица 6

Предикация	III-прич.	Дат. сам. с <i>и</i> -прич.	Финитно
Непоследняя во фрагменте нарративной последовательности, относящейся к одному подлежащему; следующая ситуация прекращает данную	4 (44%)	–	5 (56%)
Непоследняя во фрагменте нарративной последовательности, относящейся к одному подлежащему; следующая ситуация не прекращает данную	–	–	6
Непоследняя во фрагменте нарративной последовательности, относящейся к одному подлежащему; следующая ситуация не прекращает данную, но имела место непосредственно перед тем, как данному состоянию был положен конец	1		

3.2. Глаголы позиции

Рассмотрим также и те употребления глаголов *сѣдѣти* и *стояти*, где они имеют свое прямое значение – пребывания в определенной позе. Предикации с данными глаголами в этом значении в исследуемом летописном тексте являются исключительно фоновыми по аспектуальному критерию (что обусловлено особенностями летописи как жанра: в рассказе о важных политических или, в крайнем случае, природных событиях было бы странно встретить переднеплановые предикации с такими глаголами).

Сѣдѣти

Если предикация с глаголом *сѣдѣти* является фоновой по аспектуальному критерию, но общее подлежащее глагол имеет только с предикацией, обозначающей другую такую же фоновую незаконченную ситуацию, оба глагола оказываются оформлены *и*-причастием:

...*понесоша я в лодыи. Онѣ же сѣдяще и гордящеса въ великихъ перегибехъ и сустугахъ. И пакы принесоша я на дворъ къ Олзѣ* [945].

Пример *То кѣи то богъ, сѣдѣи въ безднѣ; то есть бѣсъ; а Богъ есть сѣдѣи на престолѣ на небеси, славимъ от аггелъ* [1071] к этому контексту не относим, так как причастие, обозначающее одновременную данную ситуацию, является пассивным.

Появление такого рода именительного самостоятельного можно объяснить тем, что пишущий «привык» употреблять в форме *щ*-причастия каждый из этих глаголов тогда, когда им обозначается фоновая по аспектуальному критерию ситуация, и следует данному правилу содержательного контекста даже тогда, когда оно оказывается противоречащим традиционным синтаксическим правилам.

Если предикация с данным глаголом является фоновой по аспектуальному критерию и ее подлежащее совпадает с подлежащим глагола, обозначающего одновременную ситуацию нарративной последовательности, используется *щ*-причастие:

Заутра Ольга сѣдѣици в теремѣ посла по гости и придоша к нимъ глаголюще: зоветь вы Ольга [945];

...бысть громъ велии яко слышахомъ вси чисто в истьбѣ сѣдѣице [1138].

Таких примеров всего два.

Если предикация с данным глаголом является фоновой по аспектуальному критерию, но ее подлежащее не совпадает с подлежащим глагола, обозначающего какую-либо одновременную ситуацию, используется дательный самостоятельный:

...си же придоша на княжъ дворъ. Изяславу сѣдѣицу на сѣнех с дружиною своею, и начаша прѣтися съ княземъ, стояще долѣ. Князю изо оконца зрящу и дружинѣ стоящи у князя, и рече Тукы, брат Чюдинь, Изяславу: «видѣши, княже, людие возлилися суть; пошли солъ, да блюдут Всеслава» [1068];

...нача призывати бѣсы въ храмину свою. Новгородцю же сѣдѣице на празѣ тоя храмины, кудесьникъ же лежа оцѣпѣвъ, и шибѣ имъ бѣсъ [1071];

...[пришли князь Святослав и его сын] Сѣдѣицимъ же имъ у него, рече ему Федосии: «се, отхожю свѣта сего»; [1074].

Всего таких примеров три.

Если предикация с данным глаголом является фоновой по аспектуальному критерию, ее подлежащее отличается от подлежащего предикации, принадлежащей нарративной последовательности, но она сама представляет собой разъяснение предыдущей информации и является по форме либо придаточным предложением, либо предложением, по смыслу являющимся сентенциальным актантом принадлежащей нарративной последовательности предикации, употребляются финитные формы:

...всаженъ бысть в бочку, имущи 3 дна при единемъ конци, за нимже Исаковицъ сѣдѣише, а въ другомъ конци вода, идеже гвоздъ [1274].

...видѣ посадъ единъ гребущъ; посредѣ посада стояща Бориса и Глѣба въ одежах червленых, и бѣста руки своя держаста на рамѣхъ коиждо коему, гребци же сѣдѣху акы в молнию одѣни [1240].

Статистика для глагола показана в таблице 7.

Таблица 7

Предикация	<i>Щ</i> -прич.	Дат. сам. с <i>щ</i> -прич.	Финитно
То же подлежащее, что и у глагола, обозначающего одновременную ситуацию			
Фоновая по аспектуальному критерию; подлежащее совпадает с подлежащим глагола, обозначающего одновременную ситуацию нарративной последовательности	2		
Фоновая по аспектуальному критерию; общее подлежащее глагол имеет только с предикацией, обозначающей другую такую же фоновую незаконченную ситуацию	1		

Подлежащее не совпадает с подлежащим глагола, обозначающего какую-либо одновременную ситуацию			
Фоновая по аспектуальному критерию; значение глагола – "пребывать в сидячей позе"		3	
Фоновая по аспектуальному критерию; разъяснение предыдущей информации, значение глагола – "пребывать в сидячей позе"			2

Стояти

Если предикация с глаголом *стояти* является фоновой по аспектуальному критерию, но общее подлежащее глагол имеет только с предикацией, обозначающей другую такую же фоновую незаконченную ситуацию, используется *щ*-причастие. Всего таких примера два:

...стояху инъ до иши, друзии же до персии, младыя же от берега, друзии же младенци держаще, свершении же бродяху; попове же стояще, молитвы творяху [988];

...смотримъ, како ся кланяють в ропатѣ, стояще бес пояса, и поклонивъся, сядетъ и гядит сѣмо и овамо, акы бѣшенъ [987].

Если предикация с данным глаголом является фоновой по аспектуальному критерию, общее подлежащее глагол имеет только с предикацией, обозначающей другую такую же фоновую незаконченную ситуацию, но эта другая предикация (*внимаючи учению*) отсылает к частично уже известной информации, т.е. сама является фоновой еще и по другому критерию, используется финитная форма:

...заповѣда еи о церковномъ уставѣ и молитвѣ и о постѣ, и о милостинѣ и о воздержании тѣла чиста. Она же [княгиня Ольга], поклонивши главу, стояще, акы губа напаяема, внимаючи учению [955].

Если предикация с данным глаголом является фоновой по аспектуальному критерию и его подлежащее совпадает с подлежащим глагола, обозначающего одновременную ситуацию нарративной последовательности, используется *щ*-причастие.

Всего таких примера два:

...их же учение развращено: вѣлѣзъши въ церковь, не покланяются иконамъ, но стоя поклонитя, и, поклонивъся, написаетъ крестъ наземлѣ и цѣлуетъ, и вѣставъ простъ, станетъ на немъ ногама; да легъши цѣлуетъ, а вѣставъ попираетъ [988];

...си же приидоша на княжъ дворъ. Изяславу сѣдящу на сѣнех с дружиною своею, и начаша прѣтися съ княземъ, стояще долѣ [1068].

Если же предикация с данным глаголом является фоновой по аспектуальному критерию и его подлежащее совпадает с подлежащим глагола, обозначающего одновременную ситуацию нарративной последовательности, и к тому же предикация представляет собой отсылку к уже сообщенному (т.е. является фоновой и по другому критерию), используется дательный самостоятельный:

...бѣ нѣкто муж: старѣишина в земли Ижерьскои, именовъ Пелгусии поручена же бѣ ему стража морьская... Стоящу же ему при краи моря, стрегущу обою пути, и пребысть въсю ночь въ бдѣниши [1240].

Если предикация с данным глаголом является фоновой по аспектуальному критерию, но ее подлежащее не совпадает с подлежащим глагола, обозначающего какую-либо одновременную ситуацию, используется дательный самостоятельный:

...поидоша на нь и обоидоша дворъ около его. Оному же стоящу на сѣнех съ сыномъ своимъ, и рѣша ему: «вдаи сына своего, да вдамы богомъ» [983];

...сш же приидоша на князь дворъ. Изяславу сѣдѣицу на сѣнѣх с дружиною своею, и начаша прѣтисѣ съ княземъ, стояще долѣ. Князю изо оконца зрящу и дружинѣ стоящи у князя, и рече Тукы, брат Чюдинь, Изяславу: «видѣши, княже, людие возлилися суть; пошли солъ, да блюдут Всеслава» [1068].

Есть еще один пример употребления формы глагола *стояти* в контексте, где ситуация, описываемая им, является фоновой по аспектуальному критерию и у глагола, описывающего эту одновременную ситуацию, другое подлежащее:

...в то же лѣто на зиму иде в Русь архиепископъ новгородчкыи Нифонтъ с лучшими мужи и заста кыянѣ с черниговци *стояще противу себѣ множество вои* [1135].

Синтаксический разбор данного примера затруднителен: не ясно, каково подлежащее причастной предикации. Если *кыянѣ с черниговци*, то самостоятельный оборот, видимо, представляет собой результат переосмысления пишущим оборота из аккузатива с причастием, *если множество вои*, то все равно данный оборот является актантом предыдущего финитного глагола *заста*. Из-за этой синтаксической неоднозначности в статистике учитывать данный пример не будем.

Статистика для глагола показана в таблице 8.

Таблица 8

Предикация	Щ-прич.	Дат. сам. с щ-прич.	Финитно
Фоновая по аспектуальному критерию; общее подлежащее глагол имеет только с предикацией, обозначающей другую такую же фоновую незаконченную ситуацию	2 (66%)		1 (33%)
Фоновая по аспектуальному критерию; подлежащее совпадает с подлежащим глагола, обозначающего одновременную ситуацию нарративной последовательности	2		
Фоновая по аспектуальному критерию; отсылка к уже сообщенному; общее подлежащее глагол имеет только с предикацией, обозначающей другую такую же фоновую незаконченную ситуацию		1	
В значении «пребывать в стоячей позе», подлежащее не совпадает с подлежащим глагола, обозначающего какую-либо одновременную ситуацию		2	

* * *

Результаты наблюдений подтверждают, что глаголы одного лексического класса обнаруживают схожие критерии распределения предикаций на причастные и финитные. Некоторые из этих контекстов оказываются в летописи описываемыми только одним способом, в других предпочтения пишущего тоже очевидны, хотя возможна вариативность.

Изучаемые критерии распределения предикаций на причастные и финитные непосредственным образом связаны с давно уже известными лингвистической теории критериями разграничения основных и фоновых для нарратива предикаций. Когда предикация является фоновой по аспектуальному критерию, она всегда оформляется нефинитно: используется *щ*-причастие в именительном падеже, если подлежащее совпадает с подлежащим предикации, обозначающей одновременную нефоновую ситуацию, и дательным самостоятельным, если не совпадает.

Есть пример употребления дательного самостоятельного для маркирования предикации, которая представляет собой отсылку к уже сообщенному, и, значит, является фоновой и по этому критерию.

Когда предикации с исследуемыми глаголами принадлежат нарративной последовательности, есть простое ограничение на употребление *и*-причастия: следующая предикация должна принадлежать к определенному классу – описывать ситуацию, прекращающую данную. Но ограничение объясняется самой аспектуальной семантикой *и*-причастия стативного глагола, не могущего обозначать состояние, одновременное другой ситуации.

Исследованный материал также предоставил ряд иллюстраций того, как работал механизм переинтерпретации правил книжного языка, в данном случае – синтаксических: иногда книжник мог следовать тенденции употребления кратких причастий в определенном содержательном контексте, даже нарушая при этом традиционные синтаксические правила: так могли возникать именительные самостоятельные с причастиями исследуемых глаголов (впрочем, эквивалентом краткого причастия в именительном падеже в таком контексте мог оказаться и дательный самостоятельный).

Отметим также, что есть закономерности употребления кратких причастий, например отсутствие употреблений *и*-причастия глагола *быти* во множественном числе, которые обусловлены прагматическими причинами. Пока что в объяснение их можно только сказать, что они, очевидно, возникают в результате интерпретации летописцем соответствующих закономерностей в образцовых для него текстах.

В любом случае для подтверждения или опровержения выдвинутых в данной статье объяснений необходимо исследование других памятников. В русле дальнейшего изучения критериев распределения предикаций на финитные и причастные было бы интересно изучить аналогичные закономерности употребления причастных и финитных форм глаголов и в других древнерусских памятниках и в текстах, образцовых для летописцев. Такие исследования обогатили бы конкретными деталями описание языкового поведения древнерусского книжника, были бы полезны с текстологической точки зрения (так как параметры употребления причастных оборотов варьируются во фрагментах разного происхождения) и вписывались бы в актуальную проблематику изучения прагматических факторов в истории письменного языка, риторических и нарративных стратегий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алексеев 1987а – А.А. Алексеев. Пути стабилизации языковой нормы в России XI–XVI вв. // ВЯ. 1987. № 2.
- Алексеев 1987б – А.А. Алексеев. Participium activi в русской летописи: особенности функционирования // R Ling. V. 11. 1987.
- Белоруссов 1899 – И.М. Белоруссов. Дательный самостоятельный падеж в памятниках церковно-славянской и древнерусской письменности // Русский филологический вестник. Варшава, 1899. Т. 41.
- Борковский 1949 – В.И. Борковский. Синтаксис древнерусских грамот (простое предложение). Львов, 1949.
- Борковский, Кузнецов 1965 – В.И. Борковский, П.С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка. М., 1965.
- Георгиева 1968 – В.Л. Георгиева. История синтаксических явлений русского языка. М., 1968.
- Горшкова, Хабургаев 1981 – К.В. Горшкова, Г.А. Хабургаев. Историческая грамматика русского языка: Учеб. пособие. М., 1981.
- Живов 1995 – В.М. Живов. Usus scribendi. Простые претериты у летописца-самоучки // R Ling. 1995. V. 19. № 1.
- Живов 1998 – В.М. Живов. Автономность письменного узуса и проблема преемственности в восточнославянской средневековой письменности // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Краков, 1998. Доклады российской делегации. М., 1998.
- Зализняк 2004 – А.А. Зализняк. Древненовгородский диалект. 2-е изд., перераб. с учетом находок 1995–2003 гг. М., 2004.
- Земская 1973 – Русская разговорная речь / Под ред. Е.А. Земской. М., 1973.
- Истрина 1923 – Е.С. Истрина. Синтаксические явления Синодального списка I Новгородской летописи // Известия Отделения русского языка и словесности. 1923. Т. 24. Кн. 2.
- Калинина 2001 – Е.Ю. Калинина. Нефинитные сказуемые в независимом предложении. М., 2001.

- Кузьмина, Немченко 1982 – *И.Б. Кузьмина, Е.В. Немченко*. История причастий // Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол / Под ред. А.И. Аванесова, В.В. Иванова. М., 1982.
- Лопатина 1978 – *Л.Е. Лопатина*. Второстепенное сказуемое // Историческая грамматика русского языка: Синтаксис. Простое предложение / Под ред. В.И. Борковского, М., 1978.
- НПЛ 1950 – Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов // Полное собрание русских летописей. Т. 3. М.; Л., 1950.
- Падучева 2001 – *Е.В. Падучева*. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985; 2-е изд. М., 2001.
- Потебня 1958 – *А.А. Потебня*. Из записок по русской грамматике. Т. 1–2. М., 1958.
- Руднев 1959 – *А.Г. Руднев*. Обособленные члены предложения в истории русского языка // Уч. зап. ЛГПИ. Л., 1959. Т. 174.
- Сабенина 1978 – *А.М. Сабенина*. Дательный самостоятельный // Историческая грамматика русского языка: Синтаксис. Простое предложение / Под ред. В.И. Борковского. М., 1978.
- Срезневский 1903 – *И.И. Срезневский*. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам: В 3-х томах. СПб., 1903.
- Стеценко 1972 – *А.Н. Стеценко*. Исторический синтаксис русского языка: Учеб. пособие. М., 1972.
- Шахматов 2001 – *А.А. Шахматов*. Синтаксис русского языка. М., 2001.
- Chafe 1987 – *W. Chafe*. Cognitive constraints on information flow // R.S. Tomlin (ed.). Coherence and grounding in discourse: Outcome of symposium, Eugene, Oregon, June, 1984. Amsterdam (Philadelphia), 1987.
- Corin 1995 – *A. Corin*. The dative absolute in Old Church Slavonic and Old East Slavic // *Die Welt der Slaven*. 1995. V. 42. № 1.
- Dry 1981 – *H. Dry*. Sentence aspect and the movement of the narrative time // *Text*. V. 1. 1981. № 3.
- Dry 1983 – *H. Dry*. The movement of narrative time // *Journal of literary semantics*. 1983. V. XII. № 2.
- Fox 1983 – *B. Fox*. Discourse function of the participle in Ancient Greek // F. Klein-Andreu (ed.). Discourse perspectives on syntax. 1983.
- Givón 1984 – *T. Givón*. Syntax: a functional typological introduction. V. 1. Amsterdam (Philadelphia), 1984.
- Haiman 1985 – *J. Haiman*. Natural syntax. Iconicity and erosion. Cambridge, 1985.
- Haiman, Thompson 1984 – *J. Haiman, S.A. Thompson*. «Subordination» in universal grammar // Proceedings of the X Annual meeting of the Berkeley linguistic society. 1984.
- Haspelmath 1995 – *M. Haspelmath*. The converb as a cross-linguistically valid category // M. Haspelmath, E. König (eds.). Converbs in cross-linguistic perspective. Berlin, New York, 1995.
- Hopper 1979 – *P.J. Hopper*. Aspect and foregrounding in discourse // T. Givón (ed.). Discourse and syntax. New York, 1979.
- Lakoff 1984 – *R. Lakoff*. The pragmatics of subordination // Proceedings of the X annual meeting of the Berkeley linguistic society. 1984.
- Longacre 1983 – *R.E. Longacre*. The grammar of discourse. New York, 1983.
- Matthiesen, Thompson 1988 – *C. Matthiesen, S.A. Thompson*. The structure of discourse and «subordination» // J. Haiman, S.A. Thompson (eds.). Clause combining in grammar and discourse. Amsterdam (Philadelphia), 1988.
- Nedjalkov 1995 – *V. Nedjalkov*. Some typological parameters of converbs // M. Haspelmath, E. König (eds.). Converbs in cross-linguistic perspective. Berlin; New York, 1995.
- Polanyi, Hopper 1981 – *L. Polanyi, P.J. Hopper*. A revision of the foreground-background distinction: Paper presented at the 1981 Winter meeting of the Linguistic society of America. [Электрон. ресурс.] Доступ: <http://eserver.org/langs/polanyi-hopper1981.hqx> [21.6.2000].
- Růžička 1963 – *R. Růžička*. Das syntaktische System der Altslavischen Partizipien und sein Verhältnis zum Griechischen. Berlin, 1963.
- Thompson 1983 – *S.A. Thompson*. Grammar and discourse: the English detached participial clause // F. Klein-Andreu (ed.). Discourse perspectives on syntax. 1983.
- Thompson 1987 – *S.A. Thompson*. «Subordination» and narrative event structure // R.S. Tomlin (ed.). Coherence and grounding in discourse: Outcome of symposium, Eugene, Oregon, June 1984. Amsterdam (Philadelphia), 1987.
- Tomlin et al. 1997 – *R.S. Tomlin, L. Forrest, Ming Ping Pu, Myung Hee Kim*. Discourse semantics // T.A. van Dijk (ed.). Discourse as structure and process. Discourse studies: A multidisciplinary introduction. V. 1. London; New Delhi, 1997.
- Večerka 1961 – *R. Večerka*. Syntax aktivních participií v staroslověštině. Praha, 1961.
- Wårvik 2002 – *B. Wårvik*. On grounding in narrative: a survey of models and criteria. Turku, 2002.
- Worth 1994 – *D.S. Worth*. The dative absolute in Primary Chronicle: some observations // *Harvard Ukrainian studies*. V. XVIII. № 1/2. Special issue: Ukrainian philology and linguistics. 1994.

© 2007 г. В.В. ПОНАРЯДОВ

ДИАЛЕКТНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В ДРЕВНЕТЮРКСКОМ ЯЗЫКЕ ЕНИСЕЙСКИХ РУНИЧЕСКИХ НАДПИСЕЙ

В статье делается важная попытка выделения на лингвистических основаниях двух диалектов в языке рунических эпитафий VIII–XI вв. на территориях Тувы и Хакасии. Выделяется шесть релевантных признаков, которые позволяют дифференцировать тюркские диалекты – древнекыргызский и чикский.

В тюркологии широко распространено представление, что язык орхоно-енисейских рунических надписей представляет собой не отражение живых древнетюркских племенных и территориальных диалектов, но единую унифицированную литературную форму, носящую наддиалектный характер и употреблявшуюся в таком качестве самыми разными древнетюркскими этническими группами [Кормушин 1990; 1997а: 6, 13; 1997б: 90, 93; Poppe 1965: 60; Erdal 1998: 157; Gabain 2003: 2]. Вариативность, наблюдающаяся в языке памятников, интерпретируется лишь как колебания нормы единого литературного языка в результате распространения его на обширных территориях и функционирования в течение значительного хронологического периода [Баскаков 1962: 273; Тенишев 1990: 143–144]. Наиболее осторожно высказывался полвека назад С.Е. Малов, который считал, что вопрос нуждается в дополнительном изучении [Малов 1952: 6–7].

Однако уже после того, как С.Е. Малов изложил свою точку зрения, мнение о непредставленности в тюркских рунических надписях живых диалектов их создателей было закреплено результатами специального исследования, предпринятого И.А. Батмановым. Не отрицая того, что фонетическая и грамматическая вариативность в надписях может быть результатом диалектного влияния, он тем не менее делает заключение, что «во всех рассматриваемых текстах не нашли своего полного отражения говоры, а получили обозначение лишь их следы, потонувшие в нормах начавшей складываться письменной традиции» [Батманов 1964: 120–121].

Для крупнейшего современного знатока енисейской эпиграфики И.В. Кормушина вопрос об отсутствии в изучаемых им памятниках отражения аборигенных древнетюркских диалектов представляется настолько решенным, что он считает единственным путем определения этнической принадлежности надписей лишь выявление в них тонких лексических и стилистических предпочтений, ибо фонетика и грамматика представленного в них «межэтнического письменного койне» не обнаруживают никакой этнической вариативности [Кормушин 1997а: 6, 13]. В другой своей работе Кормушин отмечает, что зафиксированный в рунических надписях древнетюркский письменный язык должен был, несомненно, специально преподаваться, так как, имея «литературный и наддиалектный» характер, он не совпадал «с народно-разговорными языками (диалектами) использовавших его родственных тюркоязычных этносов» [Кормушин 1997б: 90].

Однако, вопреки всем этим суждениям, проведенное нами на материале енисейских рунических надписей исследование¹ показало, что положение об отсутствии в них диалектной дифференциации является ошибочным. Со всей несомненностью выделяются два непересекающихся комплекса признаков, которые позволяют говорить об отражении исследованными памятниками двух самостоятельных древнетюркских диалектов, различающихся на фонетическом, морфологическом и лексическом уровнях. Релевантными признаками являются следующие.

- (1) Местоимение 1 л. ед.ч. в диалекте А регулярно выступает в форме *mān* (10, 12; 28, 3, 4; 29, 3, 7; 32, 15; 47, 2, 3; 48, 14; 147, 1; 149, 1), а в диалекте Б – в форме *bān* (1, 2; 2, 5; 3, 3; 6, 3; 8, 3; 9, 2; 11, 1; 13, 5; 15, 1, 2; 16, 1; 19, 1; 20, 2; 24, 5, 8; 37, 1, 2, 3; 41, 3, 4; 44, 2, 6; 49, 2; 50, 5; 51, 1; 52, 1; 61, 3; 68, 3, 4, 6; 92, 2; 100, 1).
- (2) Показатель дательного падежа в формах притяжательного склонения *-qal-kū* (1, 2; 3, 2, 4, 5; 7, 3, 4; 8, 2; 13, 3, 4; 14, 2, 5; 16, 3; 17, 3; 21, 1; 22, 3, 4; 27, 5, 7; 28, 4, 6, 8; 30, 4; 32, 11, 14; 36, 2; 44, 2; 48, 14; 55, 3; 59, 8, 9; 68, 1; 70, 1, 5; 96, 2, 3; 100, 1; 120, 1, 2; 147, 1, 2, 3) встречается в обоих диалектах, но его показатель *-al-ū* (29, 4; 31, 3; 36, 3; 42, 3, 5; 46, 2; 147, 5; 149, 5; 152, 3) встречается только в памятниках диалекта А, а показатель *-yal-gū* (6, 4; 11, 3; 15, 2, 3; 45, 2, 5) – только в памятниках диалекта Б.
- (3) Суффикс разделительного деепричастия в форме *-ip/-ip/-up* (10, 8; 45, 2) встречается в обоих диалектах, но его вариант *-īpan/-īpūn* (28, 5; 30, 4, 5) обнаруживается только в диалекте А.
- (4) В значении «посланик» в диалекте А встречается только слово *jalabač* (29, 8; 30, 5), в диалекте Б – только слово *elči* (1, 2; 14, 1) ~ *älči* (24, 4).
- (5) Слово *kuŋčij* (1, 1; 3, 1; 6, 4; 7, 4; 8, 2; 10, 1; 11, 1; 14, 2; 21, 5; 22, 3; 27, 2; 29, 1; 45, 6; 46, 1; 48, 7; 55, 2; 59, 2; 65/пл, 1; 68, 5; 70, 2; 100, 1; 147, 2) в значении «(первая) жена» широко употребляется в памятниках обоих диалектов; однако другие слова со значением «жена» – *eš* (2, 1; 51, 3), *kiši* (6, 2; 11, 3; 18, 3; 27, 4; 46, 3; 61, 2), *ūbči* (42, 2; 51, 1; 66, 1; 100, 1; 109, 4) – засвидетельствованы во всех случаях, кроме двух (надписи №№ 42 и 46), в диалекте Б.
- (6) В значении «лошадь» слово *at* (28, 3; 41, 4; 42, 5; 48, 12) встречается в обоих диалектах, но слово *jon* (3, 5; 45, 8; 55, 3) только в диалекте Б.

В табл. 1 представлено распределение этих признаков по отдельным руническим надписям. В таблице приняты следующие обозначения:

– наличие в их текстах элементов, связываемых с диалектом А, кодируется буквой «а»; элементов, связываемых с диалектом Б, – буквой «б»;

– наличие характерного для диалекта Б признака (5) в связи с его не абсолютной надежностью отмечается в скобках – в виде «(б)». Соответственно, если он противоречит другим признакам, то диалект определяется как А, а если другие признаки для определения диалекта отсутствуют, то надпись определяется принадлежащей к диалекту Б условно, и указание на диалект в соответствующей графе сопровождается знаком вопроса «?»;

¹ Большинство памятников (№ 1–3, 5–8, 10–12, 14, 17, 19, 23, 25, 27–32, 37, 40, 42–46, 48–55, 59, 61, 65, 66, 68, 70, 92, 96, 98, 100, 104, 109, 110, 120, 147, 149, 152) рассматривается по изданию [Кормушин 1997а] как наиболее текстологически надежному. Не вошедшие в нее памятники № 9, 13, 15, 16, 18, 24, 26, 33–36, 38, 39, 41, 47 рассмотрены по изданию [Малов 1952]. Следует обратить внимание, что даваемые в этой книге чтения в определенных случаях устарели; в частности, вокативная частица *-a* систематически принимается за показатель дательного падежа, из-за чего при не критической работе с данным изданием окажется искаженным распределение ниже рассматриваемого признака (2). Сомнительные случаи (которые, впрочем, немногочисленны) нами не учитываются. Памятники, не представленные в указанных изданиях, оставлены без рассмотрения. При всех примерах указываются номера памятников, где эти примеры засвидетельствованы; номер после запятой курсивом отсылает к номеру строки соответствующего памятника. Например, 10, 12 расшифровывается как: памятник Е-10, 12-я строка; или 28, 3, 4: памятник Е-28, 3-я и 4-я строки. Подробнее о нумерации енисейских надписей см. [Кормушин 1997а: 7].

– пустые клетки таблицы обозначают отсутствие в надписи релевантного элемента.

Таблица 1

Распределение релевантных признаков диалектной дифференциации по отдельным руническим надписям

№ текста	Регион	Диалект	Релевантные признаки					
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Тува	Б	б			б		
2	Тува	Б	б				(б)	
3	Тува	Б	б					б
4	Тува	?						
5	Тува	?						
6	Тува	Б	б				(б)	
7	Тува	Б		б				
8	Тува	Б	б					
9	Тува	Б	б					
10	Тува	А	а					
11	Тува	Б	б	б			(б)	
12	Тува	?						
13	Тува	Б	б					
14	Тува	Б				б		
15	Тува	Б	б	б				
16	Тува	Б	б					
17	Тува	?						
18	Тува	Б (?)					(б)	
19	Тува	Б	б					
20	Тува	Б	б					
21	Тува	?						
22	Тува	?						
23	Тува	?						
24	Тува	Б	б			б		
25	Хакасия	?						
26	Хакасия	?						
27	Хакасия	Б (?)					(б)	
28	Хакасия	А	а		а			
29	Хакасия	А	а	а		а		
30	Хакасия	А			а	а		
31	Хакасия	?						
32	Хакасия	А	а					
33	Хакасия	?						
34	Хакасия	?						
35	Хакасия	?						
36	Хакасия	А		а				
37	Хакасия	Б	б					
38	Хакасия	?						

Окончание

№ текста	Регион	Диалект	Релевантные признаки					
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
39	Хакасия	?						
40	Хакасия	?						
41	Тува	Б	б					
42	Тува	А		а			(б)	
43	Тува	?						
44	Тува	Б	б					
45	Тува	Б		б				б
46	Тува	А		а			(б)	
47	Монголия	А	а	а				
48	Хакасия	А	а					
49	Тува	Б	б					
50	Тува	Б	б					
51	Тува	Б	б				(б)	
52	Тува	Б	б					
53	Тува	?						
54	Тува	?						
55	Тува	Б						б
59	Тува	?						
61	Тува	Б	б				(б)	
65	Тува	?						
66	Тува	Б (?)					(б)	
68	Тува	Б		б				
70	Тува	?						
92	Тува	Б	б					
96	Тува	?						
98	Хакасия	?						
100	Тува	Б	б				(б)	
109	Тува	Б (?)					(б)	
110	Тува	?						
120	Хакасия	?						
147	Тува	А	а	а				
149	Тува	А	а	а				
152	Тува	А		а				

Итак, видим, что, несмотря на краткий в большинстве случаев объем енисейских надписей, релевантные для определения их диалектной принадлежности признаки во многих случаях подкрепляют друг друга. В общей сложности удастся определить диалектную принадлежность 45 надписей из обследованных 71, что составляет около 63%, или практически две трети текстов.

При этом в Хакасии почти все надписи оказываются принадлежащими к диалекту А. Здесь черты диалекта Б надежно обнаруживает лишь одна надпись № 37; кроме того,

употребление слова *ıbcı* может быть основанием для отнесения также надписи № 27 к тому же диалекту, но поскольку этот признак не имеет решающей силы, то возможность принадлежности данного текста к доминирующему на хакасской территории диалекту А представляется все же более вероятной.

Однако на территории Тувы обнаруживается совершенно иное соотношение. При значительном преобладании памятников диалекта Б (25 случаев, не учитывая сомнительные) шесть надписей все же надежно идентифицируются как принадлежащие к диалекту А. Интересно, что все такие памятники находятся в длинной полосе, протянувшейся с запада на восток по середине тувинской территории, но они не встречаются ни в крайних северных, ни в крайних южных районах.

Картина столь красноречива, что практически не оставляет сомнений: на диалекте А говорило древнее население Хакасии (Минусинской котловины) – енисейские кыргызы, а диалект Б принадлежит местным племенам Тувы – чикам (и, возможно, азам)². Распространение памятников диалекта А на тувинской территории является результатом ее подчинения (и последующего длительного удержания) енисейскими кыргызами после разгрома ими ранее владевшего этим регионом уйгурского каганата в 840 г. н.э., причем кыргызы оставили свои надписи лишь в стратегически важной центральной части Тувы, а «медвежьи углы» на севере и юге Тувы их, видимо, мало интересовали, чем и объясняется отсутствие там принадлежащих к их диалекту памятников. Один или два памятника диалекта А на территории Хакасии, скорее всего, оставлены случайными переселенцами из Тувы в поздний период, когда оба этих ареала были политически объединены под кыргызской властью.

Итак, мы имеем убедительные основания считать диалект А древнекыргызским, а диалект Б – чикским³. Заметим, что единственный включенный в таблицу (под № 47) памятник, происходящий из Монголии, – известный «Суджинский камень», где коммеморант назван «сыном кыргыза», на основании чего С.Е. Малов и включает его (в отличие от позднейших исследователей) в корпус енисейских надписей [Малов 1952: 84–93], – по языковым особенностям действительно обнаруживает вполне определенные признаки диалекта А, т.е. древнекыргызского.

В заключение отметим, что, помимо учтенных в проведенном нами исследовании, в енисейских памятниках имеются также некоторые другие варьирующиеся признаки, которые, однако, не обнаруживают видимой корреляции ни с выделяемыми двумя диалектами, ни друг с другом. Таковы, например, отображение особой графемой закрытого гласного *e* в некоторых словах; наличие или отсутствие наращения *-n* после possessивного суффикса 3-го л. *-(s)ı/- (s)i* перед послелогоми; можно вспомнить и уже

² Заметим, что результаты, полученные И.В. Кормушиным в отношении этнической принадлежности надписей на основании анализа содержащихся на некоторых памятниках тамг [Кормушин 1997а: 14–17], не находятся в однозначной корреляции с лингвистически определяемой диалектной принадлежностью текстов. Так, из обладающих одним и тем же типом тамги и расположенных рядом памятников № 61 и № 152 первый принадлежит к диалекту Б, а второй к диалекту А; встречаются и другие аналогичные распределения. В таких случаях можно предполагать историческую смену отдельными обладающими специфической тамгой кланами языковой (а следовательно, и этнической) принадлежности. Вероятно, для определения этнической принадлежности лингвистические данные должны все же считаться более значимыми.

³ Лингвистические данные не дают ни малейших оснований к выделению на территории Тувы двух аборигенных диалектов (один из которых мог бы принадлежать чикам, а другой – азам). Если верна локализация в Туве обоих этих этносов (ср. [История Сибири 1968: 274; Кормушин 1997а: 11]), то следует предположить, что или они, постоянно общаясь друг с другом, говорили на одном и том же диалекте, или же все надписи диалекта Б оставлены только одним из этих народов, по всей вероятности – чиками, как более мощным этносом. С другой стороны, в то время как местонахождение в Туве чиков вполне надежно, в случае с азами возможны и другие решения; в частности, согласно карте в [История Сибири 1968: 268], азы жили на территории Горного Алтая, а не в Туве. Исходя из этих соображений, определение диалекта Б как чикского представляется нам более предпочтительным, чем именование его «чикско-азским».

упоминавшееся варьирование показателей дательного падежа *-qa* ~ *-a* в диалекте А (древнекыргызском) и *-qa* ~ *-ʒa* в диалекте Б (чикском). Весьма вероятно, что здесь мы имеем дело с хронологическими вариантами; этот вопрос, однако, требует отдельного специального изучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Баскаков 1962 – *Н.А. Баскаков*. Введение в изучение тюркских языков. М., 1962.
Батманов 1964 – *И.А. Батманов*. Следы говоров в языке памятников орхоно-енисейской письменности // Проблемы тюркологии и истории востоковедения. Казань, 1964.
История Сибири 1968 – История Сибири. Т. I. Древняя Сибирь. Л., 1968.
Кормушин 1990 – *И.В. Кормушин*. Орхоно-енисейских надписей язык // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
Кормушин 1997а – *И.В. Кормушин*. Тюркские енисейские эпитафии. Тексты и исследования. М., 1997.
Кормушин 1997б – *И.В. Кормушин*. Орхоно-енисейских надписей язык // Языки мира: Тюркские языки. М., 1997.
Малов 1952 – *С.Е. Малов*. Енисейская письменность тюрков. Тексты и переводы. М.; Л., 1952.
Тенишев 1990 – *Э.Р. Тенишев*. Древнетюркские языки // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
Erdal 1998 – *M. Erdal*. Old Turkic // The Turkic languages. London; New York, 1998.
Gabain 2003 – *A. Von Gabain*. Eski Türkçenin grameri. Ankara, 2003.
Poppe 1965 – *N. Poppe*. Introduction to Altaic linguistics. Wiesbaden, 1965.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

N. Evans. Bininj Gun-wok: A pan-dialectal grammar of Mayali, Jinwinjku and Kune. V. 1–2. Canberra: Pacific Linguistics, 2003. xxx + 746 p.

Вопрос о том, каким образом должно быть устроено грамматическое описание языка и насколько оно должно следовать «типичным» лингвистическим представлениям, стал в последние десятилетия крайне актуален – в первую очередь, благодаря бурному развитию типологии и активным исследованиям малых и «экзотических» языков. Рассматриваемая ниже грамматика представляет в этой связи особый интерес. Во-первых, объектом описания здесь является цепь диалектов, различающихся по ряду весьма существенных характеристик – например, по количеству именных классов и по показателям отрицания (последние парадоксальным образом иногда даже используются для наименования диалектов). Во-вторых, сами эти диалекты обладают достаточно специфическими типологическими характеристиками, обусловленными их полисинтетизмом и неконфигурационностью и ставящими под вопрос некоторые общепринятые представления о том, как должно быть устроено описание языка.

Название «бининь гун-уок» (*Bininj Gun-wok*; далее гун-уок) применяется к одной из распространенных на севере Австралии диалектных цепей. В некоторых более ранних работах та же диалектная цепь именовалась майяли (*Mayali*).

Семья гунуиньгу, к которой относится гун-уок, не была обделена вниманием лингвистов. В типологической среде широко известно, например, добротное описание родственного гун-уок языка нунггубуйю [Heath 1984]. Из диалектов гун-уок, однако, лишь один (кунуиньку) получил достаточное освещение, в то время как остальные пять по сути впервые удостоиваются подробного грамматического описания. Автор грамматики Н. Эванс, один из виднейших современных типологов и известный специалист по австралийским языкам (среди его ра-

бот подробная грамматика языка каярдилд [Evans 1995]), занимался изучением гун-уок со второй половины 1980-х гг. В дальнейшем им были собраны тексты на различных диалектах и проведено детальное исследование ряда аспектов грамматики, нашедшее отражение в большом числе статей. Четырнадцать глав рассматриваемого описания, таким образом, суммируют результаты этой работы.

Существенной проблемой для представления материала гун-уок является кардинально иное распределение информации в высказывании по сравнению с тем, что наблюдается в абсолютном большинстве европейских языков. А ведь именно на основе последних и выработывалась схема, легшая в основу большинства грамматических описаний. Как уже было сказано, гун-уок является полисинтетическим и соответственно, он задействует морфологию в гораздо большей степени, нежели европейские языки. Так, например, гун-уок обладает большим количеством префиксов, описывающих обозначаемую предикатом ситуацию с точки зрения ее темпорально-аспектуальных отношений с другими ситуациями (имеются в виду показатели типа 'затем', 'еще не'), пространственно-временных характеристик (вроде 'лежа на спине', 'на солнце', 'утром'), количества ее участников. Кроме них, в рассматриваемом языке имеется два показателя аппликативной деривации (бенефактивный и комитативный), добавляющей новых участников в семантическую структуру предиката. Наконец, здесь обнаруживается и продуктивная инкорпорация глагольных и именных корней. Все это – вместе с показателями, индексирующими лицо (а в некоторых случаях и число) субъекта и одного из объектов, – позволяет передать в рамках одного слова смыслы, которые в других языках вроде латинского, английского или русского требуют специальных синтаксических кон-

струкций, а порою и целых предложений. В свете этого вовсе не удивительно, что значительная часть информации, которую многие читатели, возможно, ожидали бы увидеть в разделах, посвященных синтаксису, в обсуждаемой грамматике помещена в главы, рассматривающие морфологию глагола (именно здесь даются, например, определения подлежащего и «дополнений», естественно увязываемые с их выражением в сказуемом, обсуждаются некоторые средства, выражающие квантификацию участников ситуации, и т.д.).

Естественно, несмотря на всё богатство инвентаря, морфология гун-уок не способна заменить синтаксис целиком. Тем не менее, как показывает Н. Эванс, последнему в обсуждаемом языке чаще отводится лишь вспомогательная роль – особенно в том, что касается выражения аргументных отношений. Кроме того, в гун-уок интерпретация одной составляющей нередко требует привлечения морфологии другой. В этом отношении показательно то, как Эванс описывает именную группу: в целом ряде случаев, если речь идет о выражении некоторого параметра, релевантного для референта именной группы (например, числа), описывается также выражение этого параметра в глаголе. Как кажется, такое представление отражает одну из важнейших особенностей полисинтетических языков, а именно то, что в таком языке интерпретация высказывания не строится «по кирпичикам», от простого к сложному, в соответствии с классическим принципом композициональности, но требует привлечения материала грамматически (или по крайней мере коммуникативно) зависимых компонентов по мере необходимости. Надо полагать, что как раз это и объясняет, почему полисинтетизм в общем имплицитно маркирует вершинное маркирование (в терминологии [Nichols 1986]), хотя вообще говоря, зависимое маркирование также может быть крайне сложным и отражать вышестоящие иерархические соотношения в высказываниях (именно такая ситуация наблюдается в описанном ранее Н. Эвансом языке каярдилд).

В связи со сказанным выше возникает два принципиальных вопроса. Во-первых, если морфология в языке берет на себя часть функций синтаксиса, не значит ли это, что она должна и функционировать подобно синтаксису? Во-вторых, насколько «хаотичен» может быть синтаксис, если синтаксические отношения не выполняют принципиальной роли композиционального связывания разных членов высказывания? Следует заметить, что этой проблематике посвящено множество работ как функционалистского направления (см., например [Van Valin 1985] и в особенности сборник статей [Evans,

Sasse (eds.) 2002]), так и генеративного (см. прежде всего [Baker 1995]).

Обсуждаемая грамматика является в первую очередь описательной и эксплицитно эти вопросы не обсуждает (хотя такие статьи ее автора, как [Evans 1999], явно отражают его равнодушие к данной тематике). В то же время, как раз эта дескриптивная направленность позволяет взглянуть на соответствующие проблемы вне рамок конкретных теоретических установок.

Ответ на вопрос о сходстве функционирования полисинтетической морфологии и синтаксиса в гун-уок не вытекает на основании данной грамматики с легкостью. Дело в том, что, хотя монография Н. Эванса и содержит массу информации о формальных особенностях строения словоформ, основное описание глагольной морфологии (а именно глагол является средоточием полисинтетического устройства гун-уок) строится на основе значений морфем. В результате в один разряд порою попадают аффиксы, различающиеся как по степени продуктивности, так и по позиции внутри словоформы. Между тем, как раз продуктивность и позиция (или вернее, взаимоотношение разных позиций, а также их варьирование), можно думать, являются важнейшими свидетельствами «синтаксичности» морфем в полисинтетическом языке.

И тем не менее, автором – пусть и в разных разделах – предоставляются основные данные касательно обсуждаемого вопроса. Следующие черты свидетельствуют, на первый взгляд, в пользу того, что основные аффиксы в гун-уок функционируют так же, как и их аналоги в языках «среднеевропейского стандарта»:

(i) Признаки флективности, противоречащие идее о «сложении» морфем в ходе процесса, аналогичного синтаксическому. Многие аффиксы имеют ряд вариантов, выбор которых, судя по всему, не столько мотивирован морфонологически, сколько зависит от конкретного корня (например, принадлежности его к тому или иному «спряжению»). Кроме того, в гун-уок наблюдается и кумулятивное выражение одним аффиксом нескольких значений: например, отдельные личные показатели одновременно маркируют время.

(ii) Формальные ограничения на выражение. Почти все классы морфологических компонентов, выделенные Эвансом в гун-уок, появляются в словоформе единожды – даже если с точки зрения семантики они могут быть представлены и большее количество раз. Так, индексация аргументов глагола в данном языке ограничена двумя позициями (субъекта и одного из объектов), хотя семантика основы может требовать большего числа аргументов

(например, когда основа включает бенефактивный или комитативный префиксы, вводящие новых участников).

(iii) Наличие невыраженных (нулевых) морфем, обладающих конкретным значением и «парадигматически» противопоставленных фонологически выраженным аффиксам. В неполисинтетических языках невыраженные синтаксические единицы (в тех случаях, когда есть смысл их постулировать) обычно имеют переменное значение, обусловленное соответствующей конструкцией (например, в русск. предложении *Иду* невыраженное подлежащее однозначно идентифицируется за счет формы глагола).

Казалось бы, все эти характеристики указывают на то, что морфология гун-уок вполне соответствует типичным представлениям о роли морфологических элементов. И тем не менее, картина, которую рисует Эванс, не так проста. В частности, оказывается, что использование многих аффиксов не определяется частью речи. Рассмотрим этот вопрос чуть подробнее.

В целом, как аргументируется в грамматике, класс имен (включающий существительные и прилагательные) и класс глаголов в гун-уок противоположены достаточно четко. Основным критерием, используемым для противопоставления знаменательных частей речи, для Н. Эванса является сочетаемость с классами аффиксов. Так, только имена сочетаются с префиксами рода/именного класса (эти две категории, выражаемые одними показателями, но по разным правилам, противопоставляются автором на основе того, способно ли одно и то же имя принимать разные префиксы данного типа; род, соответственно, понимается как словоизменяемая согласовательная категория, свойственная прилагательным). Точно так же, преимущественно имена факультативно присоединяют так называемые «ролевые суффиксы» (аблатив, инструменталис, генитив, локатив и др.), хотя известная австралийская конструкция, в которой глаголы могут маркироваться падежными показателями (см. [Dench, Evans 1988]), маргинально все же представлена в некоторых диалектах гун-уок.

Сложнее в этом языке обстоит дело с так называемой «глагольной морфологией». Дело в том, что ряд аффиксов, прототипически присоединяющихся к глаголу, здесь порой обнаруживается и при именах (как при существительных, так и при прилагательных) – при условии соблюдения семантической сочетаемости. Последнее, заметим, на практике означает выделение отдельного подкласса имен, присоединяющего основную «глагольную морфологию» – прежде всего, личные префиксы и показатели

времени/аспекта/наклонения. К этому подклассу относятся наиболее семантически близкие к глагольному прототипу имена – прилагательные и обозначения периодов жизни (вроде ‘ребенок’).

Подобная дистрибуция «глагольной морфологии» – причем не только личных и темпоральных маркеров, но и бенефактивного префикса и даже некоторых «адвербиальных» показателей – вынуждает Н. Эванса заявить, что в данном случае правильнее говорить о морфологии сказуемого (с. 353). Это само по себе, очевидно, противоречит общим представлениям о функционировании морфологии, разработанным для неполисинтетических языков, – когда аффиксы понимаются либо как часть лексем, либо как часть словоформы, определяемой парадигматически для некоторого лексического класса, но не как нечто, присущее синтаксической категории. Таким образом, формальная «неразборчивость» части аффиксов наводит на мысль о том, что сложные полисинтетические словоформы в гун-уок все же не выбираются из парадигм, но строятся в процессе речи. Более того, несмотря на то, что Н. Эванс по возможности строит свое описание на основе концепта парадигмы, в условиях семантически-обусловленной сочетаемости аффиксов это понятие дает сбой. Так, например, из «парадигмы» темпорально-модально-аспектуальных показателей только имперфектив прошедшего времени и ирреалис могут получать ненулевое маркирование на именах, в то время как остальные граммемы данного ряда – императив, непрошедшее время и перфектив прошедшего времени – не допускают формального выражения на неглагольных сказуемых (правда, теоретически допустимо, что некоторые из них получают нулевое выражение).

Аналогичные наблюдения можно сделать и в отношении инкорпорации и образования так называемых «сложных имен» (nominal compounds), детально описанных в грамматике. В гун-уок оба эти морфологических процесса чрезвычайно продуктивны и обнаруживают очевидные сходства. Наиболее заметной из параллелей является то, что как синтаксическая инкорпорация, так и образование сложных имен по большей части используют одни и те же корни – закрытый класс «классификационных» корней с относительно широким значением и обозначения частей тела. Естественно предположить (хотя Н. Эванс это и не эксплицирует), что на самом деле эти корни обладают определенными квази-синтаксическими сочетаемостными свойствами, позволяющими им входить в состав сложных словоформ.

Существуют и другие свидетельства в пользу того, что морфология гун-уок обладает большей функциональной автономностью. Например, в гун-уок имеется ряд синтаксически близких к именам идиоматических выражений, исходно представлявших собой глагольные словоформы, вроде *bene-danginj* 'два брата / две сестры' (букв. 'двое стояли'). Будь это просто «застывшие словоформы», можно было бы ожидать, что их форма останется неизменной. И все же личные префиксы в таких выражениях остаются семантически значимыми, так что такого рода слова продолжают изменяться по лицу и числу; ср., например, *ngarri-danginj* 'мы братья / сестры' (букв. 'мы стояли'). Как кажется, такая морфологическая вариативность должна обнаруживаться скорее во фразеологизованных сложных составляющих, что вновь указывает на большую автономность морфологии: как отмечает Н. Эванс, здесь «часть цепочки [морфем] конвенционализирована, но [другая] часть остается прозрачной (open)» (с. 123).

Наконец, косвенное свидетельство функциональной автономности аффиксов в гун-уок состоит в том, что особо сложные глагольные словоформы могут прерываться паузами, отделяющими префиксальную часть от остальной части комплекса; ср., например, *gaban-marne...girribun* 'он испечет это для них в земляной печи', где последовательность личных префиксов и бенефактивного показателя оказывается оторванной от сложной основы и показателя (непрошедшего) времени (с. 329).

Таким образом, следует признать, что, несмотря на приведенные выше факты, сближающие морфологию гун-уок с тем, что известно нам из флективных языков, она, тем не менее, функционирует иначе. И это, можно думать, объясняется тем, что ей приходится выполнять некоторые функции, в других языках отводимые синтаксису. Заметим, что существуют полисинтетические языки (например, атабаскские [Rice 2001] и абхазо-адыгские [Тестелец 2004]), в которых многие из рассмотренных особенностей полисинтетизма проявляются еще более явно, так что строй гун-уок может дать пищу и для исследований по типологии полисинтетических языков.

Но если морфология берет на себя так много, что же остается синтаксису? В отличие от многих других грамматик австралийских языков, рассматриваемая монография обсуждает синтаксис довольно подробно. При этом, как и при описании других фрагментов грамматического строя гун-уок, Н. Эванс ни в коем случае не навязывает априорную интерпретацию представляемым им фактам, но, конечно, пытается их как-то осмыслить. Хотя в этом языке

роль синтаксиса в выражении аргументной структуры сведена к минимуму, а порядок слов более или менее свободен, автор все же обнаруживает ряд закономерностей в синтаксическом построении высказывания. Часть из них, по-видимому, связана с коммуникативным построением предложения. Кроме того, вопреки частому представлению о языках такого типа, как практически не имеющих синтаксических ограничений, в гун-уок обнаруживаются и достаточно жесткие правила расположения компонентов высказывания – в том числе и правила, обуславливающие непосредственное примыкание составляющих. Примечательно, однако, что в большинстве случаев (хотя и не всегда) такие закономерности касаются компонентов, не описывающих аргументы и/или не имеющих соответствующего или связанного выражения в сказуемом. По-видимому, грамматикализация синтаксических явлений в полисинтетическом языке происходит в первую очередь в тех случаях, когда морфологии оказывается уже недостаточно.

Но особо интересный аспект, затронутый в работе Н. Эванса, составляют как раз конструкции, в которых подобной грамматикализации, на первый взгляд, не видно вовсе. В гун-уок за немногочисленными, но важными исключениями отсутствуют формальные средства подчинения клауз. И тем не менее, как наглядно демонстрирует Н. Эванс, аналоги подчинения можно усмотреть в ряде конструкций, формально такие средства и не включающих. Так, например, многие частицы, в принципе встречающиеся и в независимых предложениях, иногда играют роль союзов. Кроме того, существенную роль приобретают темпоральные значения, выраженные в предикациях, поскольку в гун-уок встречаются грамматикализованные последовательности предикаций, в которых связь между ними определяется на основе того, какие темпорально-аспектуально-модальные суффиксы эти клаузы содержат.

Все это показывает, что язык гун-уок представляет несомненный интерес для типологии. Но, что более важно, и сама грамматика Н. Эванса представляет значительный интерес для типолога – в силу своей детальности и стремления к адекватности. Надо сказать, что рассмотренные выше аспекты гун-уок – это лишь малая толика того, что представлено в монографии. А ведь помимо морфологии и синтаксиса здесь дана еще масса сведений диалектологического и сравнительного характера и даже информация о таких специфических, но типологически важных для лингвистики и этнографии вопросах, как, скажем, система терминов родства или употребление разных регистров в гун-уок. Поэтому хочется думать,

что благодаря грамматике Н. Эванса бинивь гун-уок станет для многих исследователей гораздо ближе, чем он располагается географически*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Тестелец 2004 – Я.Г. Тестелец. О трех моделях морфологической структуры // Первая Конференция по типологии и грамматике для молодых исследователей. СПб., 2004.
Baker 1995 – M. Baker. The polysynthesis parameter. Oxford, 1995.
Dench, Evans 1988 – A. Dench, N. Evans. Multiple case marking in Australian languages // Australian journal of linguistics. V. 8 (1). 1988.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 06-04-00194а «Синтаксис полисинтетического языка»).

Evans 1995 – N. Evans. A grammar of Kayardild. With historical-comparative notes on Tangkic. Berlin, 1995.
Evans 1999 – N. Evans. Why pronominal prefixes are not pronouns: evidence from Mayali // Sprachtypologie und Universalienforschung. Bd. 52 (3/4). 1999.
Evans, Sasse (eds.) 2002 – N. Evans, H.-J. Sasse (eds.). Problems of polysynthesis. Berlin, 2002.
Heath 1984 – J. Heath. Functional grammar of Nunggubuyu. Canberra, 1984.
Nichols 1986 – J. Nichols. Head-marking and dependent-marking grammar // Language. V. 62 (1). 1986.
Rice 2001 – K. Rice. Morpheme order and semantic scope. Word formation in the Athapaskan verb. Cambridge, 2001.
Van Valin 1985 – R. Van Valin. Case marking and the structure of the Lakhota clause // J. Nichols, A. Woodbury (eds.). Grammar inside and outside the clause. Cambridge, 1985.

Ю.А. Ландер

B. Hansen, P. Karlik (eds.). Modality in Slavonic languages. New Perspectives. München: Verlag Otto Sagner. 388 s.

Созданная по материалам международной конференции «Модальность в славянских языках. Новые перспективы» (Регенсбург, Германия, ноябрь 2004 года), книга представляет собой жанр промежуточный между сборником статей и докладами конференции. В сборнике представлено весьма пестрое собрание текстов: 24 статьи по-русски, по-английски и по-немецки сильно разнятся по уровню содержания и подачи материала. В то же время, учитывая, что модальность, и тем более модальность в славянских языках, – не самый частый сюжет современной лингвистики, сборник заполняет существенную лауну. В книге затрагивается широкий круг проблем, связанных с модальностью: семантика разнообразных модальных единиц (во многих англоязычных статьях используется удобный термин «modals»), их ареальное распределение, историческое развитие, связь с культурными концептами.

До определенного времени модальность изучалась преимущественно на материале английского языка, с привлечением данных некоторых других европейских языков. Между тем, как справедливо отмечает Ф. де Хаан в статье «Модальность в славянских языках и семантические карты», английская модальная система во многом является уникальной и едва

ли может быть отправной точкой для описания других языков. Модальность в английском языке и, шире, в германских языках вообще, является, с точки зрения де Хаана и других исследователей (например, Б. Ханзена), грамматикализованной в значительно большей степени, чем это свойственно не только славянским языкам, но и, по мнению де Хаана, любым другим языковым семьям. Последнее утверждение, конечно, является слишком сильным: имеется немало языков, где по крайней мере часть модальных значений, которые в английском передаются с помощью глаголов, выражена аффиксально – а это свидетельствует о более высокой степени грамматикализации модальности (см., например, об этом [van der Auwera, Amman 2005]). Ф. де Хаан рассматривает четыре модальных поля (*domains*) в славянских языках: желание, деонтическую модальность, эпистемическую модальность и эвиденциальность (другие остались вне поля зрения автора). В статье предлагаются семантические карты для старославянского глагола *хотѣти* (у него выделены значения немедленного действия (то есть такого, которое будет совершено в ближайшем будущем), немедленного действия в прошлом, фаталистического (неизбежного) будущего и собственно желания). У сербско-

хорватского глагола *hteti*, помимо желательного, выделяются значения немедленного действия, будущего и вероятности. Сходная работа проделана для некоторых других модальных единиц славянских языков. Статью несколько обедняет тот факт, что рассматриваемые значения модальных слов не выделены на основе собственного анализа контекстов их употребления, а заимствованы из работы Ханзена 2001 года (цит. по рецензируемому изданию)¹.

Э. Фортейн в статье «От необходимости к возможности: спектр модальных значений дативно-инфинитивной конструкции в русском языке» неоднократно подчеркивает свою уверенность в отсутствии универсальной категории модальности. С его точки зрения, модальное значение дативно-инфинитивных конструкций является неопределенным и представляет собой сумму значений элементов конструкций (датива и инфинитива) и контекста. Прежде чем перейти к рассмотрению основных типов модальных значений этих конструкций ((не)возможность и пермиссив), автор подчеркивает, что собственно дативно-инфинитивные конструкции имеют весьма абстрактное значение, которое конкретизируется в определенных условиях.

Анализируя типы употребления дативно-инфинитивных конструкций, Фортейн утверждает, что «онтическое» значение у них преобладает над деонтическим, объясняя термин «онтический» как свойство такой ситуации, реализация которого зависит от внешней силы («фатум», «естественный ход развития ситуации»). Заметим, что в начале статьи автор оговаривает, что пользуется традиционными терминами для описания модальности (а не теми, которые предложены в статье Й. ван дер Ауверы и В. Плуногяна), поскольку традиционная терминология вполне удовлетворяет целям его работы. Между тем введение понятия «онтический» по сути дублирует понятие внешней необходимости, предложенное Ауверой и Плуногяном [van der Auwera, Plungian 1992].

Фортейн обращает наше внимание на то, что значение возможности у дативно-инфинитивных конструкций реализуется преимущественно с отрицанием: ср. *Ему здесь не пройти* и **Ему здесь пройти*. Автор считает, что между возможностью и отрицанием есть универсальная связь, и предлагает семантическую мотивировку этого факта.

Статья П. Цаги и П. Карлика «Откуда берется модальность?» любопытна выбором темы: авторы рассматривают чешские прилага-

тельные на *-teln(y)*, имеющие модальное значение: *viditelný* 'видимый' – такой, который можно увидеть. Авторы отмечают, что эти прилагательные образуются только от переходных глаголов, причем не от всех: не имеют прилагательных на *-teln(y)* глаголы эмоционального отношения и некоторые другие. Ответа на вопрос, поставленный в заглавии, авторы, по их собственному признанию, не находят, но предлагают считать суффикс состоящим из двух независимых морфем *-tel-* и *-n-*, поскольку дистрибуция каждой из морфем по отдельности соответствует правилам дистрибуции рассматриваемых прилагательных.

Две статьи сборника посвящены эвиденциальности и ее связям с эпистемической модальностью.

В.С. Храковский в статье «Эвиденциальность и эпистемическая модальность», посвященной типологической проблеме, обсуждает преимущественно инференциальное значение косвенной эвиденциальности ('говорящий делает вывод о существовании в прошлом некоторых событий, опираясь на наблюдаемые факты'). В.С. Храковский оспаривает точку зрения В.А. Плуногяна (Плуногян 2000), утверждающего, что это эвиденциальное значение сходно с эпистемическим: по мнению В.А. Плуногяна, употребляя показатель инференциальной модальности, говорящий оценивает событие как недостоверное. Ссылаясь на статью Т. Майсака и С. Мердановой (2002) об эвиденциальности в агульском языке и статью С.Г. Татевосова (2005) об эвиденциальности в багвалинском языке, В.С. Храковский высказывает мнение о том, что говорящий оценивает имеющуюся у него информацию как неполную, но субъективно абсолютно достоверную. Автор сближает инферентивы с такими русскими модальными словами, как *определенно* или *я вижу*, а не такими, как *возможно*, *видимо*, *похоже*.

Иной точки зрения придерживается Б. Вимер («Концептуальное родство и диахронические отношения между эпистемической, инференциальной и цитативной функциями (предварительные наблюдения над лексическими маркерами в русском, польском и литовском)»), исследовавший связи инференциальной и эпистемической модальностей на европейском материале. Автор подчеркивает связь между эпистемическими и эвиденциальными значениями. Он вступает в дискуссию с А. Айхенвальд, которая предлагает использовать термин «эвиденциальность» только для тех языковых средств, которые сообщают об источнике информации, и четко отличать их от средств, указывающих на эпистемический статус ситуации. В многочисленных языках, исследованных А. Айхенвальд, эти значения

¹ Здесь и далее ссылки на литературу, цитируемую авторами статей, не включаются нами в библиографию.

морфологически различены. Между тем исследование таких слов, как *видимо, кажется, дескать, должно быть, как бы, пожалуй*, в трех балто-славянских языках показывает, что во всех этих языках инферентивное и даже цитативное значение часто кластеризуется с эпистемической оценкой. С другой стороны, инферентивность и цитативность образует кластеры нечасто, причем в тех случаях, когда это происходит, связующим звеном оказывается именно эпистемическая оценка. Большая часть цитативных показателей, проанализированных автором, возникает из показателей сравнения (ср. русск. *якобы*), причем цитативность развивается через эпистемический этап. Эпистемический домен оказывается, таким образом, своего рода переходной зоной для развития цитативных функций у лексем, которые этимологически связаны со сравнением. В конце статьи автор приводит таблицу со списком лексем, которые каким-то образом связаны с цитативностью, указывая их происхождение. Делаются некоторые выводы: количество лексических эпистемических маркеров гораздо больше, чем цитативных; только немногие эпистемические маркеры развиваются в цитативные.

А. Хольвут в статье «Эвиденциальность, модальность и интерпретационное употребление (*interpretative Verwendung*)» анализирует употребление разных модальных форм с точки зрения идеи об интерпретационном употреблении, высказанной Шпербером и Вильсоном в работе 1986 года. По мнению этих исследователей, будучи употреблены интерпретационно, языковые единицы отсылают не к объективной действительности, а к другому высказыванию или мысли: таким свойством, например, обладает косвенная речь. Частным видом интерпретационных употреблений являются так называемые эхо-употребления (*echoic uses*). Автор статьи делает интересное предложение рассматривать как интерпретационное (или, мы бы сказали, цитативное) употребление такие нетривиальные контексты императива, как императив долженствования в русском языке (*Все отдыхают, а я работай*), императив в вопросах, имеющийся во многих языках мира (букв. *Я приди?* – ‘Следует ли мне приходить?’, ‘Стоит ли мне приходить?’). Таким же образом автор объясняет различные употребления императива не первого лица с частицей *laj* в латышском языке и некоторые другие языковые явления. Заметим, что цитативная интерпретация императива в определенных контекстах хорошо объясняет употребления диалогических наклонений в некоторых типах полипредикативных конструкций.

В статье В.А. Плунояна «Ирреальность и модальность в русском языке и в типологической перспективе» русские модальные категории (наклонение с частицей *бы*, инфинитив и императив) рассматриваются на типологическом фоне. Автор обращается к понятию ирреалиса, грамматикализованному во многих языках Тихого океана, в языках американских индейцев и Африки. В. Плуноян приводит список типичных для маркирования ирреальным показателем категорий и выделяет три семантических компонента, которые релевантны для ирреалиса: 1) ‘иметь место’ (произошло достаточно недавно по отношению к моменту речи), 2) ‘быть уверенным’, 3) быть референтным, т.е. представлять собой ясно различимую ситуацию с определенными или референтными аргументами и точной локализацией во времени (желательно единичной и законченной). Ирреальное маркирование категории высоковероятно в том случае, когда все три компонента совмещаются. Автор указывает на то, что с типологической точки зрения не все компоненты ирреального домена принадлежат к модальности. Большая часть модальных значений могут считаться ирреальными, но обратное неверно.

В русском языке нет грамматического маркирования статуса реальности, однако организация некоторых семантических доменов паразитально похожа на то, что представлено в языках с реалисом/ирреалисом. Из трех представителей ирреального домена императив является самым реальным, а условное наклонение – самым ирреальным.

Т. Парменова в статье «О взаимодействии разных видов модальности в русском предложении» обещает рассмотреть связь двух сфер модальности: собственно предикативной, присущей любому высказыванию и выражающей оценку говорящим ситуации с точки зрения ее реальности/ирреальности, и потенциальной модальности – факультативной категории, характеризующей мысленное представление говорящим внутренних или внешних мотивов осуществления ситуации (возможность, желательность, необходимость). Вызывает сомнения утверждение, что реальность/ирреальность как гиперкатегория не существует в чистом виде, без совмещения с другими видами модальной или иной семантики. Потенциальность автор предлагает считать переходной зоной между реальностью и ирреальностью. Свои теоретические рассуждения автор, к сожалению, развивает вне связи с наблюдениями над фактами языка, что затрудняет их верификацию.

Статья Б. Мюллер «Болгарская форма будущего в прошедшем» посвящена статусу и се-

мантике болгарских аналитических глагольных форм, которые образуются с помощью имперфекта вспомогательного глагола *има*. Автор излагает непростую судьбу этих форм, оказавшихся заложниками научного конфликта. В грамматике болгарского языка 1947 года (сразу после образования народной республики) было сказано, что, хотя эта форма часто употребляется в условных конструкциях и на этом основании некоторые ложно интерпретируют ее как условное наклонение, она входит в парадигму индикативных форм. За этой фразой стоит полемика с автором предыдущей болгарской грамматики 1939 года, в которой форма была названа кондиционалом. С этих пор «идеологически верной» трактовкой этих форм оказалась индикативная. Между тем анализ контекстов, произведенный автором, показывает, что форма выражает исключительно модальные и, добавим, ирреальные значения: главная часть контраптивных придаточных, неосуществленная возможность, вежливая просьба и др.

Вопросительным конструкциям посвящены статьи М. Корытковской («Модальная категория интеррогативности») и Фр. Штиха («Общие вопросы в чешском: модальность без берегов?»). Последний пытается определить языковые элементы, присутствующие в общих вопросах чешского языка, которые несут ответственность за ту или иную модальную интерпретацию вопроса. Такими значащими элементами могут быть частицы, порядок слов или полярность сказуемого.

Й. ван дер Аувера, Э. Схаллей и Я. Нейтс исследуют способы выражения эпистемических значений на материале переводов первой книги о Гарри Поттере, сетуя на отсутствие параллельного корпуса славянских языков (статья «Эпистемическая возможность в славянском параллельном корпусе – пилотное исследование»). Известно, что в английском языке вспомогательные глаголы используются существенно чаще, чем в норвежском и шведском, и некоторые исследователи связывают этот факт со сравнительно более высокой степенью грамматикализации английских модальных глаголов. Поскольку в славянских языках модальные единицы грамматикализованы не в такой степени, как в английском, то можно предположить, что славянские языки реже используют модальные глаголы, чем английский. Иными словами, одной из задач исследования была проверка того, насколько грамматикализация коррелирует с частотностью.

Были проанализированы данные десяти славянских языков, причем для русского языка рассматривались два перевода. В оригинальном тексте были выбраны все употребления

may, might, could, maybe, perhaps, всего 87 предложений. Основное внимание уделялось тому, переведен ли английский глагол глаголом, а английское наречие – славянским наречием. Так, например, в словенском корпусе зафиксирован лишь один случай перевода английского модального глагола с помощью глагола же, из чего авторами сделан вывод о том, что словенские глаголы возможности еще не развились до эпистемической стадии.

Полученные данные интерпретируются с привлечением понятий грамматикализации, ареальности и полифункциональности. Так, например, английский глагол *might* может рассматриваться как более грамматикализованный, чем *could*, поскольку он полностью потерял свое лексическое значение, однако это глагол менее полифункциональный, чем *could*, и потому чаще переводится славянскими наречиями.

Ареальным исследованием является и работа Б. Ханзена «Как измерить ареальную конвергенцию: исследование обусловленной контактом грамматикализации в области контактов немецкого, венгерского и славянских языков». Основная задача – отследить, подверглись ли славянские модальные единицы влиянию немецких модальных глаголов. Автором разработаны 14 признаков, по которым сопоставляются модальные единицы. Полагая, что такие параметры вариативности представляют интерес сами по себе, даже безотносительно к проблеме, поставленной в статье, мы назовем их. Есть ли различие в выражении сильной и слабой необходимости (как нем. *müssen – sollen*); есть ли глагол, заимствованный из немецкого; есть ли специализированные средства для выражения отсутствия необходимости, как *nicht brauchen*; разрешения – *dürfen*; отрицания возможности – *нельзя*. Второй ряд вопросов касается постмодальных значений, таких как эвиденциальность (нем. *er soll sehr reich sein*, русск. *должно быть*), будущее время (из глагола желания в некоторых юж.-слав. языках), прохибитивность. Третий комплекс вопросов: есть ли в языке глагольные модальные единицы: хотя бы одна (этому условию не удовлетворяет только венгерский), больше половины или все (немецкий, верхне-лужицкий, сербскохорватский). И последняя группа вопросов выясняет распределение личных и неличных модальных единиц (ср. русск. *я должен, но мне следует*): хотя бы одна, больше половины или все. В результате оценки языков по предложенным параметрам наиболее высокий балл получил немецкий – 14, наиболее низкий – болгарский – 3 балла, русский и венгерский – 4 балла; наибольшим набором сходств с немецким обладают языки, находя-

щиеся в зоне контакта: верхнелужицкий (13 баллов), а также чешский, словацкий и польский. Картину ареального влияния нарушает лишь словенский, находившийся в зоне влияния немецкого языка в течение тысячи лет, однако не обнаруживший значительных сходств. Автор предлагает объяснение этому факту.

Статья Ю. Бестерс-Дилгер под названием «Модальность в языковом контакте: Украинская “Проста мова” (2-я пол. XVI века)» посвящена исследованию развития средств выражения возможности и необходимости. «Проста мова» обнаруживает признаки начавшегося влияния польского языка, являющиеся языковым отражением польского доминирования в экономической, социальной и культурной жизни Украины. Первой ласточкой наметившихся изменений в модальной системе является глагол (*и)мети*, который выражал необходимость. Автор указывает на то, что наблюдаемое в модальной системе «проста мова» значительное влияние польского языка противоречит известным принципам контактного влияния. Такая грамматическая лексика, как модальные вспомогательные глаголы, на шкале способности быть заимствованным находится в самом низу.

Р. Вечерка в статье «Еще раз о необходимости и возможности», исследованных на материале старославянского языка, утверждает, что возможность и необходимость в этом языке этимологически базируются на посессивных конструкциях (точнее – на конструкциях обладания). Изначально посессивные конструкции со значением возможности или необходимости могут сужать свое значение в тех или иных устойчивых словосочетаниях. Автор указывает также на некоторые контексты, где модальные средства служат для формирования оптативных конструкций.

Э. Палласова («Выражение возможности, необходимости и желания в старославянском») указывает на то, что такие языки, как старославянский, отличаются весьма ограниченным кругом контекстов, что делает невозможным полное функционально-прагматическое описание исследуемого объекта. Формирование системы модальных средств в старославянском языке можно считать начавшимся. Большая часть средств еще связана со своим немодальным лексическим источником: возможность – с понятиями силы, мощи; необходимость (добавим, внутренняя) – с понятиями беды, страдания, угнетенности; (внешняя) необходимость – с оценками ‘уместный’, ‘достойный’, ‘надлежащий’ или ‘вина’, ‘долг’. Полный переход к абстрактным модальным значениям еще не совершен, и полифункциональность, свойственная развитым модальным системам, еще

не развернулась. Наличие развитой системы нормативных установок поддерживает тезис К. Дёман о том, что нормативные и телеологические оттенки модальности начинают выражаться в языке еще задолго до неспециализированных и абстрактных модальных значений.

Статья А. Кожиновой «Лексические средства выражения модальности в западно- и восточнославянских переводах Библии» посвящена переводам библейского текста. Автор исходит из предположения, что если считать, что модальность выражает отношение сообщения к действительности с точки зрения говорящего, то переводы (то есть смена говорящего) должны значительно менять модальную структуру исходного текста. Сопоставлялись преимущественно разные переводы Библии XVI века, однако привлекались и более поздние тексты. Автор рассматривает разные случаи не вполне адекватного перевода модальных значений и приходит к выводу о том, что главным фактором, влияющим на способ перевода, является все-таки не личность переводчика, а языковая система, которая обладает определенными возможностями и определенными ограничениями в передаче исходного материала. Чтение статьи несколько затруднено тем, что многочисленные примеры на разных славянских языках XVI века не снабжены ни строкой глоссирования, ни пословным переводом.

С. Ваулина в статье «Диахронические аспекты исследования модальности в русском языке» предлагает общий обзор исторического развития модальных лексем, являющийся одновременно и обзором исследований, произведенных в этой области за последние тридцать лет.

Цель Р. Мейера (статья «Регенбургский диахронический корпус русского языка: новый источник для исследования модальности и не только ее») – представить диахронический корпус русского языка, который создается в настоящий момент в Регенбурге и одним из создателей которого является автор. Статья, таким образом, содержит довольно подробное описание корпуса и небольшой пример поисковых возможностей, предоставляемых корпусом, на материале слов с модальным значением.

М. Хиршова в статье «Модальные глаголы и иллокутивные конструкции» обращает внимание на сходство между значениями некоторых иллокутивных актов и значением, которое вносят модальные глаголы в декларативные и вопросительные предложения (*Закрой окно / Хочу, чтобы ты закрыл окно*).

Статья Х. Пулашевской «Модальность в приглашениях к действию. Контрастивное исследование речевого общения» посвящена ре-

чевым актам, которые автор называет «proposals» – приглашения к действию. На материале видеозаписей реалити-шоу «Большой брат» автор исследовал все речевые способы, которыми пользуется говорящий, чтобы побудить собеседника к совместному действию, в трех языках: польском, немецком и английском. В фокусе внимания находились всевозможные модальные средства: модальные глаголы, синтаксические типы предложений, модальные предикативные слова (напр., наречия), аналитические модальные конструкции. Автором разработана классификация приглашений к действию, основанная как на форме, так и на содержании высказываний, например: императивы, вопросительные предложения, делящиеся в свою очередь на подтипы (деонтические, содержащие пресуппозицию, содержащие намек и т.д.). Беглый разбор предложенных типов не позволяет, к сожалению, в полной мере оценить статистические результаты. Так, автором замечена несколько большая частотность императивных высказываний в польском языке. Является ли это следствием наличия в польском особой формы императива 1-го лица множественного числа, которая отсутствует в английском и немецком, из текста статьи понять не удается, поскольку автор не излагает критерии выделения «императивного» типа высказывания. Сделан вывод о большей распространенности в английском и немецком языках высказываний, представляющих собой конвенционализованные косвенные приглашения. Этот факт автор связывает с известной для британской и немецкой культур установкой на *individual's right to freedom from imposition* (заметим, что известные русскому читателю выводы А. Вежбицкой о немецких «культурных сценариях» [Вежбицкая 1999] несколько отличны от тех, которые излагает автор).

Попыткой применить методы лингвистического анализа модальных единиц в исследовании культурных концептов является статья Д. Вайса «Возможность и необходимость в советском новоязе». Советская идеология характеризуется наличием двух миров, оппозицией «свои vs. чужие», «мы vs. они». Выясняется, что наличие этой оппозиции отражается на употреблении модальных лексем. Утверждения о «своих» строятся на эпистемической необходимости или невозможности, а модальность возможности, характеризующая кратковременные и локально ограниченные процессы, используется в утверждениях об идеологических противниках. Основным материалом исследования послужил корпус текстов Н.С. Хрущева, касающихся внешней политики. Особыми свойствами характеризуется предикатив *можно*, который относится преимущественно к нейтральным агентам или функционирует как модификатор речевого акта;

неоднозначно поведение глагола *мочь*. В наиболее яркой форме оппозиция «своих» и «чужих» проявляется в сфере эпистемических оценок: поведение «своих» полностью предказуемо, в то время как «чужие» являются источником неуверенности и тревоги говорящего.

Среди недостатков сборника следует отметить практически полное отсутствие редакторской обработки текстов. Некоторые русскоязычные статьи отличаются весьма невысоким уровнем стиля; несомненным неудобством является отсутствие строки поморфемной записи во многих статьях сборника. Поскольку в книге много русского материала, для русскоязычного читателя это неудобство сглаживается, однако и для него были бы нелишними глоссы к другим славянским языкам.

В кратком предисловии редакторы сообщают о своем намерении совместить данные, накопленные общей лингвистикой и славистами. Среди авторов сборника, преимущественно славистов, есть и несколько типологов. При чтении некоторых статей становится очевидным недостаток наших знаний о том, как соотносится выражение модальных значений лексическими элементами (как это происходит в славянских языках) и грамматическими категориями. Так, из дискуссии вокруг эвиденциальности и эпистемической модальности (статьи В.С. Храковского и Б. Вимера) создается впечатление, что связь инференциального значения с эпистемической оценкой зависит от того, идет ли речь только о морфологических показателях или в поле внимания исследователя попадают также лексические элементы. Следующим этапом в исследовании модальности, таким образом, хотелось бы видеть расширение круга описываемых языков и сопоставление фактов, известных типологам, с теми, которые столь богато представлены в рецензируемом сборнике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Вежбицкая 1999 – А. Вежбицкая. Немецкие «культурные сценарии»: Общественные знаки как ключ к пониманию общественных отношений и культурных ценностей // А. Вежбицкая. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999.
- van der Auwera, Ammann 2005 – J. van der Auwera, A. Ammann. Situational possibility. Epistemic possibility // M. Dryer, M. Haspelmath, D. Gil, B. Comrie (eds.). World Atlas of language structures. Oxford, 2005.
- van der Auwera, Plungian 1998 – J. van der Auwera, V.A. Plungian. Modality's semantic map // Linguistic typology. V. 2–1. 1998.

Н.Р. Добрушина

Энциклопедия «The Mongolic languages» (далее – ML), составленная под редакцией известного финского лингвиста Юхи Янхунена, содержит очерки всех известных языков монгольской группы, написанные специалистами по соответствующим языкам.

В зарубежной лингвистике последнее подробное описание монгольской группы языков было осуществлено более 40 лет назад [Handbuch 1964]. В отечественной лингвистике монгольская группа языков получила целостное описание в рамках проекта «Языки мира» [ЯМ 1997] сравнительно недавно. Рецензируемая работа отличается от вышеуказанных прежде всего большей полнотой и большим вниманием к вопросам диахронического развития и проблемам контактов монгольских языков. В качестве отдельных объектов описания в ML выбраны следующие языки (в скобках указаны авторы соответствующих разделов): прамонгольский, письменно-монгольский, хамниганский, монгольские диалекты Китая (Ю. Янхунен), среднемонгольский (Ф. Рыбацки), бурятский (Е. Скрибник), дагурский (Т. Цумагари), халха (Я.-О. Свантессон), ордосский, хуцзу (Ст. Георг), ойратский (А. Бирталан), калмыцкий (У. Блэзинг), могольский (М. Вайерс), шира-югурский (Х. Нугтерен), минхэ (К. Слейтер), баоаньский (В. Хугжилту), дунсянский (Ст. Ким). Кроме того, в монографию входят также разделы «Внутримонгольская таксономия» (Ф. Рыбацки), «парамонгольские языки» (Ю. Янхунен) и «тюрко-монгольские отношения» (К. Шёниг).

Уже по приведенному списку разделов видно, что авторы энциклопедии придерживаются классификации монгольских языков, отличной от той, которая была принята в [ЯМ 1997], не говоря уж о более ранних работах. Среди тех идиомов, статус которых как отдельных языков зачастую отрицается, особо рассматриваются хамниганский (часто классифицируемый как диалект бурятского), ордосский (нередко не выделяемый из прочих диалектов монгольского языка Китая), хуцзу и минхэ (относимые в отечественной традиции к единому монгольскому языку), калмыцкий (в зарубежных работах иногда причисляемый к ойратскому языку). В отличие от [ЯМ 1997] в ML не обойден вниманием столь важный для монголистики в целом идиом как среднемонгольский язык.

В специальном разделе ML Ф. Рыбацки предлагает свою классификацию монгольских языков, основанную не на нескольких фонетических изоглоссах, как это делалось до него, а на целом ряде пучков фонетических и морфологических изоглосс, причем принимаются во

внимание контактные явления (влияние тунгусских, тюркских, сино-тибетских, персидского, арабского и русского языков на различные монгольские идиомы, а также учитывается взаимное влияние монгольских языков друг на друга). Среди 32 фонетических изоглосс присутствуют, например, такие как сохранение палатальной и лабиальной гармонии гласных, палатализация и деаффрикатизация различных согласных, развитие **s > d* и многие другие. В 41 морфологическую изоглоссу включены, в частности, совпадение аккузатива и датива, наличие специального маркера единственного числа, предикативные личные окончания, развитие глагольных форм и т.п. Что касается лексики, то ее автор раздела рассматривает отдельно и выстраивает своеобразную классификацию монгольских языков по «чистоте» лексического состава, т.е. какой процент общемонгольского словаря (на выборке из 452 лексем) сохраняется в разных монгольских языках. Как оказывается, наименьший процент (39%) лексики сохраняется в минхэ, а максимально (98%) в халха. Такая лексическая классификация, однако, принципиально не может отражать никакого генетического деления, а показывает лишь степень иноязычного воздействия на тот или иной монгольский идиом. Генетическая классификация по лексическим данным могла бы быть построена с помощью глоттохронологических методов, однако такой вариант даже не рассматривается в работе. Тем не менее взятые отдельно фонетические и морфологические изоглоссы показывают наличие следующих групп монгольских языков: а) северо-восточной (дагурский); б) северной (хамниганский, бурятский); в) центральной (собственно монгольский, ордосский, ойратский); г) южно-центральной (шира-югурский); д) юго-восточной (минхэ, хуцзу, баоаньский, дунсянский); е) юго-западной (могольский). При этом шира-югурский язык делит примерно равное количество изоглосс как с северной и центральной группами, так и с юго-восточной группой.

Изложение материала в каждом очерке ведется приблизительно по общей схеме (данные и источники, положение в классификации, сегментные фонемы, структура слова, словообразование, число и падеж, числительные, местоимения, аффиксы принадлежности, финитные глагольные формы, причастия, деепричастия, спряжение, вспомогательные глаголы, простое и сложное предложение, лексика), внутри которой допускается достаточно большая свобода изложения материала. Иногда это приводит к достаточно естественной неравномерно-

сти в степени подробности описания тех или иных частей языковой системы, что связано с лингвистической специализацией автора конкретного очерка. Так, например, в описании халхасского языка, выполненном известным фонологом Я.-О. Свантессоном, читатель обнаруживает весьма подробное и интересное описание халхасской фонологии, однако сведения, например, о семантике падежей даются крайне сжато и неполно; описание бурятского языка, сделанное Е. Скрибник, выделяется из прочих очерков очень распространенным описанием сложных предложений и полипредикативных конструкций и т.п.

Для энциклопедий такого рода обычно характерно лишь синхронное описание языковой группы, поэтому особенно интересным представляется предварение синхронной части монографии очерком прамонгольского языка. Монгольские языки распались относительно в недавнее время, поэтому реконструкция прамонгольского языка не вызывает столь горячих споров, как реконструкция, скажем, праалтайского или праиндоевропейского языков. Тем не менее и в этой области имеется ряд достаточно сложных вопросов, таких как наличие/отсутствие первичных долгих гласных в прамонгольском, развитие начального *h, функции падежных и словообразовательных аффиксов и т.п.

Особого обсуждения заслуживает раздел, посвященный тюрко-монгольским отношениям. Эта проблема является весьма острой для истории монгольских языков. Пласт монгольской лексики и морфологических элементов, имеющих параллели в тюркских языках, чрезвычайно велик. Оценка этого пласта как ареального, появившегося в результате языкового союза, длительного совместного существования носителей соответствующих языков, либо как генетически унаследованного от общего праалтайского языка зависит от принадлежности конкретного исследователя к «алтаистической» или «антиалтаистической» научной парадигме. Впрочем, в рамках обоих подходов процент заимствованной лексики и морфологии оценивается как весьма высокий. К. Шёниг, автор соответствующего раздела монографии, указывает, в частности, что, по его мнению, «чем аккуратнее учитывается ареальный фактор, тем меньше остается материала, который можно интерпретировать с помощью теории генетического родства» (с. 403). Тем не менее можно заметить, что роль тюрко-монгольских отношений для гипотезы о родстве алтайских языков несколько преувеличивается Шёнигом. По крайней мере, утверждение о том, что всю алтайскую гипотезу можно опровергнуть, если интерпретировать корпус тюрко-монгольских соответствий как ареальный

(с. 403), представляется слишком сильным, поскольку накопленный к настоящему времени корпус монгольско-тунгусо-маньчжурско-корейско-японских соответствий весьма велик и валиден для дальнейшего обсуждения вопросов алтайского родства, даже если в принципе не учитывать тюркский материал. Шёниг, основываясь на гипотезе о полностью ареальном характере тюрко-монгольских параллелей, рассматривает влияние тюркских языков на монгольские в дописьменный период и влияние монгольских языков на тюркские в период монгольских завоеваний и позже.

Весьма интересен раздел о «парамонгольских языках», в котором Ю. Янхунен постарался собрать все известные на сегодняшний момент данные о языках древних народов, предположительно относившихся к монгольской группе, прежде всего киданей и сяньби. Реконструируемый им по косвенным данным (преимущественно по древним заимствованиям в тунгусо-маньчжурские языки) «парамонгольский язык» имел, по его мнению, общего предка с прамонгольским, но не был тождественен последнему. В разделе отражаются и последние достижения в области изучения малого киданьского письма, пожалуй, одной из немногих до сих пор не прочтенных письменностей на Земле, относительно которых есть вполне реальная надежда получить дешифровку в обозримом будущем. Однако необходимо сказать, что надежность реконструкции «парамонгольского» языка по древнейшим заимствованиям в маньчжурский и чжурчженьский языки вызывает довольно значительные сомнения, поскольку во многих приводимых Янхуненом случаях мы можем иметь дело не с заимствованиями, а с исконными монгольско-тунгусо-маньчжурскими параллелями. Поскольку Янхунен отрицает возможность родства между монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками, то наличие параллелей, которые невозможно объяснить путем заимствования из исторически засвидетельствованных монгольских языков, ему приходится интерпретировать как заимствования из незасвидетельствованного «парамонгольского» языка и делать свои выводы о сути этого языка на основании этих шатких данных.

Каждый очерк в энциклопедии снабжен библиографией, отсылающей читателя к подробным описаниям конкретных языков.

К несомненным достоинствам монографии можно отнести полную унификацию терминологии. Так, если в русской традиции, как можно хорошо видеть в энциклопедии ЯМ 1997, авторы дают различные наименования определенным типам деепричастий, финитных форм прошедшего времени и падежам, что затрудня-

ет для типологов сопоставление между собой этих форм, то в рецензируемой работе содер­жательно идентичные и материально родственные формы различных монгольских языков имеют одинаковые названия во всех очерках.

Подводя итог, можно отметить, что «The Mongolic Languages» является очень удобным и содержащим самые современные сведения справочником по монгольским языкам и вполне может стать настольной книгой для ученых,

занимающихся вопросами монгольского язы­кознания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Handbuch 1964 – N. Poppe et al. Mongolistik. Leiden; Cologne, 1964.

ЯМ 1997 – Языки мира: Монгольские языки. Тунгусо-маньчжурские языки. Японский язык. Корейский язык. М., 1997.

И.А. Грунтов

Т.А. Майсак. Типология грамматикализации конструкций с глаголами движения и глаголами позиции. М.: Языки славянских культур, 2005. 480 с.

Рецензируемая книга состоит из двух нерав­ных по объему (примерно 1 : 4) частей. В первую часть входят три главы, включающие подробное обсуждение теоретических под­ходов к описанию явлений, связываемых с грам­матикализацией. Во второй части, распадаю­щейся на пять глав, автор проводит многосто­ронний анализ выбранных им явлений на обширном типологическом материале. Обеим частям предшествуют короткие пояснения тех­нического характера и введение. За последней главой следуют заключение, два приложения (каталог путей грамматикализации глаголов движения и позиции, а также генетический указатель языков), библиография, занимаю­щая целых 33 страницы, алфавитный указа­тель языков и небольшое резюме на англий­ском языке.

О значимости отраженного в работе Т.А. Майсака исследования свидетельствуют его собственные слова, о том что «распростра­ненность грамматикализации глаголов движе­ния и позиции в языках мира чрезвычайно ши­рока; не так просто обнаружить язык, в котором не существовало бы никакого использования конструкции хотя бы с каким-либо одним из гла­голов движения или позиции для выражения грамматической функции» (с. 413). Кроме того, появление этих глаголов на «входе» того или иного пути грамматикализации давно извест­но и часто упоминалось (см., например [Bybee et al. 1994; Lehmann Ch. 1995: 29–32]). Несмотря на это, до сих пор грамматикализация данных групп глаголов еще не была предметом систе­матического исследования ни в России, ни в западных странах. Насколько мне известно, в ра­боте Т.А. Майсака впервые предпринимается попытка систематической инвентаризации лексических источников таких путей грамма­тикализации и охвата самих путей. Вместе с

тем автор совершенно справедливо замечает, что «в разных языках статус глаголов движе­ния и позиции “на службе у грамматики” мо­жет (...) очень сильно различаться по степени близости к ядру грамматической системы» (с. 413). Такие различия могут оказаться фак­тором, заметно влияющим на выбор исследуе­мого пути грамматикализации, поэтому Т.А. Майсак должным образом учитывает ре­зультаты лексической типологии и описаний глаголов движения и позиции в рамках лекси­ческой семантики (см. ниже о ч. II, гл. 2).

Аналізу были подвергнуты глаголы движе­ния ИДТИ/УХОДИТЬ, ПРИХОДИТЬ, ХО­ДИТЬ, ВХОДИТЬ, ВЫХОДИТЬ, ПОДНИ­МАТЬСЯ, СПУСКАТЬСЯ, ПРОХОДИТЬ/ ПЕРЕХОДИТЬ, ВОЗВРАЩАТЬСЯ и пози­ции СТОЯТЬ, СИДЕТЬ, ЛЕЖАТЬ вместе с динамическими вариантами последних ВСТА­ВАТЬ, САДИТЬСЯ, ЛОЖИТЬСЯ (с. 136). Эти «заглавные» лексемы описываются на русском метаязыке, причем автор отдает себе отчет, что в разных языках у них могут суще­ствовать только приблизительные эквивален­ты (с. 119). Именно по этой причине ИДТИ/ УХОДИТЬ и ПРОХОДИТЬ/ПЕРЕХОДИТЬ рассматриваются вместе, а ИДТИ и УХО­ДИТЬ еще также отдельно (см. ч. II, гл. 2). Судя по обсуждению общих методологических вопросов (с. 135–146), автор осознает и пробле­мы, которые связаны с избранным им методом сбора данных по интересующим его глаголам и конструкциям.

Был исследован материал более чем 400 языков из всех языковых семей и ареалов, причем учитывались также изолированные и «контактные» языки (т.е. пиджины и креоль­ские). Автор в основном опирался на описа­тельные грамматики, для более чем 200 язы­ков он привлекал полные грамматики (с. 17).

В выборке из 200 наиболее систематически изученных языков приблизительно в одной трети не нашлось соответствующих примеров на интересующую автора грамматикализацию.

Замечания автора о процессах грамматикализации в условиях языкового контакта, по сути дела, ограничиваются креольскими языками и редкими обобщениями по ареальным «предпочтениям» тех или иных путей грамматикализации. В кратком подразделе, посвященном грамматикализации в условиях языкового контакта (с. 72–76), среди прочих обсуждается и программная статья [Heine, Kuteva 2003], положения которой, однако, на мой взгляд, освещаются недостаточно критически.

Т.А. Майсак последовательно придерживается функционально-типологического подхода, согласно которому исходное значение конструкции, подвергающейся грамматикализации, является решающим (или даже единственным) фактором, определяющим путь и результат этого процесса (ср. «source determination principle» в [Bybee et al. 1994]). Тем самым, внутрисистемные (структурные) требования, вроде заполнения лакун и т.п., в качестве факторов изменения не рассматривались (с. 412).

Часть I сводится к тщательному, местами остроумному обзору подходов к грамматикализации. Прежде всего, автор справедливо подчеркивает, что нельзя говорить о какой-либо единой, интегральной «теории грамматикализации» (с. 30). Во взглядах ведущих в этой области ученых обнаруживается немало противоречий, большая часть из которых, правда, при более пристальном разборе понятий и приводимых в литературе явлений оказывается мнимыми. Ср. обсуждение критики этого направления и самого понятия (с. 68–72). Примечательно, что автор включил в свой обзор также обмен взглядами по электронной почте, проводившийся в 1996 г. по инициативе Ньюмейера в форуме Linguist list. Главным выводом из дискуссий по грамматикализации нужно признать то, что грамматикализацию следует рассматривать «как совокупность процессов, прежде всего на формальном и семантическом уровнях», причем, как отмечается в [van der Auwera 2002: 26], «наиболее интересно как раз то, что некоторые типы формальных изменений имеют тенденцию сопутствовать некоторым типам семантических изменений» (с. 70).

Особо стоит остановиться на удачном обсуждении споров по поводу принципа односторонности. Автор приходит к выводу, что данный принцип не может считаться исключительным для грамматикализации (с. 54 и сл.). Тем более к нему нельзя относиться как к диагностическому критерию. Поэтому удачно сформулирован вопрос (с. 55): «является ли од-

носторонность частью определения грамматикализации, или же это эмпирическая гипотеза, которая может быть опровергнута контрпримерами?» (разрядка автора). В практике обсуждаемый принцип трактуется как часть определения, хотя редко приверженцы «теории грамматикализации» отстаивали этот принцип в его сильной версии. В результате их «можно упрекнуть в нечеткости многих формулировок» и в «эпистемической беззаботности» (выражение В.А. Плунгяна), которая и стала основным поводом критики со стороны представителей формальных направлений. Обзор разногласий по поводу деграмматикализации позволяет автору заметить: «Пока еще нет единого мнения о том, что представляет собой “законный” (legitimate) пример деграмматикализации» (с. 62).

Из обсуждения исторических корней исследований в области грамматикализации в СССР, обсужденных в части I, главе 1.3 (с. 30–36), можно извлечь вывод, что исследователи 1960–1970 гг., писавшие о грамматикализации, чересчур сосредоточивались на «парадигматизации», причем в первую очередь аналитических конструкций (напр., в германских и романских языках). Такой процесс как раз касается в большой мере тех явлений, которым Т.А. Майсак посвятил свое собственное исследование (см. ниже, часть II, глава 4). По сути дела, эта часть его обзора дополняет обзор, представленный в статье [Wiemer 2003], где обращается внимание на те же особенности названного направления в период практически нераздельного господства структурализма.

Заметим, что автор упоминает о «принципе коэволюции значения и формы» (по Байби и др., с. 53 и сл.), но не упоминает о критике, которой подвергался этот принцип, например в [Bisang 2004]. Только умеренно критически оценивается труд [Heine et al. 1991], в котором преувеличенное значение приписывалось «метафорическим скачкам» (с. 27). Правда, Т.А. Майсак указывает на то, что метафорический перенос характерен для лексических изменений, которые могут произойти до процесса грамматикализации, но в любом случае происходят независимо от него (с. 41–43); ср. его примеры на «грамматикализацию через стадию лексикализации» (с. 66–67). Но он оставляет открытым вопрос о том, как оценить «удельный вес» предполагаемых Хайне и его соавторами метафорических переносов («макроструктуру» грамматикализации) по сравнению с метонимическими сдвигами («микроструктурой»). На самом деле, из уточнения автором роли метафоры (в начале процесса и независимо от него) становится ясным, что говорить о «макроструктуре» некорректно, по-

сколькx это понятие оказывается не более чем артефактом лингвистов-аналитиков.

В части II термины «глаголы движения» и «глаголы перемещения» употребляются как синонимы. Анализx подвергаются главным образом непереходные глаголы перемещения в узком смысле слова (= англ. *verbs of displacement, directional verbs*) (с. 102). Далее (с. 102–109) обсуждается типология Л. Талми, продолженная Д. Слобином и различающая «глагольный тип» (напр., романские языки), «сателлитный тип» (основная масса индоевропейских языков, финно-угорские языки и др.) и «экви-полентный тип» (напр., языки Западной Африки, Юго-Восточной Азии). Существуют и промежуточные типы. Выделяются 'субъект движения' (= *figure, trajector*), 'маршрут/путь' (= *path*) и 'объект-ориентир/фон' (= *ground, landmark*). Вслед за этим Т.А. Майсак дает обзор по исследованиям лексической семантики глаголов движения. От собственно лексической семантики следует отличать выражение разных аспектов движения в рамках более крупных синтаксических групп (клауз и т.п.). Вообще во всей работе должным образом подчеркивается роль конструкций, без учета которых нельзя описать адекватно развитие грамматических морфем из автономных лексем (см. особенно с. 267, 279, 403–405 и с. 418 и сл.).

В первую очередь контрастивное изучение лексической семантики основных глаголов направленного движения (ИДТИ, ПРИХОДИТЬ, ср. англ. *come vs. go*) выявило ряд асимметричных отношений; такие глаголы часто нельзя охарактеризовать как (эквиполентные) антонимы (с. 112–115). Позже автор отмечает: «"Расширенное" локативное использование глаголов позиции и их превращение в бытийные глаголы является промежуточным случаем между чисто лексическим развитием глагольного значения и его грамматикализацией» (с. 252). Часто такое расширение является исходной точкой для грамматикализации. Поэтому скорее всего неслучаен, например, тот факт, что «набор языков с расширенным локативным использованием глаголов позиции и языков с глаголами позиции в составе имперфективных конструкций в значительной степени пересекается» (с. 268).

Эквивалентами глаголов, обозначающих способ и/или направление движения, являются позиционные глаголы СТОЯТЬ, СИДЕТЬ, ЛЕЖАТЬ (с. 121). В 1.2 обращается внимание на различную сочетаемость глаголов позиции в зависимости от названий их субъектных актантов. Особенно широкая сочетаемость одного из этих глаголов может превратить его в чисто бытийный глагол (с. 252 и сл.). При этом языки можно разместить на шкале, располага-

ющей общее выражение идеи бытия или местонахождения субъекта на одном полюсе, а подчеркивание способов нахождения в пространстве – на другом; к первому полюсу близок английский язык, к другому – русский (с. 253 и сл.). Любопытно также то, что глаголы позиции в разных языках обладают различным диапазоном расширенных употреблений базовых глаголов (с. 129–135). К сожалению, из дальнейшего не становится ясным, как такие наблюдения соотносятся с результатами анализа Т.А. Майсака.

Структура второй, аналитической части книги такова: сначала исследуются отдельные значения исходных лексем, приведенных выше (главы 2–3); глава 4 специально отводится «аналитической перфективации», т.е. одному из типов сложных сказуемых (*complex predicates*), о чем см. ниже. Затем весь материал из глав 2–3 рассматривается с противоположной, ономаσιологической стороны, т.е. исходя из грамматических категорий (временных, аспектуальных, модальных), для выражения которых в разных стадиях грамматикализации служат глаголы движения и позиции или морфемы, восходящие к ним (глава 5). Заключая главу 2, Т.А. Майсак особое внимание уделяет удвоенным конструкциям с глаголами движения, которые в основном служат для выражения глагольной множественности и реципрокальных значений (с. 250–251).

В области глаголов позиции в литературе до сих пор широко изучались два случая: (а) глаголы позиции в качестве нейтральных локативных или бытийных глаголов, (б) превращение глаголов позиции в аспектуальные показатели с имперфективным значением (с. 252). Т.А. Майсак дополняет эти уже достаточно хорошо известные пути более периферийными случаями, которые он старается охватить по возможности исчерпывающим образом. Аналогично, как мы помним, был устроен и раздел о глаголах движения. Описывается также развитие глаголов позиции в показатели «позиционной ориентации» (с. 272 и сл.) и вербализаторы, в пространственные показатели, в артикли или демонстративы (с. 279 и сл., 287, 292).

Специально следует остановиться на главе 4 (об «аналитической перфективации»), в которой явления грамматикализации глаголов движения особенно тесно соприкасаются с рядом аспектологических вопросов. После вводных замечаний о разных типах видовых систем (с. 294–297) более подробно сопоставляется основная система романского типа ([± лимитативность]) и славянский вид, который, по мнению Т.А. Майсака, в конечном счете строится на противопоставлении по признаку ([± пре-

дельность]). В этом месте следовало бы уточнить, что в функциональном отношении оппозиция славянского вида на самом деле сводится к признаку [\pm целостность], а предельность можно признать лишь ее диахронически исходной точкой. Однако как раз в этом признаке и проявляется параллель с развитием видовых маркеров из глаголов движения; это становится ясным и из изложения самого Т.А. Майсака. Полезно было бы здесь учесть работы В. Броя, которые непосредственно касаются интересующих автора сопоставлений в типологическом ракурсе (например [Брой 1998; Brey 2000]). В связи с этим особого внимания заслуживает следующий вывод Т.А. Майсака: «явление “аналитической перфективации” (...) обнаруживает сходство именно с перфективностью “славянского типа”» (с. 297), т.е. с лексически выраженной предельностью (а не с лимитативностью); см. также с. 326 и сл. Такой вывод в принципе естествен, поскольку можно ожидать, что словообразовательный способ формирования видовых оппозиций, который свойствен как раз славянским языкам, с лексическим значением соответствующих основ взаимодействует теснее, чем флективный способ обозначения видовых противопоставлений, представленный в романских языках. В данной соотнесенности категориальной семантики видовой оппозиции и формальных (морфологических) способов ее выражения в известном смысле можно усмотреть проявление иконического соответствия между формой и содержанием.

Поскольку славянская видовая оппозиция заодно проявляет и свойства классифицирующей категории (о сочетании и «совместимости» словообразовательного и классифицирующего характера некоторых грамматических категорий, в частности вида славянского типа, см. [Вимер 2006]), очень уместными оказываются замечания Т.А. Майсака о параллелях между семантикой и поведением глаголов-модификаторов, вошедших в его богатую типологическую базу данных, и роли перфективирующих приставок в славянских языках (с. 321–325).

Процессы перфективации анализируются сначала на современном и диахронном материале языков Европы, включая кавказские (с. 297–305), а затем исследуются на основе аналитических перфективных конструкций с глаголами движения в остальных языках, сгруппированных по семьям (с. 305–320). На деле и здесь учитываются также аффиксальные средства, восходящие к глаголам движения (напр. в хакасском языке, с. 310). В целом «перфективаторы» характеризуются ограничениями на лексическую сочетаемость. В этом

смысле очень удачным нужно признать сравнение функций превербов и вспомогательных глаголов с функциями именных классификаторов (с. 339–345).

Т.А. Майсак разумно отграничивает чисто акциональную перфективацию от грамматической оппозиции (им)перфективности. Как правило, этот процесс происходит с помощью приставок, и лишь в славянских языках такой процесс грамматикализации близок к завершению. Системы перфективирующих («телисизирующих») аффиксов или вспомогательных глаголов сами по себе не создают видовые системы (наподобие русской оппозиции СВ : НСВ) (с. 325–330). Против такого «уравнения» говорят часто наблюдаемые ограничения в лексической сочетаемости и то, что «практически во всех рассмотренных языках с системами аналитической перфективации имеются и вполне “прототипические” показатели перфективности и имперфективности, причем, как правило, простые и сложные глаголы одинаково свободно сочетаются с ними» (с. 327).

Для того чтобы определять грамматический (vs. лексический) статус перфективаторов, Т.А. Майсак руководствуется следующими критериями (с. 331–339): (а) ростом лексической сочетаемости, (б) уменьшением ограничений грамматического/синтаксического контекста (напр., утвердительное vs. отрицательное предложение), (в) ростом общей частотности в текстах, (г) парадигматизацией (следствием которой часто является семиотизация нулевого показателя, приобретающего статус грамлеммы имперфективности).

Подобно многим другим русским исследователям последних 10–15 лет, Т.А. Майсак для обозначения грамматического вида применяет английский термин ‘аспект’ (aspect), хотя в этом нет никакой нужды (напр., с. 302, 365, 370). В то же время, понятно, почему автор не затронул ряд более частных аспектологических вопросов, например, детали процесса, приведшего к возникновению видовой системы славянского типа. Однако, на мой взгляд, его по существу очень тщательный анализ было бы уместно дополнить работами тех аспектологов, подходы которых опираются на модели взаимодействия видовых грамем с акциональными классами глаголов. Кроме уже упомянутых работ В. Броя и цитируемых самим Т.А. Майсаком статей С.Г. Татевосова, ср. в первую очередь [Lehmann V. 1999], а также великолепный обзор [Sasse 2002], в котором такого типа теории объединяются под названием «radical selection theories» [Там же: 222 и сл.].

По отношению к так наз. «light verbs» (напр., в хинди/урду) Т.А. Майсак присоединяется к критической точке зрения, высказывае-

мой в ряде работ М. Батт (ср., например [Butt, Geuder 2003]). Согласно этой точке зрения «легкие глаголы» занимают промежуточную позицию между полными и вспомогательными глаголами; у них отсутствует целый комплекс признаков, обычно приписываемых морфологизуемым в ходе грамматикализации единицам (с. 336–338).

Глава 5 дополняет таксономически ориентированные главы 2–3 своим объяснительным характером. Ее структура основана на классификации грамматических и концептуальных областей, т.е. изложение организовано по временным, аспектуальным, модальным категориям, а также по залоговым и актантно-деривационным, сравнительным, целевым и т.п. конструкциям. Отдельно обсуждаются случаи использования глаголов движения в качестве модификаторов именной группы, именных классификаторов, вербализаторов, демонстративов и прочих служебных морфем (с. 386–389). Учитываются также другие глаголы, служащие источниками для грамматикализации в названных концептуальных областях (см. особенно с. 415 и сл.). Это, однако, делается скорее попутно, а не систематически.

В данной главе также показывается, что глаголы движения особенно часто используются для выражения темпоральных отношений и гораздо реже – для модальных и других глагольных категорий (с. 348 и сл.). В свою очередь, среди темпоральных функций явно преобладают аспектуальные значения, которые весьма редко утрачиваются полностью, так что в целом конструкции с изучаемыми автором глаголами только изредка развиваются в показатели времени (см. ниже общие выводы). К исключениям относится распространенный переход имперфективной конструкции с СТОЯТЬ в показатель настоящего времени. Но такое развитие все равно следует расценивать как вторичное семантическое расширение на базе исходной аспектуальной конструкции (с. 275; аналогично и для СИДЕТЬ, с. 290).

Далее, автор не высказывается однозначно по поводу того, каков характер семантических (и концептуальных) изменений, лежащих в основе рассматриваемых им процессов грамматикализации. Тем не менее, он в конечном итоге склоняется к той точке зрения, согласно которой в этих процессах главную роль играет метафорический перенос пространственных понятий (ср., например, с. 360). Между тем, он упускает из виду аргументы в пользу того, что связь между временными и пространственными понятиями адекватнее описывать с помощью метонимических переносов (ср., например [Anstatt 1996]). Сходным образом, Т.А. Майсак указывает на фазисную семантику («начало»)

таких русских глаголов как *подняться* (*Поднялся шум* и т.п.), расценивая их фазисность как проявление метафорического переноса (с. 374). Однако он тут же отмечает, что «такая концептуализация [движение вверх → начало действия. – Б.В.] может быть связана (...) с тем, что зарождение многих ситуаций сопровождается перемещением ее субъекта или объекта вверх, “от земли” как главной естественной опоры (ср. *огонь вспыхнул* ≈ ‘огни пламени [sic!, т.е. пламя огня. – Б.В.] взметнулись вверх’ (...))». Нельзя не заметить, что за этим стоит метонимический перенос! Неизвестно, какую долю занимают в материале автора такого рода случаи. Но гипотеза о метафорической природе переносов временных значений (концептов) из области пространства по-прежнему остается по меньшей мере недоказанной.

Не только в отношении русского языка, но и для более общей методологии интересны замечания автора по поводу конструкции *пойти* + инф. (с. 372). Ее он признает «в целом вполне» грамматикализовавшейся (см. также с. 411). Следует, однако, оговориться, что В.С. Храковский [1987: 169], на которого он ссылается, отмечал, что *пойти* не сочетается с глаголами однонаправленного движения (**Пошел лететь* и т.п.). Такое ограничение обусловливается исходным лексическим значением *пойти*, а это как раз уменьшает ее степень грамматикализации по признаку (а) из параметров грамматикализации, принятых самим Т.А. Майсаком (см. выше). Кроме того, в данном случае еще следовало бы учесть, что глаголы движения (которые создавали бы сложные предикаты с *пойти*) в славянских языках в морфологическом, категориальном и семантическом отношениях часто ведут себя иначе, чем остальные глаголы. Поэтому пример с *пойти* + инф. поучителен также в том смысле, что пришлось бы сначала убедиться в том, не коренятся ли сочетаемостные ограничения *пойти* в этой конструкции в семантике однонаправленных глаголов, а не в самом *пойти*. Можно предполагать, что подобные предостережения необходимо было бы соблюдать и по отношению ко многим другим случаям, обсуждаемым Т.А. Майсаком. Правда, эту проблему он вполне осознает, так что можно лишь констатировать, что в затронутом им материале остается открытым множество частных вопросов, касающихся того, каким образом семантика грамматикализуемых глаголов взаимодействует со свойствами остальных элементов соответствующих конструкций.

Пассивные конструкции обсуждаются автором лишь вкратце (с. 382 и сл.). Видимо, в целом таких случаев нашлось совсем немного. Как показатели в рамках пассивных конструк-

ций выступают глаголы ИДТИ/УХОДИТЬ и ПРИХОДИТЬ, и то в основном лишь в индоиранских языках (кроме них еще в итальянском и мальтийском). Жаль, что автор обходит молчанием глагол ОСТАВАТЬСЯ (сам по себе он близок к позиционным), который в ряде языков (в том числе в Европе) превратился во вспомогательный глагол в пассивной конструкции – например, в немецком, шведском, польском и в некоторых романских (см. [Weiss 1982; Вимер 1998; Wiemer 2004]). Для этих случаев замечательно как раз взаимодействие между изменением акциональной семантики исходного глагола (сдвиг значения ‘оставаться’ → ‘становиться’) и результативных по сути дела причастий (типа славянских на *-n/m-*); на примере польского *zostać* см. анализ в [Wiemer 2004: 298–304]. Притом подобному взаимодействию Т.А. Майсак в общем и целом уделяет достаточно много внимания (см. выше).

Итог разнообразию и повторяемости путей грамматикализации Т.А. Майсак подводит в виде двух таблиц, помещенных на с. 392–394. Читаются они очень удобно. Бросается в глаза, что глаголы со значением ИДТИ/УХОДИТЬ и ПРИХОДИТЬ при заметном отрыве от всех остальных типов глаголов по всем параметрам занимают первые места: по числу языков и путей, а также по полиграмматикализации (т.е. повторной грамматикализации той же единицы в данном языке). Из глобальных выводов, сформулированных автором, стоит привести по крайней мере следующие:

1. «(...) если в языке грамматикализованы какие-либо из неосновных двух глаголов движения [т.е. ИДТИ/УХОДИТЬ и ПРИХОДИТЬ], то и основные глаголы грамматикализованы». Нужна оговорка, что эта закономерность не абсолютна.
2. Среди глаголов позиции подобной закономерности не наблюдается, т.е. каждый из них может подвергнуться грамматикализации независимо от остальных двух. Тем не менее между ними можно установить следующий «рейтинг» по частотности грамматикализации: СИДЕТЬ > СТОЯТЬ > ЛЕЖАТЬ (с. 396 и сл.).
3. Результаты грамматикализации глаголов движения и позиции чаще всего касаются глагольных категорий, среди которых преобладают аспектуальные. У глаголов движения пути развития оказываются весьма разнородными, в то время как глаголы позиции более однородны: их основным путем грамматикализации является превращение в имперфективный показатель. С ними сближается ХОДИТЬ, т.е. единственный из глаголов

движения, который обозначает разнонаправленное (или повторное) движение (с. 397–398)¹.

4. В целом глаголы движения грамматикализируются заметно чаще, чем глаголы позиции. Исключения представляют некоторые австралийские и африканские языки (с. 401).

Главу 5 заканчивает хорошо продуманная аргументация в пользу мотивированности языковых изменений, в частности тех, которые можно подвести под понятие грамматикализации. По мнению автора, грамматические изменения нельзя предсказать, а можно только объяснить их постфактум – например, с помощью исходного значения грамматикализуемой конструкции и исходного лексического значения ее стержневого глагола или аффикса (с. 406–412).

Монография Т.А. Майсака несомненно должна стать настольной книгой для всех, кто интересуется грамматикализацией выбранных им лексических групп глаголов. Богатый материал, вошедший в ее вторую, главную часть, подается в хорошо структурированном виде и с достаточным количеством перекрестных ссылок, а часть I является превосходно построенным обсуждением «теории грамматикализации» (содержащим много метких наблюдений самого автора), которое можно считать наиболее полным на русском языке после появления статьи [Плунгян 1998]. К тому же книга содержит подробную библиографию и информативный указатель анализируемых языков (= приложение 2), а основные выводы исследования достаточно легко доступны благодаря упомянутым выше таблицам и комментариям к ним. Приложением 1 по сути дела можно пользоваться как уточнением и дополнением к известному «лексикону грамматикализации» [Heine, Kuteva 2002].

В авторском тексте нередко попадаются опечатки, но они не затрудняют чтение. Конечно, при столь обширном материале о возможных неточностях в примерах и строках морфологического разбора судить трудно (небольшая опшибка встретилась в одном литовском глаголе на с. 244: должно быть *praėjus* < *praeiti*). Однако иногда мешает переменная по-

¹ Эти выводы подводят к еще более общему выводу (не сформулированному автором), что в исходной лексической семантике рассматриваемых глаголов главным семантическим компонентом, сохраняющимся в процессе грамматикализации, является признак [± предельность].

дача примеров то в кириллической, то в латинской графике; для облегчения восприятия была бы желательна унификация.

В целом книга Т.А. Майсака заслуживает пристального внимания как в России, так и за ее пределами, со стороны как типологов, так и специалистов по грамматикализации, языковым изменениям и взаимодействию между глагольными категориями и лексической семантикой глаголов. В этих областях лингвистики ее обойти будет нельзя, в то время как ее вклад в вопросы ареальной лингвистики и роли языковых контактов в изменениях лингвистической структуры по понятным причинам остается гораздо более скромным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Брой 1998 – В. Брой. Сопоставление славянского глагольного вида и вида романского типа (аорист : имперфект : перфект) на основе взаимодействия с лексикой // Типология вида – проблемы, поиски, решения/Отв. ред. М.Ю. Черткова. М., 1998.
- Вимер 1998 – Б. Вимер. Пути грамматикализации инхоативных связей (на примере русского, польского и литовского языков). // М. Giger, T. Menzel, B. Wiemer (Hrsg.). *Lexikologie und Sprachveränderung in der Slavia*. Oldenburg, 1998.
- Вимер 2006 – Б. Вимер. О разграничении грамматических и лексических противопоставлений в глагольном словообразовании, или: чему могут научиться аспектологи на примере *ся*-глаголов? // V. Lehmann (ed.). *Семантика и структура славянского вида*. IV. München, 2006.
- Плунгян 1998 – В.А. Плунгян. Проблемы грамматического значения в современных морфологических теориях (обзор) // Семантика и информатика. 1998. 36.
- Храковский 1987 – В.С. Храковский. Фазовость // Теория функциональной грамматики. Т. 1: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис / Отв. ред. А.В. Бондарко. Л., 1987.
- Anstatt 1996 – T. Anstatt. 'Zeit' – Motivierungen und Strukturen der Bedeutungen von Zeitbezeichnungen in slavischen und anderen Sprachen. München, 1996.
- Bisang 2004 – W. Bisang. Grammaticalization without coevolution of form and meaning: The case of tense-aspect-modality in East and mainland Southeast Asia // W. Bisang, N.P. Himmelmann, B. Wiemer (eds.). *What makes grammaticalization? A look from its fringes and its components*. Berlin; New York, 2004.
- Breu 2000 – W. Breu. Zur Position des Slavischen in einer Typologie des Verbalaspekts (Form, Funktion, Ebenenhierarchie und lexikalische Interaktion) // W. Breu (Hrsg.). *Probleme der Interaktion von Lexik und Aspekt (ILA)*. Tübingen, 2000.
- Butt, Geuder 2003 – M. Butt, W. Geuder. Light verbs in Urdu and grammaticalization // R. Eckardt, K. Von Heusinger, Chr. Schwarze (eds.). *Words in time. Diachronic semantics from different points of view*. Berlin; New York, 2003.
- Bybee et al. 1994 – J. Bybee, R. Perkins, W. Pagliuca. *The evolution of grammar (Tense, aspect, and modality in the languages of the world)*. Chicago; London, 1994.
- Heine et al. 1991 – B. Heine, U. Claudi, F. Hünnemeyer. *Grammaticalization (A conceptual framework)*. Chicago; London, 1991.
- Heine, Kuteva 2002 – B. Heine, T. Kuteva. *World lexicon of grammaticalization*. Cambridge, 2002.
- Heine, Kuteva 2003 – B. Heine, T. Kuteva. On contact-induced grammaticalization // *Studies in language*. 2003. 27, 3.
- Lehmann Chr. 1995 – Chr. Lehmann. *Thoughts on grammaticalization*. München; Newcastle, 1995.
- Lehmann V. 1999 – V. Lehmann. *Aspekt* // H. Jachnow (Hrsg.). *Handbuch der sprachwissenschaftlichen Russistik und ihrer Grenzdisziplinen*. Wiesbaden, 1999.
- Sasse 2002 – H.-J. Sasse. Recent activity in the theory of aspect: Accomplishments, achievements, or just non-progressive state? // *Linguistic typology*. 2002. 6, 2.
- van der Auwera 2002 – J. van der Auwera. More thoughts on degrammaticalization // I. Wischer, G. Diewald (eds.). *New reflections on grammaticalization*. Amsterdam; Philadelphia, 2002.
- Weiss 1982 – D. Weiss. Deutsch-polnische Lehnbeziehungen im Bereich der Passivbildung // E. Reißner (Hrsg.). *Literatur- und Sprachentwicklung in Osteuropa im 20. Jahrhundert*. Berlin, 1982.
- Wiemer 2003 – B. Wiemer. Grammatische Kategorien und Grammatikalisierung in der Forschung der Sowjetunion und Polens: Beitrag zu einem bislang nicht aufgearbeiteten wissenschaftsgeschichtlichen Kapitel // *Zeitschrift für Slawistik*. 2003. 48, 1.
- Wiemer 2004 – B. Wiemer. The evolution of passives as grammatical constructions in Northern Slavic and Baltic languages // W. Bisang, N.P. Himmelmann, B. Wiemer (eds.). *What makes grammaticalization? A look from its fringes and its components*. Berlin; New York, 2004.

Б. Вимер

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Третья международная конференция по формальному описанию алтайских языков

Третья международная конференция по формальному описанию алтайских языков (Third workshop on Altaic in formal linguistics, WAFL3) состоялась 22–25 мая 2006 года на филологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. 47 участников конференции сделали в общей сложности 36 докладов – два пленарных, пять во время специальной сессии по сравнительному синтаксису алтайских языков, остальные – в рамках общей сессии. Программу конференции и тезисы докладов можно найти на ее официальном сайте www.wafl3.org.ru.

1. Формальная алтаистика как часть формальной лингвистики.

Общая направленность представленных на конференции докладов достаточно четко отражает существующее в лингвистике последних десятилетий стремление сделать ее точной наукой, которая не просто фиксирует и каталогизирует факты, но стремится найти им объяснение, предсказывающее универсальные свойства естественного языка и ограничения на межъязыковое варьирование. Это стремление нашло отражение в развитии целого ряда теоретических систем как в западной, так и в российской/советской лингвистике, таких, как генеративная грамматика, лексико-функциональная грамматика, грамматика зависимостей, когнитивная грамматика, функциональная грамматика, грамматика Монтегю, категориальная грамматика, теория оптимальности, модель «Смысл – Текст» и целого ряда других. Приверженцы этих теоретических систем во многом расходятся по части исходных допущений об устройстве естественного языка, приемах и методах лингвистического анализа, единиц описания и т. п., однако имеется параметр, который объединяет их всех и противопостав-

ляет традиционной описательной парадигме: это представление об объяснительном характере лингвистического знания. Наиболее существенным объектом исследования в этих направлениях лингвистики являются не правильные языковые формы и структуры как таковые, а ограничения и запреты, которые накладываются на эти структуры.

Из примерно 7000 естественных языков, известных в данный момент (см., например, каталог Ethnologue (<http://www.ethnologue.com/>), проработке и теоретическому осмыслению на данный момент подверглась лишь ничтожная часть. Нельзя сказать, что языкам, принадлежащим к алтайской семье – тюркским, монгольским, тунгусо-маньчжурским, корейскому и японскому, – в этом отношении не повезло: многие языковые семьи становились объектом интереса теоретических лингвистов в значительно меньшей степени. Однако парадоксальным образом до самого последнего времени различные группы алтайских языков изучались независимо друг от друга. Доказанное С.А. Старостиным генетическое родство алтайских языков практически не имело последствий для программы их теоретического исследования. Шаги к изменению этой ситуации начали предпринимать Шигеру Миягава из Массачусетского технологического института и Жаклин Корнфилт из Сиракузского университета, которые в мае 2003 года организовали первую конференцию по формальному описанию алтайских языков в MIT в Кембридже (США). Успех этого начинания заставил организаторов задуматься о том, чтобы сделать конференцию регулярной. Вторая конференция состоялась в октябре 2004 года в Стамбульском университете Богазичи. Тогда же было решено провести третью конференцию в Московском государственном университете в мае 2006 года.

2. Содержательные проблемы формальной алтайстики.

Конкретная тематика докладов отражает наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкивается теоретическая лингвистика, пытаясь применить существующие гипотезы об устройстве естественного языка и методы его анализа к алтайскому материалу. Пленарные доклады – доклад Д. П е с е ц к и (США), одного из ведущих представителей школы генеративного синтаксиса, «Почему существительные и глаголы образуют различные типы словосочетаний даже в алтайских языках» и Б. В о к с а (США) «Некоторые соображения по алтайскому вопросу в связи с гармонией гласных, сравнительным методом, языковыми союзами и усвоением второго языка» – посвящены двум важным теоретическим вопросам формального синтаксиса и формальной фонологии. Д. Песецки развивает, в частности, гипотезу о том, что различие во внешнем синтаксисе имен и глаголов, в частности, в том, какие типы комплементов и каким способом они могут присоединять, объясняется наличием согласовательного отношения (*probe-goal relation*) между вершиной и комплементом. Из различия в том, какие признаки лексически специфицированы для имен и глаголов, тем самым следует, что и свойства их комплементов также с неизбежностью различны. Д. Песецки показывает, что в алтайских языках эта гипотеза, разработанная на материале английского, успешно объясняет целый ряд разнородных фактов. Б. Вокс обсуждает проблему единства алтайской языковой семьи и, хотя это единство убедительно доказано, предостерегает от слишком прямолинейного понимания гармонии гласных как свидетельства в пользу такого единства. Он, в частности, развивает гипотезу о том, как выглядела прото-алтайская гармония гласных, и показывает, что нет убедительных свидетельств в пользу того, что вокалические системы современных алтайских языков возникли из нее в результате диахронической эволюции.

Специальная сессия по сравнительному синтаксису алтайских языков была посвящена структуре различных типов зависимых клауз в алтайских языках в сопоставительной перспективе. С. Ф о н (США), Ю. Х и р о з е (Япония) и Ч. Л и н (США) обсудили и проанализировали целый ряд нетривиальных явлений, наблюдаемых в посессивных относительных предложениях (аналогичных русскому предложению *мальчик, чья собака попала под машину*) в японском и турецком языках. Х. М а к и (Япония) и А. У ч и б о р и (Япония) предложили анализ, объясняющий природу генитивного маркирования подлежащей именной группы

в некоторых типах зависимых предложений, также опираясь на японский и турецкий материал, в котором это явление устроено практически одинаково. Доклады Ж. К о р н ф и л т (США) и С. О з с о й (Турция) были посвящены интереснейшей проблеме того, что во многих алтайских языках определенные классы зависимых предикаций имеют внешний синтаксис, в котором сочетаются свойства клауз и именных групп. Например, в турецком языке адъюнктивные предикации, как и независимые предикации, имеют подлежащее в номинативе, однако согласовательная морфология, которая представлена в глаголе, допускается только у вершин именных групп, но не у вершин предикаций. Наконец, Н. Р и ч а р д с (США) сделал увлекательный доклад о просодико-синтаксическом интерфейсе, в частности, о том, как соотносятся просодические и синтаксические составляющие, и предложил теорию, которая, среди прочего, предсказывает, будет ли в языке передвижение вопросительного слова и какую позицию занимает комплементаризер.

Общая сессия предлагала разнообразные доклады по морфологии, синтаксису и семантике алтайских языков. Количественно, как и на предыдущих двух конференциях, преобладали доклады по формальному синтаксису, включающие обсуждение проблем, связанных с плавающими кванторами, передвижением вопросительных слов, генитивом под отрицанием, синтаксическими свойствами фазовых глаголов, отглагольными именами, отрицательно-полярными единицами и целым рядом других явлений, живо обсуждаемых в литературе по теоретическому синтаксису в последние годы. Доклады по семантике и морфологии были представлены в меньшей степени, однако оказались весьма содержательными – следует, в частности, отметить доклады, посвященные анализу значения ряда глагольных категорий в терминах семантики событий.

3. Формальная алтайстика и российская лингвистика.

Как представляется, конференция сделала явными две фундаментальные тенденции развития теоретической лингвистики в ее применении к материалу алтайских языков. Во-первых, в теоретическом плане, это ориентация на синтаксис, причем такая ориентация, когда объектом исследования являются не изолированные синтаксические факты алтайских языков, а то, как эти факты соотносятся с общетеоретическими представлениями и дедуцируемыми из них предсказаниями. Значительная работа, касающаяся структуры зависимых предикаций, структуры именной группы, разграничения сочинения и подчинения, уже проделана.

Однако целый ряд других явлений, например, номинализацию, актантные деривации, проблему так называемых малых именных групп, проявляющуюся как «неоформленное прямое дополнение» или «2-я изафетная конструкция» в тюркских языках, – еще предстоит объяснить. В последние годы прогресс по этим направлениям был не слишком значительным, и можно ожидать, что именно в этих областях в ближайшее время будут происходить интересные события.

Во-вторых, в эмпирическом плане, намечается тенденция к расширению репертуара фактических данных, привлекаемых для теоретических обобщений. До сих пор основная работа по алтайским языкам замыкалась, главным образом, на турецком, японском и корейском языках, благо среди теоретических лингвистов немало их носителей. На Третьей конференции – в отличие от предыдущих двух – появились обнадеживающие доклады, посвященные «малым» (по сравнению с турецким) тюркским языкам, и именно это позволяет надеяться на решительное улучшение ситуации в дальнейшем. Следует, однако, отметить, что на конференции не было ни одного доклада, посвященного монгольскими и тунгусским языкам, что дает печальный повод констатировать, что формально-теоретическая работа по синтаксису, семантике и фонологии этих языков практически не ведется. Почти все эти языки расположены на территории России, и именно российским лингвистам, видимо, предстоит исправлять ситуацию в ближайшие годы.

Традиционный вклад российской лингвистики в мировые исследования по алтаистике – сравнительно-исторические исследования, связанные в последнее время прежде всего с именами В.А. Дыбо, С.А. Старостина, А.В. Дыбо. На этом направлении, по-видимому, российская лингвистика имеет абсолютный приори-

тет. Сильной стороной отечественной алтаистики является, несомненно, и ее широкая эмпирическая база, которая смотрится особенно выигрышно на фоне исследований, сосредоточенных по преимуществу на наиболее крупных и хорошо исследованных языках – корейском, японском и турецком. В частности, именно в докладах российских участников конференции (А.Г. Пазельской, А.Б. Шлуинского, П.В. Гращенкова) подробно анализировался материал тюркских языков, отличных от турецкого, – татарского, чувашского и карачаево-балкарского. Можно ожидать, таким образом, что именно работа с «малыми» алтайскими языками, их исследование, описание и теоретический анализ могут и должны стать тем направлением, где российская теоретическая алтаистика получит убедительные результаты.

Важный урок прошедшей конференции – первой за последние годы конференции по лингвистике в России, где количество иностранных участников превышало количество российских, и одной из немногих, в названии которой присутствует определение «формальный», – состоит, как представляется, в том, что результаты, полученные исследователями, принадлежащими к разным теоретическим парадигмам, оказались интересны и полезны представителям других парадигм. Конференция подала прекрасный пример не бессмысленной и бесплодной конфронтации, а взаимообогащающего обмена идеями и впечатлениями, позволяющего достичь той цели, которая в конечном итоге объединяет функционалистов, генеративистов, представителей любых других парадигм, – понимания природы и универсальных свойств естественного языка.

С.Г. Татевосов (Москва)

Юбилейная конференция, посвященная 50-летию семинара «Некоторые применения математических методов в языкознании»

4 сентября 2006 г. на Филологическом факультете Московского университета прошла однодневная юбилейная конференция, посвященная 50-летию возникновения на этом факультете семинара «Некоторые применения математических методов в языкознании» (НПММвЯ). Первое занятие семинара состоялось 24 сентября 1956 г. Семинар стал первой ласточкой новой эпохи в отечественной лингвистике – символами этой эпохи служат теперь такие ставшие

классическими монографии, как «Опыт теории лингвистических моделей "Смысл ↔ Текст"» И.А. Мельчука, «Лексическая семантика» Ю.Д. Апресяна, «Русское именное словозменение» А.А. Зализняка (и И.А. Мельчук, и Ю.Д. Апресян были участниками семинара «НПММвЯ», а в диссертации А.А. Зализняка, легшей в основу его монографии, развивалась тематика первых занятий семинара – поиск точных определений лингвистических понятий, и в том числе творчески использовалось обсуждавшееся на заседаниях семинара определение падежа по А.Н. Колмогорову). В

1956–1958 гг. семинаром совместно руководили трое – профессор Филологического факультета П.С. Кузнецов, ассистент Филологического факультета Вяч.Вс. Иванов и ассистент Механико-математического факультета В.А. Успенский. В 1956–1958 гг. в работе семинара, кроме упомянутых выше, принимали участие лингвисты А.Б. Долгопольский, Ю.С. Мартемьянов, Т.Н. Молошная, Т.М. Николаева, Е.В. Падучева, И.И. Ревзин, В.Ю. Розенцвейг, В.Н. Топоров, Б.А. Успенский, Р.М. Фрумкина, С.К. Шаумян и другие; математики Р.Л. Добрушин и О.С. Кулагина; физик М.К. Поливанов; литератор Н.Л. Трауберг.

В течение 1956–1958 гг. состоялось 31 занятие семинара «НПММвЯ». На последнем из них, имевшем место 9 июня 1958 г., был обсужден план работы на следующий учебный год (см. краткую информацию в [ВЯ. 1958. № 5: 161]). Однако этот план не смог осуществиться, и в работе семинара наступил длительный перерыв. Через сорок пять лет по инициативе нескольких студентов Отделения теоретической и прикладной лингвистики (ОТиПЛ) Филологического факультета семинар «Некоторые применения математических методов в языкознании» был возобновлен, и его 32-е занятие состоялось 15 ноября 2003 г. С этого времени семинар собирается еженедельно по субботам. Руководят семинаром профессора Механико-математического факультета МГУ В.А. Успенский и М.Р. Пентус; ученым секретарем «НПММвЯ» с 2003 г. стал один из инициаторов его возобновления Д.А. Паперно.

На занятиях возобновленного семинара выступают как прежние участники (Вяч.Вс. Иванов, Е.В. Падучева, Б.А. Успенский, В.А. Успенский), так и новые (неоднократно на семинаре выступали А.Вс. Гладкий, М.Р. Пентус, В.А. Плунгян, А.К. Поливанова; один из последних докладов в своей жизни 17 сентября 2005 г. сделал на семинаре «НПММвЯ» С.А. Старостин). Около половины докладов делают молодые ученые – студенты и аспиранты ОТиПЛ МГУ, Института лингвистики РГГУ, Института языкознания РАН, факультета ВМиК МГУ.

Юбилейное заседание 4 сентября собрало около 70 человек. Участников семинара поздравили с его 50-летием заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики МГУ чл.-корр. РАН А.Е. Кибрик (Москва) и классик американской математической лингвистики Б.Х. Партти (США, Амхерст).

В.А. Успенский (Москва) приветствовал присутствующих участников семинара 1956–1958 гг. – Е.В. Падучеву и Б.А. Успенского – и подробно рассказал об истории семинара с 1956 г. до его возобновления в 2003 г. В част-

ности, он объяснил, почему семинар не мог продолжить работу после летних каникул 1958 г.: с осени 1958 г. на Филологическом факультете стало раскручиваться «дело Иванова», возникшее в связи с открытым выступлением Вяч.Вс. Иванова против начавшейся травли Пастернака и закончившееся его увольнением из МГУ в январе 1959 г.

Е.В. Падучева (Москва) в докладе «50 лет смещения фокуса внимания» проанализировала тенденции развития лингвистической мысли за прошедшие 50 лет, указав на перенос внимания лингвистов от семантического инварианта к вариантам, от денотации к концептуализации, от синонимии к многозначности.

Выступление А.К. Поливановой (Москва) было посвящено проблеме точных понятий в языкознании – теме первых занятий семинара. На примере работ В.А. Успенского «Одна модель для понятия фонемы» и «К определению падежа по А.Н. Колмогорову» докладчик сравнил два подхода – операционный и аксиоматический – к строгому определению языковедческих понятий. В докладе был поднят вопрос о возможности перевода операционных определений в аксиоматическую форму и наоборот. Утверждалось, в частности, что для используемого А.А. Зализняком определения падежа существует аксиоматический вариант формулировки.

Продолжение заседания было посвящено современному состоянию математических методов в лингвистике. Оно должно было открыться докладом Вяч.Вс. Иванова (Москва) «В какой мере сравнительно-историческое языкознание пользуется математически точными методами?»; к большому сожалению, этот доклад не смог состояться, так что обсуждались лишь математические методы в синхронической лингвистике.

В.С. Волк (Москва) и Д.А. Паперно (Москва) сделали сообщение о теории оптимальности – появившейся более десяти лет назад формальной модели, которая активно используется при описании языкового разнообразия в области фонологии и морфологии, а также о недавних математических достижениях в рамках этой теории.

С.А. Минор (Москва) в докладе «О дериационном и репрезентационном подходе в минималистском синтаксисе» рассказал о теоретических проблемах, обсуждающихся в настоящее время в рамках порождающей грамматики – направления формального изучения синтаксиса естественного языка, появившегося около 50 лет назад и живо интересовавшего участников семинара «НПММвЯ» в начале его существования.

Темой вечернего заседания была история математических методов в языкознании. С.А. Крылов (Москва), выступая с докладом «Математическая лингвистика в СССР: направления, идеи, результаты», скрупулезно перечислил все направления в советской математической лингвистике и многие забытые сейчас имена.

Заклучивший программу и носивший отчасти автобиографический оттенок доклад В.М. Алпатова (Москва) «Математизация лингвистики: краткая история и предварительные итоги» был посвящен надеждам, которые давала математизация в языкознании 1950–1960-х гг. На примере отдельных научных биографий докладчик рассказал о динамике интереса к формализации и о соотношении отечественной формальной лингвистики с зарубежной. В докладе было выдвинуто принципиальное положение, что следует различать формальные и математические методы и что формализация

не обязательно означает математизацию, а математизация – формализацию.

После докладов состоялась общая дискуссия о пределах применимости формальных и математических методов в языкознании. В ней приняли участие А.Вс. Гладкий (Москва), рассказавший о своем пути в математическую лингвистику и утверждавший, что некоторые лингвистические проблемы недоступны для формализации, С.А. Крылов, настаивавший, наоборот, на принципиальной формализуемости любых областей лингвистического знания, А.Е. Кибрик, указывавший на пользу формализации для обнаружения содержательно новых вопросов и результатов, Н.В. Перцов (Москва), выступивший с уточнениями по поводу понятия «формализация», и другие.

16 сентября 2006 г. своим 83-м заседанием семинар открыл работу в сезоне 2006–2007 гг. и будет продолжаться в дальнейшем.

Д.А. Паперно (Москва)

Проблемы типологии и общей лингвистики: Конференция, посвященная 100-летию со дня рождения А.А. Холодовича

С 4 по 6 сентября 2006 г. в Институте лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург) прошла международная конференция «Проблемы типологии и общей лингвистики». Конференция была посвящена 100-летию со дня рождения Александра Алексеевича Холодовича – выдающегося лингвиста и востоковеда, основателя Санкт-Петербургской типологической школы. Конференцию организовали сотрудники Лаборатории типологического изучения языков ИЛИ РАН (А.А. Холодович был инициатором создания лаборатории и ее первым заведующим) и Петербургское лингвистическое общество. Финансовую поддержку мероприятия обеспечил Российский гуманитарный научный фонд. В работе конференции приняли участие более 30 ученых из России, Германии, США и Финляндии.

Конференцию открыл совместный доклад А.К. Оглобина и В.С. Храковского (Санкт-Петербург) «А.А. Холодович: Теоретические основы творчества», в котором рассматривались основные теоретические установки, характерные для научного творчества А.А. Холодовича. В частности, была подчеркнута глубокая связь работ А.А. Холодовича с предшествующей русской и мировой лингвистической традицией, его внимательное отно-

шение к новым веяниям, появившимся в лингвистической науке в 60–70-е годы XX века.

В докладе В.М. Алпатова (Москва) «Докторская диссертация А.А. Холодовича и общее языкознание» обсуждались научные идеи, содержащиеся в диссертации А.А. Холодовича «Очерки по строю японского языка» (1949 г.). Часть этих идей сегодня уже принадлежит истории лингвистической науки, но многие остаются актуальными и продуктивными до сих пор.

Несколько докладов были тематически связаны с изучением языков Дальнего Востока (прежде всего, японского и корейского, которые были сферой специальных профессиональных интересов А.А. Холодовича). Доклад А.Ф. Трощевич (Санкт-Петербург) «Иероглиф как способ записи корейского слова: К проблеме звучания и значения одного корейского имени» был посвящен проблеме использования китайской иероглифической письменности в средневековой Корее: иероглифы могли использоваться как в своей «прототипической» функции, так и в качестве фонетических знаков. В докладе В.В. Рыбина (Санкт-Петербург) «О чем говорят японские палиндромы: Фонологические и грамматико-синтаксические особенности японских палиндромов» была сделана попытка взглянуть на фонологические, лексические и грамматические особенности японского языка сквозь призму япон-

ских палиндромов. Оказывается, в частности, что анализ палиндромов подтверждает особый статус японского языка в рамках фонологической типологии, позволяя охарактеризовать его как «несобственно слоговой» язык. К.В. Антонян (Москва) в докладе «Глагольные» категории прилагательного в современном китайском языке» подробно проанализировала некоторые аспекты употребления китайских прилагательных: сочетание прилагательных с модификаторами, обозначающими крайнюю степень проявления признака, употребление прилагательных в формах потенциального склонения и употребление прилагательных в составе направительной конструкции.

Доклады, прозвучавшие на конференции, охватывали широчайший круг вопросов семантики, грамматической теории и типологии.

В докладе Ю.Д. Апресяна (Москва) «Проблемы соответствия семантических и синтаксических актантов» на материале русского глагола обсуждались следующие проблемы: прямое соответствие синтаксических и семантических актантов; словарная диатеза и мена диатезы; расщепление семантического актанта; смещение семантического актанта; слияние семантических актантов; синтаксическая невыразимость семантического актанта; появление нового семантического актанта.

А.В. Бондарко (Санкт-Петербург) посвятил свой доклад «Аспектуально-темпоральный комплекс в системе категориальных единств» рассмотрению семантических категорий, отражающих разные стороны идеи времени (аспектуальность, темпоральность, временная локализованность, таксис, временной порядок).

В докладе А.П. Володина (Санкт-Петербург) «Проблема выражения зависимого предиката (на материале уральских языков)» освещались вопросы, связанные с оформлением бипредикативных структур в уральских языках. Была, в частности, предложена следующая эмпирическая импликация: «если (а) словоформа в данном языке регулярно начинается с корня и, если (б) имена в этом языке имеют парадигму N_{pos} , то показатели этой парадигмы маркируют формы зависимого предиката».

В.Ф. Выдрин (Санкт-Петербург) в докладе «Локативные превербы в языках манде» представил сопоставительный анализ локативных превербов, имеющих в большинстве языков манде. Такие превербы существенно различаются по своему статусу и особенностям функционирования. Проведенное докладчиком исследование учитывает позицию локативного преверба на шкале линейно-синтагма-

тического континуума и связь локативных превербов с соответствующими послелогоми и относительными локативными существительными.

В докладе В.Ю. Гусева (Москва) «О сохранении архаичных форм в неассертивных контекстах» на материале самодийских языков было показано, как бывшие недифференцированные по значению иллокутивной силы временные и модальные формы развились в специализированные императивные и интеррогативные формы.

В центре доклада М.А. Даниэля (Москва) «О корреляции между звательной формой имени и повелительным склонением» было рассмотрено корреляции, существующей между вокативом и формами императива.

Доклад Н.Р. Добрушиной (Москва) «Русская частица *смотри* в типологическом освещении» содержал анализ употребления русской частицы *смотри*, сделанный на фоне сопоставления двух категорий: апрехенсива и превентива. Обсуждались также статистические данные, касающиеся различных контекстов употребления этой частицы, полученные из Национального корпуса русского языка.

Н.М. Заика (Санкт-Петербург) в докладе «Факторы, влияющие на вариативность валентности глагола в баскском языке» рассмотрела два типа случаев: 1) вариативность валентности глагола (изменение количества актантов глагола/изменение грамматической формы актантов); 2) использование разных вспомогательных глаголов при одном и том же полисемичном смысловом глаголе.

В докладе К.В. Калашниковой и С.С. Саая (Санкт-Петербург) «Системные отношения между классами рефлексивных глаголов в связи с их частотными характеристиками» были продемонстрированы статистические данные, касающиеся представленности в текстах различных классов рефлексивных глаголов.

Основанный на экспедиционных материалах доклад Е.Ю. Калининной (Москва) «Некоторые аспекты изучения глагольных категорий в языке бесермян» был посвящен проблеме взаимодействия категорий эвиденциальности и лица: подробно была рассмотрена сочетаемость форм эвиденциального второго прошедшего и первого лица.

Ю.П. Князев (Новгород) в докладе «Степени сравнения и актантная деривация» пришел к выводу, что отношения между позитивом и компаративом могут быть описаны как своеобразная разновидность актантной деривации (которую докладчик предложил назвать «экспроприрующей»): инкорпорированный

фиксированный участник позитива в компаративе «экспроприруется» и приобретает относительную свободу референции.

Е.Е. Корди (Санкт-Петербург) в докладе «Причастно-герундиальный таксис» описала таксисные отношения в таких предложениях французского языка, где главный член таксисной пары является финитным глаголом, а зависимый член – формой причастия или герундия.

М.А. Кронгауз (Москва) в докладе «Пространство и время: семантические параллели» сравнил пространственные и временные значения, сосуществующие в русских глагольных приставках. В качестве базы для сопоставления были использованы парные глаголы движения.

В докладе А.Л. Мальчукова (Санкт-Петербург) «Причудливый падеж: редкие явления в падежном маркировании» на разнообразном языковом материале были проиллюстрированы редкие, «экзотические» случаи, связанные с дистрибутивными и функциональными аспектами падежного маркирования.

Совместный доклад Е.С. Масловой и Т.В. Никитиной (Санкт-Петербург – Стэнфорд) «Падежная маркировка центральных актантов» содержал анализ распределения языков по трем основным типам падежного маркирования центральных актантов: номинативному, эргативному и нейтральному. Докладчики выделили два параметра типологического варьирования: механизм (номинативный/эргативный) и маркированность (наличие/отсутствие падежных различий) и показали, что распределение языков по признаку маркированности является стабильным, оставаясь, по видимому, неизменным в течение нескольких тысячелетий, а распределение по механизму маркирования сохраняет следы доисторических случайностей и продолжает меняться в сторону преобладания номинативного типа.

Х.Р. Меллиг (Киль) в докладе «Interaction between verbal aspect and predications with complements bounded by numerals or other expression of measure in Russian» высказал мысль о том, что классификация предикатов на предельные и непредельные базируется не только на семантике глаголов, но и на выделенности предельных глаголов по их отношению к плюрализации актантов.

Е.В. Перехвальская (Санкт-Петербург) в докладе «Морфологизация глагола и имени в русских пиджинах» на большом количестве примеров продемонстрировала характерное для пиджинов на русской основе стремление к формальному выделению частей речи.

Доклад В.А. Плуменяна (Москва) «О категории "темпоральной подвижности" в армян-

ском языке» был посвящен анализу нестандартной категории, которая, возможно, имеется в армянском языке – категории темпоральной подвижности, противопоставляющей аналитические формы, допускающие обозначение как презентных, так и претеритальных ситуаций, и синтетические формы, не допускающие смены временной референции. В докладе также прослежена связь категории темпоральной подвижности и категории реальности ситуации.

В докладе Н.Р. Сумбатовой (Москва) «Кодирование коммуникативной структуры в адыгейском языке» обсуждался материал, показывающий, что в адыгейском языке коммуникативная и предикатно-аргументная структура практически идентичны. Сопоставление ситуации в адыгейском языке с нахско-дагестанскими языками позволило докладчику сделать вывод, что структура предложения, подобная адыгейской, могла быть источником возникновения коммуникативной структуры, представленной в современных нахско-дагестанских языках.

В докладе С.Г. Татевосова (Москва) было показано, что способ взаимодействия семантики глагола и семантики его актанта на уровне предикации позволяет выделить два типа языков (условно, «русский» и «английский»), а также то, что аспектуальная композиция на уровне глагольной группы в обоих типах языков устроена одинакова.

Х. Томмола (Тампере) в своем докладе «Сниженная переходность и управление» рассмотрел ряд глаголов финского языка, управляющих партитивным объектом (т.н. иррезультативные глаголы). Это, в частности, глаголы, обозначающие разного рода состояния (*любить, соответствовать, решать*), деятельности, не влияющие на состояние объекта (*пользоваться, играть на чем-л./во что-л.*) и некоторые другие. Также докладчик остановился на мотивации выбора партитива в качестве падежа прямого объекта.

Тема доклада А.Ю. Урманчевой (Москва) «Грамматический дрейф: семантическая эволюция грамматического показателя, не являющаяся грамматикализацией» была связана с историей развития глагольных показателей консекутива и аориста языка суахили. Было, в частности, показано, что следует различать грамматикализацию и семантическую эволюцию грамматических показателей в системе (грамматический дрейф), которая подчиняется особым закономерностям.

В докладе В.С. Храковского (Санкт-Петербург) «Классификация таксисных конструкций» была представлена классификация таксисных конструкций, учитывающая два па-

раметра: 1) семантическая самостоятельность/несамостоятельность ситуаций, обозначаемых в таксисных конструкциях, 2) характеристика связи между двумя ситуациями, обозначаемыми в таксисной конструкции (таксисное отношение может быть как единственным, так и фоновым, т. е. сопровождать другое отношение).

Предварительную типологию глагольных форм «небудущего времени» предложил А.Б. Шлуицкий (Москва) в докладе «Типология “небудущего времени” и лексическое значение глагола». Рассматривались следующие формы: собственно будущее время, перфективное прошедшее с презентным прочтением некоторых глаголов, претерит, функционирующий в качестве будущего для ряда стативов, будущее с полностью или частично аспектуально определяемой дистрибуцией.

В докладе С.Е. Яхонтова (Санкт-Петербург) «Лексическое и грамматическое словообразование» обсуждались, в частности, случаи, когда производное слово выражает значение, близкое к значению морфологической категории (в терминологии докладчика – грамматическое словообразование), а также анали-

зировались различные критерии, по которым различаются словообразование и словоизменение.

Практически все доклады, прозвучавшие на конференции, сопровождались заинтересованной дискуссией.

К началу конференции был подготовлен и издан сборник материалов: Проблемы типологии и общей лингвистики: Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения проф. А.А. Холодовича. Материалы / Храковский В.С., Дмитренко С.Ю., Зайка Н.М. (ред.). СПб.: Нестор – История, 2006. Помимо тезисов, прозвучавших на заседаниях конференции докладов, в сборнике впервые публикуется уникальный архивный документ: письмо, написанное А.А. Холодовичем в 1965 г. по поводу защиты докторской диссертации А.А. Зализняком и адресованное Ученому совету Института славяноведения АН СССР.

Тезисы докладов и фотоматериалы, посвященные конференции, размещены в интернете на сайте Института лингвистических исследований РАН (<http://iling.nw.ru>).

С.Ю. Дмитренко (Санкт-Петербург)